

У Н И В Е Р С И Т Е Т С К А Я

Б И Б Л И О Т Е К А

А Л Е К С А Н Д Р А

П О Г О Р Е Л Ь С К О Г О



С Е Р И Я

И С Т О Р И Я

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я



ПЕРРИ АНДЕРСОН

ПЕРЕХОДЫ
ОТ АНТИЧНОСТИ
К ФЕОДАЛИЗМУ

Перевод с англ. Артема Смирнова
Под редакцией Д. Е. Фурмана

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
МОСКВА 2007

ББК 63.3

А 65

СОСТАВИТЕЛИ СЕРИИ:

В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

В. Л. Глазычев, Г. М. Дерлугьян, Л. Г. Ионин

А. Ф. Филиппов, Р. З. Хестанов

ПЕРЕВОД ВЫПОЛНЕН ПО ИЗДАНИЮ:

Perry Anderson, *Passages from Antiquity to Feudalism*.

London—New York: Verso, 2000

(Первое издание: Perry Anderson, *Passages from Antiquity to Feudalism*. London: New Left Books, 1974)

А 65 **Андерсон П.** Переходы от античности к феодализму/Пер. с англ. А. Смирнова под ред. Д. Е. Фурмана. — М.: Издательский дом «Территория будущего», 2007. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). — 288 с.

© Perry Anderson, 1974, 2000

ISBN 5-91129-045-6

© Издательский дом «Территория будущего», 2007

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Георгий Дерлугьян. Политэкономия античного Запада</i>	7
Предисловие	11
Благодарности	14
ЧАСТЬ 1	
I. Классическая античность	19
1. Рабовладельческий способ производства	19
2. Греция	30
3. Эллинистический мир	46
4. Рим	53
II. Переход	106
1. Германские истоки	106
2. Нашествия	110
3. В направлении синтеза	126
ЧАСТЬ 2	
I. Западная Европа	143
1. Феодальный способ производства	143
2. Типология общественных формаций	150
3. Дальний Север	168
4. Феодальная динамика	178
5. Общий кризис	192
II. Восточная Европа	206
1. К востоку от Эльбы	206
2. Кочевнический тормоз	209
3. Модель развития	221
4. Кризис на Востоке	238
5. К югу от Дуная	256

ПОЛИТЭКОНОМИЯ АНТИЧНОГО ЗАПАДА

В середине 1950-х гг. в Оксфорд поступают два впоследствии знаменитых брата, Перри и Бенедикт Андерсоны. Сыновья крупного колониального чиновника, родившиеся в Китае накануне Второй мировой войны, они принадлежали к поколению британской аристократии, которому не было суждено повторить имперскую карьеру своих предков. Тем не менее в Оксфорде они получают классическое образование британского джентльмена, который, как известно, «не столько знал латынь и древнегреческий, сколько уже их позабыл».

Исторический фон, настроения, и интеллектуальная энергетика той эпохи столь разительно отличались от нашего времени, что сегодня трудно представить, как отпрыски аристократических семейств бурно отвергали веру и сам здравый смысл (*common sense*) своих предков. С одной стороны, катастрофически быстро рушилась колониальная империя, а в самой Британии власть оказалась в руках тогда совершенно социал-демократических лейбористов, предотвративших угрозу новой депрессии путем национализации промышленности, кейнсианской регуляции рынков, и создания широкой системы социального перераспределения. С другой стороны, хрущевское разоблачение сталинизма и восстания 1956 г. в социалистических Венгрии и Польше дискредитировали коммунистическую ортодоксию. Ну, и конечно «Битлз», «Пинк Флойд», пародийные телеперформансы «Монти Питонцев». Перестав быть столицей империи, Лондон тогда становится центром молодежного творчества.

Считается, что именно Перри Андерсон изобрел название Новые Левые, которым тогда обозначалось поколение молодой критической интеллигенции, не согласной ни с экономическим тредюнионизмом западной социал-демократии, ни с квазицерковной ортодоксальностью компартий. Сам Перри, впрочем, избегал вступать в тогда модные левацкие группировки. Напротив, в маоистско-троцкистских сектах начинали многие из его оппонентов, вроде будущих французских постмодернистов и Новых философов или ныне влиятельного вашингтонского неоконсерватора Кристофера Хитчинса, который с сожалением признает, что «застряв на неверной стороне

истории, Андерсон остается самым глубоким интеллектуальным эссеистом англоязычного мира».

Вместо улично-студенческой политики, Андерсона более привлекал проект реконструкции аналитического потенциала марксизма, для чего требовалось восстановить линии интеллектуального развития, подавленные в межвоенный период марксистско-ленинской догматикой. Так были заново прочитаны Роза Люксембург, Антонио Грамши, Дьердь Лукач, Вальтер Беньямин, Франкфуртская школа и, конечно, знаменитые черновики самого Маркса.

Западный неомарксизм развивался в дебатах с европейской культурологией и политической философией, но особенно с неовегрианизмом, которое параллельно стремилось преодолеть собственную ортодоксию, установленную некогда мощной школой Талкотта Парсонса. К этому поколению историко-социологических аналитиков принадлежат, скажем, Антони Гидденс и Майкл Манн, начинавшие в лондонском кружке Эрнста Геллнера. В Западной Германии основным интеллектуальным контрагентом Андерсона был и остается Юрген Хабермас, предпринявший обновленческий синтез немецкой философской традиции, восходящей к Гегелю. Во Франции такой фигурой стал в первую очередь Пьер Бурдьё, один из друзей Андерсона, восстановивший и серьезно достроивший интеллектуальную традицию Дюркгейма и Мосса, а также Норберта Элиаса и Карла Маннгейма. В Америке к той же когорте принадлежат такие разные теоретики как Иммануил Валлерстайн, Чарльз Тилли, Рэндалл Коллинз, Ричард Лахманн, Джек Голдстоун и Теда Скочпол. Андерсон дал едва ли не главный побудительный толчок грандиозной работе итальянца Джованни Арриги, соединившего грамшианскую теорию гегемонии с экономическим циклизмом Шумпетера и мирсистемной перспективой Фернана Броделя. Наконец, будущий лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт в своем исследовании исторических истоков роста экономики Запада внутренне полемизировал и отталкивался в значительной степени от неомарксистской интерпретации кризиса феодализма в ее наиболее полном варианте Перри Андерсона.

Как нередко случается в интеллектуальных полях в периоды бурного развития, «Переходы от античности к феодализму» были написаны очень быстро, всего за несколько месяцев, с огромной полемической энергией и даже вопреки ожиданиям самого автора. Первоначально это эссе, разросшееся до отдельной книги, планировалось как вводная часть основной работы, опубликованной тогда же, в 1974 г., под заголовком «Родословные абсолютистского госу-

дарства».¹ Молодой Перри Андерсон (в момент написания этих книг ему было 35 лет) преднамеренно в открытую использует здесь марксистский аппарат, впрочем, настаивая, что исторический материализм был бы более верным и справедливым названием для его научного подхода, нежели нагруженный политическими и культовыми коннотациями марксизм. Вооруженный знанием греческого, латыни и основных современных европейских языков (кстати, русскому его учил еще в детстве эмигрант князь Ливен), с интеллектуальной браурой и классической оксфордской эрудицией, Андерсон берется заново объяснить самое святое – первоистоки Западной цивилизации. Посягает он при этом на всю традицию, восходящую к Гиббону и освященную не менее как главным символом веры современного Запада, т. е. чувством собственного превосходства в качестве единственного и прямого наследника античной идеи свободы.

Досадно, что этот всплеск иконоборческой энергии едва ли мог докатиться до советской интеллектуальной аудитории. В те времена работы Андерсона проникали к нам единичными экземплярами и содержались в спецхране как западный «ревизионизм». Еще более досадно, что сегодня эта работа может отпугнуть читателя именно своим демонстративным марксизмом. Конечно, можно просто сказать, что по сей день работы Перри Андерсона (прежде всего «Родословные абсолютистского государства») стоят в списках обязательной для аспирантов литературы ведущих отделений социологии и политологии Запада. Регулярно преподаю их и я в Чикаго. И все-таки, раз уж мы ученые, недавно я устроил небольшой эксперимент, опросив полтора десятка известных специалистов-античников в США, Великобритании, и Франции. При этом ни один из них не является марксистом. Опрос показал, что работа Андерсона и сегодня считается непревзойденной по ее основному замыслу и охвату – выявить политэкономические структуры Античности и проследить их конфликтную динамику от возникновения полисной общины через три имперские цикла (афинский, эллинистический, римский) через Темные века до начала Средневековья.

Спору нет, работа Андерсона оставляет в стороне множество сюжетов, позднее переместившихся в фокус исследовательского внимания: семиотику античной демократии, гендерные отношения и сексуальность, экологию, которую по новейшим реконструкциям

¹ Perry Anderson, *Lineages of the Absolutist State*. London: New Left Books, 1974. Русский перевод планируется выпустить в серии «Университетская библиотека Александра Погорельского» в конце 2008 г.

римская экономика разорила не хуже современной. Андерсона интересовали совсем другие вопросы — характер политической власти в античности, факторы разделения римского наследия на западную и восточную ветви и причины социально-экономического динамизма феодального Запада.

На эти вопросы Перри Андерсон дал варианты ответов, которые открыли совершенно новые подходы к классическим сюжетам. Нео-веберианцы Майкл Манн и Рэндалл Коллинз впоследствии показали, каждый по-своему, альтернативные варианты анализа античной динамики. Джек Голдстоун сформулировал свою, весьма элегантную модель демографического кризиса элит. Но это не были опровержения теории Перри Андерсона, а именно попытки расширить, достроить и укрепить теоретический прорыв, который был первоначально совершен с позиций западной неомарксистской парадигмы. Читать Перри Андерсона по-русски надо не из превратной ностальгии по истмату, а именно для того, чтобы понять, какие варианты истмата у нас не могли получить развития в те самые подавленно-застойные семидесятые, за которые мы продолжаем расплачиваться и сегодня. А можно и даже лучше читать просто потому, что редко кто так емко и проницательно объяснял, что за материальные силы вознесли эту удивительную античность, какое отношение к ней имели германцы и кельты, либо славяне и кочевой мир степняков. Право, куда полезней поэтического фантазирования о духе цивилизаций.

*Георгий Дерлугьян, профессор социологии
Чикаго, октябрь 2007 г.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нужно сказать несколько слов, чтобы пояснить охват и цель этой работы. Она задумывалась в качестве пролога к более объемному исследованию, которое по своему предмету непосредственно продолжает ее: «Родословные абсолютистского государства». Эти две книги непосредственно взаимосвязаны друг с другом и в конечном итоге выражают одну и ту же мысль. Связь между античностью и феодализмом, с одной стороны, и абсолютизмом — с другой, с перспективы большинства работ, посвященных их рассмотрению, сразу не очевидна. Как правило, античную историю от истории Средневековья отделяет профессиональная пропасть, попытки преодоления которой предпринимаются лишь в очень немногих современных работах. Разрыв между ними институционально закреплен и в преподавании, и в исследовательской деятельности. Дистанция между средневековой историей и историей раннего Нового времени в исторической науке куда менее значительна (естественно или парадоксально?), но все же обычно она достаточна, чтобы исключить всякое рассмотрение феодализма и абсолютизма как бы в едином фокусе. Основная идея этих двух взаимосвязанных исследований состоит в том, что, напротив, в некоторых важных отношениях именно так, в едином фокусе и нужно рассматривать эти сменявшие друг друга социальные формы. В настоящей работе рассматривается социальный и политический мир классической античности, природа перехода от него к средневековому миру и возникшая в результате структура и эволюция феодализма в Европе; при этом региональные различия — и в Средиземноморье, и в Европе — неизменно составляют основную тему книги. В ее продолжении абсолютизм рассматривается на фоне феодализма и античности в качестве их законного политического наследника. Причины того, почему сравнительное исследование абсолютистского государства понадобилось предварить экскурсом в классическую античность и феодализм, станут понятными из второй работы и будут вкратце изложены в ее выводах. В них предпринимается попытка поместить своеобразие европейского опыта и в более широкий международный контекст.

Но в начале нужно подчеркнуть ограниченность и условность положений, представленных в обеих работах. В них нет познаний и мастерства профессионального историка. Историческое сочинение в собственном смысле слова неотделимо от непосредственного исследования оригинальных источников прошлого — архивных, эпиграфических или археологических. Данные исследования не притязают на такое высокое звание. Вместо действительного изучения истории в первоисточниках они опираются просто на прочтение доступных работ современных историков, а это — совсем другое дело. Поэтому сопутствующий справочно-библиографический аппарат совершенно отличается от того, который характерен для работ академических историков. Настоящий историк-профессионал не станет ссылаться на них — через него говорят сами источники, непосредственное свидетельство прошлого. Тип и объем примечаний, которые подкрепляют текст в обеих этих работах, просто указывают на вторичный уровень, на котором они находятся. Сами историки, конечно, иногда создают сравнительные или синтетические работы, не всегда будучи хорошо знакомыми со всеми источниками в соответствующих областях, хотя их суждения, скорее всего, в силу владения ими своей специальностью будут менее категоричными. Сама по себе попытка описания или осмысления широких исторических структур или эпох не нуждается в особом извинении или оправдании — без таких попыток специальные и локальные исследования не могут раскрыть свой потенциал. Но все же верно, что больше всего ошибаются те интерпретации, которые полагаются как на свои основные источники на выводы, сделанные другими, ибо они могут оказаться несостоятельными в свете новых открытий или в результате дальнейшей работой над имеющимся материалом. То, что является общепринятым для историков одного поколения, всегда может быть опровергнуто исследованиями другого. Всякая попытка обобщения на основе существующих мнений, при всей научности последних, неизбежно оказывается сомнительной и условной. В этом отношении недостатки предлагаемых читателю работ особенно велики из-за большого периода времени, охватываемого ими. Естественно, что чем шире период рассматриваемой истории, тем более сжатым оказывается рассмотрение ее отдельных этапов. Поэтому прошлое во всей своей сложности, которая может быть отображена только на богатом холсте, написанном историком, во многом остается за рамками этих исследований. Нижеследующий анализ, вследствие и недостаточной компетентности автора, и объема рассматриваемых проблем, представляет собой всего лишь гипотетическую схему. Будучи чем-то вро-

де наброска возможной истории, эти исследования призваны предложить основу для дискуссии, а не завершённое или всестороннее изложение.

Дискуссия, вызвать которую является их целью, это, прежде всего, дискуссия в рамках исторического материализма. Цели метода, избранного автором при применении марксизма в данных работах изложены в предисловии к «Родословным абсолютистского государства», где они наиболее зримо отразились и в формальной структуре работы. Здесь же можно ограничиться изложением принципов, которыми определялось использование источников в обоих исследованиях. Источники, привлечённые для этого обзора, как и во всяком по сути своей сравнительном исследовании, естественно, крайне разнообразны и заметно варьируются по своему интеллектуальному и политическому характеру. Марксистская историография не находится здесь в привилегированном положении. Несмотря на перемены, произошедшие в последние десятилетия, подавляющее большинство серьёзных исторических исследований в XX веке было написано историками, не имеющими отношения к марксизму. Исторический марксизм — это не завершённая наука, и не все его представители имеют одинаковый вес. Есть области историографии, в которых марксистские исследования преобладают, но есть ещё больше областей, в которых немарксистские исследования превосходят марксистские и в качественном, и в количественном отношении, и, возможно, ещё больше областей, в которых нет никаких марксистских работ вообще. Единственным допустимым критерием отбора в сравнительном исследовании, который должен использоваться при оценке работ, основанных на таких различных подходах, служит их внутренняя основательность и проницательность. Глубокое знание и уважение к работам историков, не принадлежащих к марксизму, вполне совместимо со строгим проведением марксистского исторического исследования, более того, оно является необходимым условием такого исследования. И наоборот, самим Марксу и Энгельсу никогда нельзя верить на слово; не следует умалчивать или игнорировать ошибки, допущенные в их работах о прошлом, — их нужно распознавать и критиковать. Это не означает отступления от исторического материализма; наоборот, это позволяет войти в него. В рациональном знании, которое по сути своей кумулятивно, нет места фидеизму, и величие основателей новых наук никогда не служило гарантией от заблуждений или мифов, а эти заблуждения никак не умаляют их величие. И в этом смысле «вольное» обращение с текстами, под которыми стоит подпись Маркса, свидетельствует просто о свободе марксизма.

БЛАГОДАРНОСТИ

Я бы хотел выразить признательность Энтони Барнетту, Роберту Браунингу, Джудит Эррин, Виктору Кирнену, Тому Нейрну, Брайену Пирсу и Гарету Седмен Джонсу за их критические замечания к этой работе или к ее продолжению. Принимая во внимание характер обоих сочинений, с них больше, чем это было бы нужно в каком-либо ином случае, необходимо снять всякую ответственность за ошибки — фактические или интерпретационные, — которые в них содержатся.

* * *

Историки издавна привыкли проводить в Европе границу между Востоком и Западом. Фактически эта традиция восходит к основателю современной позитивистской историографии Леопольду Ранке. Краеугольным камнем первой крупной работы Ранке, написанной в 1824 году, был «Очерк о единстве латинского и германского народов», в котором он провел линию через весь континент, исключив восточных славян из общей судьбы «великих народов» Запада, которая должна была стать главной темой его книги. «Нельзя утверждать, что восточные славяне принадлежат к единству наших народов; их обычаи и нравы никогда не позволяли им быть частью этого единства. В ту эпоху они не обладали самостоятельным влиянием, а, казалось, лишь сопротивлялись или подчинялись чужим; их как бы подхватывали волны общего движения истории».¹ Только Запад участвовал в переселениях варваров, средневековых крестовых походах и колониальных завоеваниях Нового времени — этих, как писал Ранке, *drei grosse Atemzüge dieses unvergleichlichen Vereins*, «трех глубоких вздохах этого несравненного союза»². Несколько лет спустя Гегель заметил, что «часть славян приобщилась к западному разуму», поскольку «иногда они как авангард, как народы, находившиеся между двумя враждебными силами, принимали участие в борьбе христианской Европы и нехристианской Азии». Но по сути его представления об истории восточной части континента не слишком отличались от представлений Ранке. «Однако, — писал он, — вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в последовательном ряду обнаружений разума в мире».³ Теперь, по прошествии полутора столетий, современные историки обычно остерегаются таких заявлений. Этнические категории сменились географическими терминами, но само это деление — и возведение его к Средневековью — остались практически неизменными. Иными словами, его начинают применять с возникновением феодализма в историческую эпоху, когда классические соотношения между

¹ Leopold Von Ranke, *Geschichte der Romanischen und Germanischen Völker von 1494 bis 1514*, Leipzig 1885, p. XIX.

² Ranke, op. cit., p. XXX.

³ Г. В. Ф. Гегель, *Философия истории*, СПб., 2000, с. 368.

регионами в Римской империи (развитый Восток и отсталый Запад) — впервые начали меняться на прямо противоположные. Такую смену знаков можно наблюдать почти во всех описаниях перехода от античности к Средневековью. Так, объяснения падения империи в новом монументальном исследовании заката античности «Поздней Римской империи» Джонса постоянно вращаются вокруг структурных различий в ней между Востоком и Западом. Восток, с его богатыми и многочисленными городами, развитой экономикой, мелкими землевладельцами, относительной гражданской сплоченностью и географической удаленностью от мест, по которым были нанесены главные удары варваров, выстоял; а Запад, с его не таким многочисленным населением и более слабыми городами, крупной землевладельческой аристократией и измученными поборами крестьянами, его политической анархией и стратегической уязвимостью перед германскими вторжениями, пал.⁴ Конец же античности был отмечен арабскими завоеваниями, разделившими два берега Средиземного моря. Восточная империя стала Византией, политической и социальной системой, отличной от остального европейского континента. И в этом новом географическом пространстве, которое появилось в Средние века, полярности между Востоком и Западом суждено было поменять знаки. Блок высказал авторитетное суждение, что «с VIII века в Западной и Центральной Европе существовала четко ограниченная группа обществ, которая, при всех различиях между входящими в нее обществами, прочно скреплялась глубокими сходствами и постоянным взаимодействием между ними». И именно в этой области родилась средневековая Европа: «В Средние века европейская экономика — в том смысле, в котором прилагательное «европейская», заимствованное из старой географической номенклатуры пяти «частей света», может быть использовано для определения реальной действительности, — была экономикой латинского и германского блока, окруженного несколькими кельтскими островками и славянскими окраинами, постепенно включавшимися в его общую культуру... При таком понимании и определении Европы она представляет собой творение раннего Средневековья».⁵ Блок прямо исключал области, составляющие сегодня Восточную Европу, из своего социального определения континента: «Обширные пространства славянского Востока к нему не принадлежали... Их экономические условия жизни и условия жизни их западных соседей невозможно рассматривать вместе, в качестве одного объекта

⁴ A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, 282–602, Oxford 1964, Vol. II, p. 1026–1068.

⁵ Marc Bloch, *Mélanges Historiques*, Paris 1963, Vol. I, p. 113–114.

научного исследования. Их совершенно различные социальные структуры и совершенно различные пути развития полностью исключают такое смешение: с равным успехом можно было бы в экономической истории XIX столетия объединять Европу и европеизированные страны с Китаем или Персией». ⁶ Последователи Блока со всем вниманием отнеслись к его указаниям. Изучение формирования Европы и зарождения феодализма было в основном ограничено историей западной части континента, тогда как восточная часть выпала из поля зрения. Впечатляющее исследование Дюби, посвященное ранней феодальной экономике и начинающееся с IX века, имеет название «Сельская экономика и деревенская жизнь на средневековом Западе». ⁷ Культурные и политические формы, созданные феодализмом в тот же период, — «тайная революция этих столетий» ⁸ — находятся в центре внимания «Сотворения Средневековья» Саутерна. Но хотя в названии этой работы употребляется широкий термин «Средневековье», на самом деле определенное время отожествляется в ней с определенным пространством — в первом же предложении говорится: «Предмет этой книги — формирование Западной Европы с конца X века до начала XIII века». ⁹ Здесь средневековый мир становится Западной Европой *tout court*. Таким образом, для современной историографии различие между Востоком и Западом присутствует с самого начала постклассической эпохи. Его возникновение совпадает с возникновением самого феодализма. Поэтому всякое марксистское исследование различий в историческом развитии на континенте должно начинаться с рассмотрения общей матрицы европейского феодализма. Только после этого можно будет увидеть, насколько и в чем именно различалась история в его западных и восточных областях.

⁶ Bloch, op. cit., p. 124.

⁷ Georges Duby, *LEconomie Rurale et la Vie des Campagnes dans l'Occident Médiéval*, Paris 1962.

⁸ R. W. Southern, *The Making of the Middle Ages*, London 1953, p. 13.

⁹ Southern, op. cit., p. 11.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I. КЛАССИЧЕСКАЯ АНТИЧНОСТЬ

1. РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Зарождение капитализма, после того как ему были посвящены знаменитые главы «Капитала» Маркса, было предметом многочисленных исследований, вдохновленных историческим материализмом. Генезис феодализма, напротив, в рамках этой традиции во многом остался неизученным: как особый *тип перехода* к новому способу производства он никогда не входил в общий корпус марксистской теории. Тем не менее, как мы увидим, его значение для понимания законов исторического развития, быть может, не меньше значения перехода к капитализму. И, как это ни парадоксально, сегодня, возможно, впервые известное суждение Гиббона по поводу падения Рима и конца античности оказывается в полной мере истинным: «переворот, который останется памятным навсегда и... до сих пор отзываясь на всех народах земного шара».¹ В отличие от «кумулятивного» характера прихода капитализма, генезис феодализма в Европе восходит к одновременному и взаимосвязанному «катастрофическому» краху двух различных предшествующих способов производства. Начало феодальному синтезу в собственном смысле слова, всегда сохранявшему свой гибридный характер, дала именно *рекомбинация* разных элементов. Этими двумя предшественниками феодального способа произ-

¹ Э. Гиббон, *История упадка и разрушения Римской империи*, М., 1995, с. 17. Гиббон в рукописном примечании к планировавшемуся переизданию этой книги, высказал сожаление по поводу данного высказывания, ограничив его значение только европейскими странами. «Помнят ли о Римской империи Азия и Африка, от Японии до Марокко, и испытывают ли они какие-либо чувства по этому поводу?», — вопрошал он. Он писал слишком рано для того, чтобы увидеть, как остальной мир действительно «испытал» на себе влияние Европы и последствия описанного им «переворота». Ни далекая Япония, ни близкое Марокко не остались незатронутыми историей, о начале которой он возвестил.

водства были, конечно, разложившийся рабовладельческий способ производства, на основе которого некогда было возведено все огромное здание Римской империи, и расширенные и деформированные первобытные способы производства германских завоевателей, которые сохранялись на их новой родине после варварских завоеваний. Эти два глубоко различных мира в последние столетия античной эпохи пережили медленный распад и постепенное взаимопроникновение.

Чтобы понять, как это произошло, необходимо сначала рассмотреть исходную матрицу всей цивилизации классического мира. Греко-римская античность всегда была миром, в центре которого находились города. Величие и прочность раннего греческого полиса и более поздней римской республики, вызывавшие восхищение у многих последующих эпох, отражали расцвет городов-государств и культуры, которому не было равных на протяжении всего последующего тысячелетия. Философия, наука, поэзия, архитектура, скульптура, право, управление, деньги, налоги, избирательное право, публичные споры, военная служба — все это возникло или развилось до небывалой силы и сложности. И все же этот фриз городской цивилизации всегда создавал для последующих поколений эффект фасада-обманки. За этими городскими культурой и политией не стояло никакой сопоставимой с ними городской *экономики*: напротив, материальное богатство, которое поддерживало их интеллектуальную и гражданскую жизнеспособность, изымалось главным образом из сельской местности. В количественном отношении классический мир был в основном и почти всегда сельским. Сельское хозяйство на протяжении всей его истории оставалось безраздельно господствующей областью производства, неизменно обеспечивая основное богатство городов. Греко-римские города в большинстве своем никогда не были сообществами производителей, торговцев или ремесленников: они изначально и в принципе состояли из множества живущих в них землевладельцев. В устройстве всех городов — от демократических Афин до олигархической Спарты или сенаторского Рима — преобладали в основном собственники сельскохозяйственных земель. Свой доход они получали от зерна, масла и вина — трех важнейших товаров античности, производимых в имениях и хозяйствах за пределами города. Производство в нем самом оставалось незначительным и зачаточным: спектр обычных городских товаров никогда не простирался дальше тканей, глиняной посуды, мебели и изделий из стекла. Техника была простой, спрос — ограниченным, а транспорт — непомерно дорогим. В результате, производство в эпоху античности

развивалось не благодаря росту концентрации, как в более поздние эпохи, а благодаря рассредоточению и рассеянию, поскольку относительные издержки производства определялись скорее расстояниями, чем разделением труда. Наглядным свидетельством относительного веса сельских и городских экономик в классическом мире служат соответствующие доходы казны, получавшиеся в Римской империи в IV веке н.э., когда городская торговля, наконец, стала облагаться имперскими налогами после *collatio lustralis* Константина: налоговые поступления от городов никогда не превышали 5% поступлений от поземельного налога.²

Естественно, статистического распределения производства в этих двух секторах недостаточно для того, чтобы отказывать античным городам в экономической значимости. В почти полностью сельскохозяйственном мире валовая прибыль от городской торговли могла быть незначительной, но совокупное превосходство, которое она давала данной сельскохозяйственной экономике над другими, все же могло иметь решающее значение. Важной предпосылкой этой специфической характеристики классической цивилизации был ее *прибрежный* характер.³ Греко-римская античность была средиземноморской по самой своей структуре. Ибо вести торговлю, объединявшую ее в единое целое, можно было только по воде — морской транспорт был единственным подходящим средством обмена товарами на средние или большие расстояния. Колоссальную важность моря для торговли можно оценить по тому простому факту, что в эпоху Диоклетиана пшеницу было проще доставить по морю из Сирии в Испанию — с одного конца Средиземного моря в другой, — чем провезти ее по земле 75 миль.⁴ Поэтому не случайно, что Эгейской зоне — лабиринту островов, гаваней и мысов — суждено было стать первым при-

² А. Н. М. Jones, *The Later Roman Empire*, Vol. I, p. 465. Налог выплачивался «неgociаторами», то есть практически всеми, кто имел дело с каким-либо рыночным производством в городах, включая и купцов, и ремесленников. Несмотря на ничтожность поступлений от них, такие налоги оказались особенно тягостными и непопулярными среди городского населения — настолько хрупкой была городская экономика в собственном смысле слова.

³ Макс Вебер был первым ученым, который сделал акцент на этом фундаментальном факте в своих двух великих, но забытых исследованиях: М. Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, М., 2001, с. 98 и далее; М. Вебер, 'Социальные причины падения античной культуры' // М. Вебер, *Избранное. Образ общества*, М., 1994, с. 449 и далее.

⁴ Jones, *The Later Roman Empire*, II, p. 841–842.

станищем городов-государств; что Афины — классический образец такого города — основной свой доход получали от мореплавания; что, когда в эллинистическую эпоху греческая колонизация распространилась на Ближний Восток, александрийский порт стал главным городом Египта, первой приморской столицей в его истории; и что в конечном итоге Риму, который был расположен в верхнем течении Тибра, также пришлось стать приморской метрополией. Вода была незаменимым средством сообщения и торговли, которое делало возможными рост городов и развитие сложной городской жизни, существенно опережающей развитие сельских внутренних областей. Поразительный блеск античности был достигнут благодаря морю. Своеобразное сочетание города и деревни, определявшее классический мир, в конечном итоге сложилось благодаря наличию в центре него огромного водоема. Средиземное море — это единственное крупное внутреннее море на поверхности Земли: только оно создавало возможность быстрых морских перевозок и предоставляло прибрежные убежища от ураганов или штормов на большом географическом пространстве. Уникальное место классической античности во всеобщей истории неразрывно связано с этим физическим преимуществом.

Иными словами, Средиземноморье послужило необходимой географической основой для античной цивилизации. Ее историческое содержание и новизна, однако, состоит в социальной основе сложившихся в ней отношений между городом и деревней. Рабовладельческий способ производства был главным изобретением греко-римского мира, которое стало основной причиной и его расцвета, и его упадка. Необходимо подчеркнуть новизну этого способа производства. Рабство в различных формах существовало по всему древнему Ближнему Востоку (как и позднее в других частях Азии), но оно никогда не было юридически чистым состоянием и зачастую принимало форму долговой кабалы или каторжных работ, просто составляя низшую ступень в аморфной иерархии разных форм и степеней зависимости, которая охватывала практически все общество сверху донизу.⁵ И оно не было преобладающим типом изъятия излишков в этих догреческих монархиях — оно было периферийным явлением, в то время как основной рабочей силой были крестьяне. Шумерская, вавилонская, ассирийская и египетская империи — «речные» государства, основанные на интенсивном ирригационном сельском хозяй-

⁵ M. I. Finley, 'Between Slavery and Freedom', *Comparative Studies in Society and History*, VI, 1963–1964, p. 237–238.

стве, которое значительно отличалось от менее интенсивного сельского хозяйства на не требующих ирригации почвах в более позднем средиземноморском мире, — не были рабовладельческими экономиками, а в их правовых системах отсутствовало четкое представление о движимом имуществе в виде рабов. Именно греческие города-государства впервые сделали рабство «чистым» и преобладающим, превратив его тем самым из вспомогательного средства в систематический способ производства. Классический греческий мир, конечно, никогда не покоился исключительно на использовании труда рабов. Свободные крестьяне, зависимые арендаторы и городские ремесленники всегда в различных комбинациях в различных городах-государствах Греции сосуществовали с рабами. К тому же соотношение между ними могло существенно меняться от столетия к столетию вследствие собственного внутреннего развития этих городов-государств или под действием внешних факторов: каждая конкретная общественная формация — это всегда специфическое сочетание различных способов производства, и античность здесь не является исключением.⁶ Но *преобладающим* способом производства в классической Греции, определявшим сложные сочленения локальных экономик и оставившим свой отпечаток на всей цивилизации городов-государств, было именно рабовладение. Это в равной степени справедливо и для Рима. Древний мир в целом никогда не отличался постоянным и повсеместным преобладанием рабского труда. Но в свои великие *классические* эпохи, когда античная цивилизация достигла своего расцвета — в V–IV веках до н.э. в Греции и со II века до н.э. до I века н.э.

⁶ На протяжении всего этого текста термину «общественная формация» будет отдаваться предпочтение перед термином «общество». В марксистском языке использование понятия «общественная формация» призвано подчеркнуть многообразие и гетерогенность способов производства, которые могут сосуществовать во всякой данной исторической и социальной тотальности. Некритическое повторение термина «общество», напротив, очень часто создает представление о внутреннем единстве экономики, политики или культуры в данном историческом ансамбле, когда на самом деле такого простого единства и идентичности не существует. Общественные формации, если не делается никаких специальных оговорок, таким образом, всегда означают здесь конкретные сочетания различных способов производства, организованные при *преобладании* одного из них. Об этом различии см.: Nicos Poulantzas, *Pouvoir Politique et Classes Sociales*, Paris 1968, p. 10–12. Прояснив этот момент, было бы педантизмом полностью избегать употребления привычного термина «общество», и мы не пытаемся этого делать.

в Риме, — рабство было наиболее распространенной формой среди всех трудовых систем. Наивысший расцвет классической городской культуры сопровождался расцветом рабства; а ее упадок в эллинистической Греции или христианском мире сопровождался его закатом.

За неимением сколько-нибудь надежной статистики, невозможно точно определить долю рабского населения на родине рабовладельческого способа производства постархаической Греции. Признанные оценки заметно варьируются, но, по последним оценкам, соотношение рабов и свободных граждан в перикловских Афинах составляло 3:2,⁷ преобладание рабов в населении Хиоса, Эгины или Коринфа в определенные времена, вероятно, было еще больше, а в Спарте илоты всегда численно превосходили спартанцев. В IV веке до н.э. Аристотель отмечал как нечто само собой разумеющееся, что «в государствах неизбежно имеется большое число рабов», а Ксенофонт разработал схему возвращения богатства Афинам, по которой они «стали бы приобретать государственных рабов, пока их не оказалось бы по три на каждого афинянина».⁸ В классической Греции рабы, таким образом, впервые стали использоваться в ремесле, производстве и сельском хозяйстве за пределами домохозяйства. В то же время, по мере распространения использования рабства, его *природа* стала абсолютной — оно больше не было одной из многих форм относительной зависимости в последовательном континууме этих форм, а представляло собой состояние полной утраты свободы, которое существовало одновременно с новой и безграничной свобо-

⁷ A. Andrewes, *Greek Society*, London 1967, p. 135. Автор подсчитал, что общее количество рабов в V веке в регионе составляло от 80 до 100 тысяч человек, а число граждан — примерно 45 тысяч. Эта цифра, вероятно, получит более широкое признание по сравнению с более низкими или более высокими оценками. Но всем современным работам по истории античности недостает надежной информации о численности населения и социальных классов. На основании количества зерна, ввозимого в город, Джонсу удалось подсчитать соотношение рабов и граждан в IV веке (1:1), когда произошло сокращение численности населения Афин: Jones, *Athenian Democracy*, Oxford 1957, p. 76–79. С другой стороны, Финли утверждал, что в V–IV веках оно могло составлять 3 или 4:1: Finley, ‘Was Greek Civilization Based on Slave Labour?’, *Historia*, VIII, 1959, p. 58–59. Наиболее полная, хотя и не лишенная недостатков, современная монография, посвященная античному рабству (W. L. Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955, p. 9), приводит примерно ту же цифру, что и Эндриус и Финли: около 60–80 тысяч рабов в начале Пелопонесской войны.

⁸ Аристотель, *Политика*, VII, iv, 4; Ксенофонт, *О доходах*, IV, 17.

дой. Ибо именно формирование четко определенного рабского населения подняло население греческих городов на неведомые доселе высоты сознательной юридической свободы. Греческие свобода и рабство были неотделимы друг от друга — одно было структурным условием другого в диадической системе, которая не имела примера или соответствия в социальных иерархиях ближневосточных империй, незнакомых ни с понятием свободного гражданства, ни с понятием рабовладения.⁹ Эта глубокая юридическая перемена была социальным и идеологическим коррелятом экономического «чуда», вызванного появлением рабовладельческого способа производства.

Цивилизация классической древности, как мы видели, была основана на аномальном господстве города над деревней в условиях преобладания сельской экономики — полная противоположность раннефеодальному миру, который пришел ей на смену. Условием этого великолетия метрополии при отсутствии городского производства было существование рабского труда в сельской местности: ибо он один мог так радикально освободить землевладельческий класс от его сельского происхождения, что тот смог превратиться в преимущественно городское население, которое продолжало тем не менее получать свое основное богатство от земли. Аристотель выразил возникшую в результате социальную идеологию позднеклассической Греции в своем высказанном им мимоходом замечании: «Если говорить о желательном порядке, то лучше всего, чтобы землепашцы были рабами. Они, однако, не должны принадлежать к одной народности (*homophylon*) и не должны обладать горячим темпераментом; именно при таких условиях они окажутся полезными для работы, и нечего будет опасаться с их стороны каких-либо попыток к возмущению».¹⁰ Для полностью развитого рабовладельческого производства в римской деревне было характерно даже делегирование руководящих функций надсмотрщикам и управляющим из числа рабов, следившим за трудом других рабов на полях.¹¹ Рабовладение, в отличие от феодально-

⁹ Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 42–43; Finley, 'Between Slavery and Freedom', p. 236–239.

¹⁰ Аристотель, *Политика*, VII, ix, 9.

¹¹ Повсеместное распространение рабского труда во времена расцвета Римской республики и принципата привело к парадоксальному выдвиганию определенных категорий рабов на ответственные административные или профессиональные должности, что в свою очередь облегчило освобождение и последующее включение в класс граждан детей квалифицированных вольноотпущенников. Этот процесс был не столько гуманистическим смягчением классического

го манора, позволяло разделить место жительства и источник дохода; прибавочный продукт, который обеспечивал богатство классу собственников, мог извлекаться без его присутствия на земле. Связь между непосредственным сельским производителем и городским присвоителем его продукта не основывалась на обычае и не была опосредована самим земельным наделом (как в более позднем крепостничестве). Напротив, в ее основе лежал, как правило, универсальный коммерческий акт покупки товара, который осуществлялся в городах, где обычно были рынки рабов. Рабский труд классической древности, таким образом, воплощал в себе две противоречивые черты, в единстве которых заключался секрет парадоксального раннего развития городов греко-римского мира. С одной стороны, рабство представляло собой самую радикальную деградацию сельского труда — превращение самих людей в инертные средства производства с лишением их всех социальных прав и юридическим приравниванием к вьючным животным — в римском праве сельский раб определялся как *instrumentum vocale*, говорящий инструмент, недалеко ушедший от скота, считавшегося *instrumentum semi-vocale*, и простых инструментов, которые были *instrumentum mutum*. С другой стороны, рабство отражало самую радикальную коммерциализацию труда в городе: сведение всей личности работника к стандартному объекту покупки-продажи на городских рынках. Большинство рабов в классической древности использовалось в сельскохозяйственном труде (так обстояло дело не везде и не всегда, но в целом было именно так), но их сосредоточение, распределение и отправка производились на рыночных площадях городов, которые, конечно, также были местом работы и для многих из них. Рабство, таким образом, было экономическим стержнем, соединявшим город и деревню и обеспечивавшим непомерные богатства *поллуса*. Оно поддерживало невольническое сельское хозяйство, которое сделало возможным полный отрыв городского правящего класса от его сельских корней, и способствовало междугородной торговле, которая дополняла такое сельское хозяйство в Средиземноморье. Рабы, помимо других достоинств, в мире, где транспортные ограничения играли определяющую роль в структуре всей экономики, были чрезвычайно мобильным товаром.¹² Их без труда можно было перевозить из одной области в другую; их можно было обучить мно-

рабства, сколько еще одним показателем глубокой оторванности римского правящего класса от всякого производительного труда вообще, даже в руководящей форме.

¹² Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, с. 99–100.

жеству различных навыков; к тому же во времена избыточного предложения они, будучи альтернативной рабочей силой, позволяли сокращать затраты там, где трудились наемные работники или независимые ремесленники. Богатство и беззаботность имущего городского класса классической древности — прежде всего, Афин и Рима во времена их расцвета — основывались на значительных излишках, извлекавшихся при помощи этой системы труда, которая оказывала решающее влияние на все другие.

Но цена, которую приходилось платить за такое грубое и прибыльное устройство, была высокой. Рабовладельческие производственные отношения накладывали определенные непреодолимые ограничения на античные производительные силы в классическую эпоху. И, прежде всего, они вели к параличу производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Конечно, в экономике классической древности были определенные технические улучшения. Каждый способ производства на этапе своего подъема порождает материальный прогресс; и рабовладельческий способ производства достиг определенного прогресса в экономике благодаря своему новому общественному разделению труда. Здесь можно вспомнить распространение более прибыльных культур для производства вина и масла; внедрение жерновых мельниц для зерна и улучшение качества хлеба. Были придуманы винтовые прессы, развивалось стеклодувное дело и строительство печей; определенные успехи были достигнуты также в селекции зерновых, ботанике и орошении.¹³ Ни о какой простой и окончательной остановке развития техники в классическом мире не может быть и речи. Но в то же время не было сделано кластера значительных изобретений, который способствовал бы переходу античной экономики к качественно новым производительным силам. При сравнительном взгляде в прошлом более всего поражает общий технологический застой античности.¹⁴ Достаточно сравнить достижения восьми веков, начиная от возвышения Афин до падения Рима, с таким же промежутком времени для феодального спосо-

¹³ См. особ.: F. Kiechle, *Skavenarbeit und Technischer Fortschritt im römischen Reich*, Wiesbaden 1969, p. 11–14; L. A. Moritz, *Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity*, Oxford 1958; K. D. White, *Roman Farming*, London 1970, p. 113–114, 147–172, 188–191, 260–261, 452.

¹⁴ Общая проблема была четко поставлена, как всегда, Финли: Finley, 'Technical Innovation and Economic Progress in the Ancient World', *Economic History Review*, XVIII, No. 1, 1955, p. 29–45. О Римской империи см.: F. W. Walbank, *The Awful Revolution*, Liverpool 1969, p. 40–41, 46–47, 108–110.

ба производства, сменившего его, чтобы ощутить разницу между статичной и динамичной экономикой. В самом же классическом мире еще больше поражает контраст между богатством его культуры и надстройкой и бедностью его базиса — ручная технология древности была совершенно примитивной не только по меркам последующей истории, но и, прежде всего, по меркам собственных интеллектуальных достижений классической древности, которые в наиболее важных отношениях намного превосходили достижения Средневековья. Нет никаких сомнений в том, что такая необычайная диспропорция была обусловлена именно структурой рабовладельческой экономики. Аристотель, величайший и наиболее показательный мыслитель античности, сжато изложил ее социальный принцип в своем замечании: «Наилучшее государство не даст ремесленнику гражданских прав, ибо ручным трудом сейчас занимаются в основном рабы и иноземцы».¹⁵ Такое государство было идеалом рабовладельческого способа производства, который не был полностью претворен в жизнь ни в одной реальной общественной системе Древнего мира. Но его логика всегда имманентно присутствовала в природе классических экономик.

Как только физический труд стал ассоциироваться с утратой свободы, исчезли все возможные социальные основания для изобретения. Отсутствие развития техники оказывало влияние на рабство, и это не было просто следствием низкой средней производительности самого рабского труда или даже объема его использования — оно незаметно сказывалось на всех формах труда. Маркс попытался описать воздействие, которое оно оказывало, в своей знаменитой, хотя и загадочной теоретической формуле: «Каждая форма общества имеет определенное производство, которое определяет место и влияние всех остальных производств, и отношения которого поэтому точно так же определяют место и влияние всех остальных отношений. Это — то общее освещение, в сферу действия которого попали все другие цвета и которое модифицирует их в их особенностях».¹⁶ У самих сельскохозяйственных рабов, как только надсмотр над ними ослабевал, по понятным причинам было мало стимулов для полноценного и добросовестного выполнения своих экономических обязанностей; наиболее удобно использовать их было в работах на небольших виноградниках или в оливковых рощах. С другой стороны, многие рабы-ремесленники и земледельцы часто обладали выдающимися умениями и навыками, конечно, в рамках господствующей тех-

¹⁵ Аристотель, *Политика*, III, iv, 2.

¹⁶ К. Маркс, Ф. Энгельс, *Сочинения*, 2-е изд., т. 46, ч. II, с. 43.

нологии. Структурные ограничения, которые накладывало рабство на технологии, таким образом, связаны не столько с прямой внутри-экономической причинностью, хотя и она имела немаловажное значение, сколько с опосредующей социальной идеологией, которая охватывала тотальность физического труда в классическом мире, ставя на наемный и даже независимый труд клеймо унижения.¹⁷ Труд рабов в целом не был менее производительным, чем труд свободных, а иногда был и более производителен, но он задавал темп обоих видов труда, так что между ними не было серьезных различий в общем экономическом пространстве, которое исключало применение культуры к технике для изобретений. Оторванность материального труда от сферы свободы была настолько значительной, что в греческом языке даже не было слова для выражения идеи труда как социальной функции или личной деятельности. И сельскохозяйственный, и ремесленный труд обычно считались «приспособлением» к природе, а не преобразованием ее; они были формами обслуживания. Платон полностью исключал ремесленников из полиса, так как для него «труд остается чуждым всякому человеческому достоинству и в каком-то смысле кажется даже противоположным тому, что составляет сущность человека».¹⁸ Техника как продуманное, прогрессивное применение человеком орудий труда к природному миру была несовместима с ассимиляцией людей этому миру в качестве «говоря-

¹⁷ Финли отмечает, что греческий термин *penia*, обычно противопоставлявшийся *ploutos* как «бедность» «богатству», на самом деле имел более широкое пейоративное значение «рутины» или «вынужденного и изматывающего труда» и мог применяться даже к преуспевающим небольшим собственникам, на труд которых падала та же культурная тень: M. I. Finley, *The Ancient Economy*, London 1973, p. 41.

¹⁸ J. P. Vernant, *Mythe et Pensée chez les Grecs*, Paris 1965, p. 191, 197–199, 217. В двух статьях Вернана — «Прометей и функция техники» и «Труд и природа в Древней Греции» — предложен тонкий анализ различий между *poiesis* и *praxis* и отношениями земледельца, ремесленника и ростовщика к полису. Александр Койре пытался показать, что технический застой греческой цивилизации был связан не с рабовладением или обесцениванием труда, а с отсутствием экспериментальной физики, которая применяла бы математические измерения к земному миру: Alexandre Koyré, 'Du Monde de l'A Peu Près à l'Univers de la Précision', *Critique*, September 1948, p. 806–808. Этим он явно старался избежать социологического объяснения феномена. Но, как он сам имплицитно признал в другом месте, Средние века тоже не знали физики, но все же создали динамичную технологию: дело было не в развитии науки, а в производственных отношениях, которые определяли судьбу техники.

щих орудий». Производительность сдерживалась непрестанной рутинной *instrumentum vocalis*, которая обесценивала весь труд, исключая сколько-нибудь серьезный интерес к средствам его экономии. Типичной формой экспансии в античности для всякого данного государства всегда была экспансия «вширь» — географическое завоевание, а не экономический прогресс. Поэтому классическая цивилизация была *колониальной* по своему характеру: «клетки» городов-государств неизменно воспроизводили себя — на этапах подъема — путем основания новых поселений и ведения войн. Грабеж, получение дани и захват рабов были основными целями и средствами колониальной экспансии. Военная сила была связана с экономическим ростом теснее, чем, возможно, в любом другом предшествующем или последующем способе производства, потому что главным источником рабской рабочей силы, как правило, были пленники, а создание свободных городских войск для ведения войн зависело от поддержания рабовладельческого производства; поля сражений поставляли рабочую силу для сельскохозяйственных полей, и наоборот — пленные позволяли создавать армии граждан. В классической античности можно проследить три больших цикла имперской экспансии, последовательные и различные черты которых определяли общее развитие греко-римского мира: афинский, македонский и римский. Каждый из них предлагал определенное решение политических и организационных проблем, связанных с завоеваниями, которое принималось и преодолевалось следующим, никогда не ставя, однако, под угрозу основы общей городской цивилизации.

2. ГРЕЦИЯ

Греческие города-государства появились в Эгейской зоне еще до классической эпохи, но на основе имеющихся неписанных источников о них можно говорить только в самых общих чертах. После краха микенской цивилизации около 1200 года до н.э. Греция пережила продолжительный период «темных веков», когда грамотность исчезла, а экономическая и политическая жизнь свелась к зачаточной стадии домохозяйства; этот примитивный деревенский мир описан в гомеровском эпосе. Затем наступила эпоха архаической Греции, продлившаяся с 800 по 500 год до н.э., когда произошла постепенная кристаллизация городского устройства классической цивилизации. Незадолго до появления исторических записей местные цари были свергнуты племенными аристократиями, и именно при вла-

сти этой знати были основаны или получили свое развитие города. Аристократическое правление в архаической Греции совпало с возрождением торговли на большие расстояния (главным образом с Сирией и Востоком), первым появлением чеканной монеты (изобретенной в Лидии в VII веке) и созданием алфавитного письма (заимствованного у Финикии). Урбанизация неуклонно прогрессировала, распространяясь все дальше в Средиземноморье и Причерноморье, и к окончанию периода колонизации в середине VI века в самой Греции и за ее пределами было уже примерно 1500 греческих городов, причем практически ни один из них не отстоял от береговой линии дальше, чем на 25 миль. Эти города были, в сущности, местом сосредоточения земледельцев и землевладельцев — в типичных небольших городах той эпохи земледельцы проживали в пределах города, каждый день выходя работать в поле и возвращаясь вечером; кроме того, в города входила сельская округа с проживавшим в ней постоянно сельским населением. Социальная организация этих городов во многом была отражением племенного прошлого, из которого они выросли — их внутренняя структура четко определялась наследственными объединениями, родовая номенклатура которых отражала перенос в города традиционного сельского деления. Так, жители городов обычно организовывались в порядке убывания размера и открытости — в «племена», «фратрии» и «кланы». «Кланы» были закрытыми аристократическими группами, а «фратрии», возможно, — их первоначальной клиентелой.¹⁹ Нам мало известно о формальном политическом устройстве греческих городов архаической эпохи, поскольку, в отличие от Рима, оно не сохранилось в классическую эпоху; но, очевидно, это устройство основывалось на привилегированном правлении наследственной знати остальным городским населением, обычно осуществлявшемся посредством закрытого аристократического совета.

Разрыв с этим общим порядком произошел в последнем столетии архаической эпохи с наступлением эпохи «тиранов» (около 650–510 гг. до н.э.). Эти диктаторы порвали с господством в городах наследственных аристократий. Они представляли новых землевладельцев и новое богатство, накопленное во время экономического роста предшествующей эпохи, и в своей власти в намного большей степени опирались на уступки непривилегированной массе горожан. Тирании VI века на деле были важным этапом при переходе к классическому полису, поскольку именно в эпоху их преобладания были за-

¹⁹ A. Andrewes, *Greek Society*, London 1967, p. 76–82.

ложены экономические и военные основы классической греческой цивилизации. Тираны были продуктом двоякого процесса, разворачивавшегося в греческих городах поздней архаической эпохи. Появление чеканки монеты и распространение денежной экономики сопровождалось быстрым ростом общей численности населения и торговли Греции. Волна заморской колонизации VIII–VI веков была наиболее очевидным выражением этого развития; в то же время более высокая производительность вина и оливкового масла по сравнению с тогдашним зерновым производством, возможно, обеспечила Греции сравнительное преимущество в торговом обмене в зоне Средиземноморья.²⁰ Экономические возможности, которые открылись благодаря этому росту, привели к появлению страты новых богатых сельскохозяйственных собственников, не связанных с традиционной знатью и в некоторых случаях, возможно, получавших прибыль от вспомогательных торговых предприятий. Новое богатство этой группы никак не сказывалось на распределении власти в городе. В то же время увеличение численности населения и рост и распад архаической экономики вызвали острую социальную напряженность среди беднейшего класса земледельцев, постоянно находившихся под угрозой впасть в полную нищету и зависимость от знатных землевладельцев, и породили новые трения и противоречия.²¹ Одновременное давление недовольного крестьянства снизу и новых богачей сверху сломало систему правления в городах узкого круга аристократии. Специфическим итогом политических потрясений в городах стало появление переходных режимов тирании конца VII–VI веков. Сами тираны обычно были обладавшими большим богатством выходцами из низов, а их личная власть символизировала получение социальной группой, из которой они вышли, почета и положения в городе. Но их победа была возможна только благодаря использованию ими глубокого недовольства бедных, а их самым важным достижением были экономические реформы в интересах народных классов, которые им пришлось провести или с которыми им пришлось смириться ради сохранения собственной власти. Тираны, вступившие в борьбу с традиционной знатью, объективно заблокировали монополизацию сельскохозяйственной собственности, к которой могло привести неограниченное правление знати и которая могла вызвать дальнейший

²⁰ См.: William McNeill, *The Rise of the West*, Chicago 1963, p. 201, 273.

²¹ О новом экономическом росте на селе см.: W. G. Forrest, *The Emergence of Greek Democracy*, London 1966, p. 55, 150–156; о социальной подавленности класса мелких земледельцев см.: A. Andrewes, *The Greek Tyrants*, London 1956, p. 80–81.

рост социального угнетения в архаической Греции. За исключением единственной не имевшей выхода к морю области, равнины Фессалии, в эту эпоху небольшие крестьянские хозяйства по всей Греции смогли не просто сохраниться, но и окрепнуть. Различные формы, в которых происходил этот процесс, принимая во внимание нехватку письменных свидетельств из доклассической эпохи, приходится реконструировать в основном на основании его более поздних последствий. Первое крупное восстание против господства аристократии, которое при поддержке низших классов привело к успешному установлению тирании, произошло в Коринфе в середине VII века, где семья Бакхиадов лишилась традиционной власти над городом, который был одним из наиболее ранних и процветающих торговых центров в Греции. Но наиболее ясным и подробно описанным примером того, что, возможно, было чем-то вроде общей закономерности того времени служат, конечно, реформы Солона в Афинах. Солон, который сам не был тираном, был облачен высшей властью, чтобы положить конец серьезной социальной борьбе между богатыми и бедными, разразившейся в Аттике на рубеже VI века. Его главным шагом была отмена долговой зависимости, вследствие которой мелкие земледельцы становились жертвами крупных землевладельцев и превращались в зависимых арендаторов, а арендаторы попадали в кабалу и личную зависимость к аристократическим собственникам.²² В результате рост владений знати был остановлен, и произошла стабилизация небольших и средних хозяйств, которые с тех пор стали определяющей чертой сельской местности в Аттике.

Этот экономический порядок сопровождался новым распределением политического влияния. Солон лишил знать ее монополии на власть, разделив население Афин в зависимости от дохода на четыре класса: первые два получили доступ к высшим административным должностям, третий — к более низким, а четвертый — и последний — к голосованию на собрании граждан, которое отныне стало созываться регулярно. Такое устройство просуществовало недолго. В последующие тридцать лет Афины с созданием городской валюты и распространением местной торговли пережили быстрый экономический рост. Социальные конфликты между гражданами

²² Неясно, были ли до реформ Солона бедные земледельцы в Аттике арендаторами или собственниками своих земель. Эндриус утверждает, что они могли быть арендаторами (Andrewes, *Greek Society*, p. 106–107), но последующие поколения не сохранили воспоминаний о том, что при Солоне произошло действительное перераспределение земель, так что это кажется маловероятным.

вспыхнули с новой силой, достигнув наивысшей точки в захвате власти тираном Писистратом. Именно при этом правителе произошло окончательное оформление афинской общественной формации. Писистрат поддерживал программу строительства, которая обеспечила занятость городским ремесленникам и чернорабочим, и установил свой контроль над стремительным развитием морских путей из Пирея. Но, прежде всего, он оказывал прямую финансовую помощь афинским земледельцам в виде общественных кредитов, которые в конечном итоге обеспечили их автономию и безопасность накануне появления классического полиса.²³ Выживание мелких и средних земледельцев было гарантировано. Этот экономический процесс, отсутствие которого позднее определило совершенно иную социальную историю Рима, по-видимому, происходил по всей Греции, хотя никаких иных описаний этих событий, кроме афинских, не имеется. В других местах средний размер землевладений иногда мог быть и больше, но крупные аристократические имения были только в Фессалии. Экономической основой существования греков являлась небольшая аграрная собственность. Вместе с этим социальным успокоением в эпоху тиранов произошли существенные изменения в военной организации городов. Армии отныне состояли в основном из гоплитов, тяжеловооруженных пехотинцев – новшество, которым средиземноморский мир обязан грекам. Каждый гоплит покупал себе оружие и доспехи за свой счет, таким образом, эти воины должны были обладать достаточными средствами, и гоплитское войско всегда состояло из проживавших в городах средних землевладельцев. Свидетельством его военной эффективности стали впечатляющие победы греков над персами в следующем столетии. Но наибольшее значение в конечном итоге имело положение гоплитов в политической структуре городов-государств. Вооружавшие сами себя граждане-воины послужили предпосылкой более поздней греческой «демократии» или расширенной «олигархии».

Спарта была первым городом-государством, воплотившим в своем устройстве социальные результаты гоплитской войны. Ее развитие является своеобразным вариантом развития Афин в доклассическую эпоху. Дело в том, что в Спарте не было тирании, и отсутствие этого нормального переходного этапа сказалось впоследствии на ее экономических и политических институтах, особым образом

²³ О том, что политика Писистрата для экономической независимости земледельцев Аттики была важнее реформ Солона, см.: M. I. Finley, *The Ancient Greeks*, London 1963, p. 33.

сочетавших в себе передовые и архаические черты. За короткий промежуток времени Спарта завоевала сравнительно большие области на Пелопоннесе, сначала на востоке в Лаконии, а затем на западе в Мессении, поработив значительную часть жителей обеих областей, которые стали государственными «илотами». Это расширение территории и социальное порабощение соседнего населения были достигнуты при монархическом правлении. Но в течение VII века — или после первоначального завоевания Мессении, или после последующего подавления мессенского восстания, и вследствие их — в спартанском обществе произошли радикальные перемены, традиционно связываемые с мифической фигурой реформатора Ликурга. Согласно греческой легенде, земля была разделена на равные части, которые были распределены между спартанцами в виде *kleroi* или наделов, возделываемых принадлежавшими государству илотами. Эти «древние» держания позднее стали считаться неотчуждаемыми, в то время как другие, купленные позже, участки земли считались личной собственностью, которую можно было покупать или продавать.²⁴ Каждый гражданин обязан был вносить фиксированный вклад в натуральном виде для проведения совместных трапез — сисситий, поварями и прислугой на которых были илоты: тот, кто был неспособен внести его, автоматически терял гражданство и становился своеобразным «гражданином второго сорта», беда, во избежание которой, возможно, и было введено владение неотчуждаемыми наделами. Результатом этой системы было создание прочной сплоченности среди спартанцев, которые гордо называли себя *hoi homoioi* — «равные», хотя полного экономического равенства среди граждан Спарты никогда не существовало.²⁵ Политическая система, возникшая на основе клеров, также была новой для своего времени. В отличие от других греческих городов, монархия здесь так до конца никогда и не исчезла, но она была сведена к наследственному праву командования войсками и ограничивалась совместным правлением представителей двух

²⁴ Реальность первоначального раздела земли или даже более поздней неотчуждаемости наделов вызывает сомнения; см., напр.: А. Н. М. Jones, *Sparta*, Oxford 1967, p. 40–43. Более осторожную точку зрения, согласующуюся с представлениями греков, см. в: Andrewes, *Greek Society*, p. 94–95.

²⁵ Вопрос о размере наделов, поддерживавших социальную сплоченность спартанцев, вызвал широкие споры. По различным оценкам, он составлял от 20 до 90 акров пахотных земель; см.: P. Oliva, *Sparta and Her Social Problems*, Amsterdam-Prague 1971, p. 51–52.

царских домов.²⁶ Во всех остальных отношениях спартанские «цари» были простыми членами аристократии, не имевшими особых привилегий в совете из тридцати старейшин или *герусии*, которая изначально правила городом — типичный конфликт ранней архаической эпохи между монархией и знатью здесь был разрешен институциональным компромиссом между ними. Но в VII веке рядовые граждане образовали полноценное городское собрание, которому совет старейшин, сам ставший избираемым органом, передал право решения политических вопросов; в то же время пять годовых магистратов или эфоров наделялись высшей исполнительной властью путем прямых выборов, в которых принимали участие все граждане. Герусия могла наложить вето на решение собрания, и эфоры были наделены необычайно большой самостоятельной властью. Но спартанская конституция, которая кристаллизовалась в доклассическую эпоху, в социальном отношении была тем не менее самой передовой для своего времени. В ней впервые в Греции гоплиты действительно стали обладать правом голоса.²⁷ Ее введение часто связывается с новой ролью тяжеловооруженной пехоты в завоевании или порабощении жителей Мессении; и после этого Спарта, конечно, всегда славилась невероятной дисциплиной и отвагой своего гоплитского войска. Необычайные военные достоинства спартанцев, в свою очередь, были следствием повсеместно распространенного илотского труда, который освобождал граждан от какого-либо участия в производстве, позволяя им заниматься исключительно подготовкой к войне, не отвлекаясь ни на что другое. В результате сложился корпус из 8000–9000 спартанских граждан, экономически самодостаточных и политически полноправных, который был намного более широким и эгалитарным, чем любая современная аристократия или более поздняя олигархия в Греции. Крайний консерватизм спартанской общественной формации и политической системы в классическую эпоху, благодаря которым к V веку она стала казаться отсталой, на самом деле была продуктом успеха ее передовых преобразований в VII веке. Греческое государство, первым пришедшее к гоплитской конституции, последним изменило ее — устройство архаической эпохи сохранялось в основных чертах вплоть до окончательного падения Спарты пять веков спустя.

В других местах, как было отмечено ранее, греческие города-государства шли к своей классической форме более медленно. Тирания обычно служила необходимым промежуточным этапом развития: ее

²⁶ О конституционном устройстве Спарты см.: Jones, *Sparta*, p. 13–43.

²⁷ Andrewes, *The Greek Tyrants*, p. 75–76.

аграрные законы или военные нововведения подготовили греческий полис V века. Но для появления классической греческой цивилизации нужно было еще одно важное нововведение. Речь, конечно же, идет о введении масштабного рабства. Сохранение мелкой и средней собственности на землю разрешило социальный кризис в Аттике и не только в ней. Но само по себе оно лишь удерживало политическое и культурное развитие греческой цивилизации на «беотийском» уровне, препятствуя появлению более сложного социального разделения труда и городской надстройки. Относительно эгалитарные крестьянские общества физически могли сосредоточиться в городах; но в своем простом состоянии они никогда бы не смогли создать ту блистательную городскую цивилизацию, которую теперь впервые должна была продемонстрировать античность. Для этого был необходим широкий прибавочный труд рабов, позволявший освободить правящую страту для создания нового гражданского и интеллектуального мира. «Вообще говоря, рабство лежало в основе греческой цивилизации в том смысле, что его отмена и замена свободным трудом, если бы кто-то попытался сделать это, стала бы потрясением для всего общества и лишила бы высшие классы Афин и Спарты их свободного времени».²⁸

Поэтому не случайно, что за спасением независимых земледельцев и отменой долговой кабалы вскоре последовал стремительный рост использования труда рабов и в городах, и в сельской местности классической Греции. И как только в греческих общинах произошло блокирование крайностей социальной поляризации, логичным решением нехватки рабочей силы для господствующего класса стало обращение к поставкам рабов. Цена рабов — в основном фракийцев, фригийцев и сирийцев — была крайне низкой, немногим превышавшей стоимость их годового содержания;²⁹ поэтому их использование распространилось по всему греческому обществу — ими смогли владеть часто даже самые скромные ремесленники или мелкие земледельцы. Первым образчиком такого экономического развития также послужила Спарта; ведь именно предшествующее создание массы илотов, занятых сельскохозяйственным трудом в Лаконии и Мессении, позволило появиться сплоченному братству спартанцев. Появление первого многочисленного рабского населения в доклассической Греции и достижение гоплитами гражданских свобод и прав —

²⁸ Andrewes, *Greek Society*, p. 133. Ср.: V. Ehrenburg, *The Greek State*, London 1969, p. 96: «Без метеков или рабов существование полиса едва ли было бы возможно».

²⁹ Andrewes, *Greek Society*, p. 135.

две стороны одного и того же процесса. Но в этом, как и в других случаях, спартанское первенство сдерживало дальнейшее развитие: илотия оставалась «неразвитой формой» рабства,³⁰ поскольку илотов нельзя было покупать, продавать или освобождать и поскольку они были коллективной, а не индивидуальной собственностью. Полноценное товарное рабство, определявшееся рыночным обменом, было введено в городах-государствах Греции, соперничающих со Спартой. К V веку, расцвету классического полиса, Афины, Коринф, Эгина и практически все остальные крупные города имели огромное рабское население, нередко превосходившее по численности свободное население. Именно введение этой рабовладельческой экономики — в горном деле, сельском хозяйстве и ремесле — сделало возможным внезапный расцвет греческой городской цивилизации. Естественно, последствия этого, как было отмечено ранее, были не только экономическими. «Рабство, конечно, было не просто экономической необходимостью; оно было жизненно важно для всей социальной и политической жизни граждан».³¹ Классический полис основывался на новом концептуальном открытии свободы, сопровождавшимся систематическим насаждением рабства — свобода гражданина, в том числе и свобода от труда, теперь могла быть противопоставлена рабству и труду. Первые «демократические» институты в классической Греции появились в Хиосе в середине VI века, и именно Хиос считается первым греческим городом, который приступил к масштабному ввозу рабов с варварского Востока.³² В Афинах после реформ Солона в эпоху тирании произошел резкий рост численности рабского населения; а вслед за этим была введена новая конституция, разработанная Клисфеном, которая отменила традиционное племенное деление, позволявшее поддерживать отношения аристократической клиентелы, реорганизовала население в территориальные «демы» и ввела избрание по жребию в расширенный совет пятисот для контроля над делами города в сочетании с народным собранием. В V веке в греческих городах-государствах наблюдалось распространение политической формулы «предварительного обсуждения»: небольшой совет предлагал публичные решения более широкому собранию, которое голосовало за них, не имея права инициативы (хотя в более демократических государствах собрание

³⁰ Oliva, *Sparta and Her Social Problems*, p. 43–44. Илоты также имели свои собственные семьи и иногда использовались для военных нужд.

³¹ Victor Ehrenburg, *The Greek State*, p. 97.

³² Finley, *The Ancient Greeks*, p. 36.

позднее получило такое право). Различия в составе совета и собрания и в системе выборов магистратов государства, которые осуществляли управление им, определяли относительную степень «демократии» или «олигархии» в пределах каждого полиса. Спартанская система, в которой господствовали эфоры, воспринималась как противоположность афинской системе, властью в которой обладало общее собрание граждан. Но главная разделительная линия проходила не внутри граждан полиса, организованного или стратифицированного тем или иным образом. Она отделяла граждан — 8000 спартанцев или 45 000 афинян — от неграждан и несвободных, над которыми они возвышались. Община классического полиса, несмотря на свое внутреннее классовое разделение, возвышалась над порабощенной рабочей силой, которая определяла его форму и сущность.

Эти города-государства классической Греции постоянно соперничали и боролись друг с другом. Распространенной формой экспансии после завершения процесса колонизации в конце VI века было военное завоевание и получение дани. С изгнанием персидских войск из Греции в начале V века Афины постепенно стали самым сильным среди соперничающих городов Эгейского бассейна. Афинская империя, построенная поколением от Фемистокла до Перикла, казалась, обещала политическое объединение Греции под властью одного полиса (или несла в себе угрозу такого объединения). Ее материальной основой служило особое положение самих Афин, наиболее крупного в территориальном и демографическом отношении греческого города-государства, хотя и занимавшего по площади всего около 1000 квадратных миль и имевшего, возможно, до 250.000 человек населения. Аграрная система Аттики была типичной для своего времени (и возможно, наиболее ярким образцом общегреческой). По греческим меркам, крупным землевладением было имение площадью 100–200 акров.³³ В Аттике было не слишком много крупных имений, и даже состоятельные землевладельцы имели не сконцентрированные латифундии, а множество небольших хозяйств. Владения площадью в 70 или даже в 45 акров считались выше среднего, а самые маленькие участки, по-видимому, были немногим больше 5 акров. К концу V века три четверти свободного населения имело свои земельные участки.³⁴ Рабы служили прислугой, работали на полях, обычно возделывая земли богатых, и занимались ремесленным

³³ Forrest, *The Emergence of Greek Democracy*, p. 46.

³⁴ M. I. Finley, *Studies in Land and Credit in Ancient Athens 500–200 B. C.*, New Brunswick, p. 58–59.

трудом; численно свободные работники в сельском хозяйстве и, возможно, в ремеслах, по-видимому, превосходили рабов, но рабы в целом составляли намного более многочисленную группу, чем граждане. В V веке в Афинах, очевидно, было около 80.000–100.000 рабов и 30.000–40.000 граждан.³⁵ Треть свободного населения жила в самом городе. Большая часть остальных проживала в сельской местности неподалеку от города. Большинство граждан в соотношении 1:2 составляли классы «гоплитов» и «фетов»; последние были беднейшей частью населения, неспособной экипировать себя для службы в тяжеловооруженной пехоте. Разделение между гоплитами и фетами зависело от дохода, а не от рода занятий или места жительства: гоплиты могли быть городскими ремесленниками, а половина фетов, очевидно, были бедными крестьянами. Над этими двумя рядовыми классами возвышались два не столь многочисленных сословия более богатых горожан, элита которых составляла верхушку афинского общества из примерно 300 семей.³⁶ Эта социальная структура с ее признанной стратификацией, но отсутствием глубоких расколов в массе граждан, составляла основу афинской политической демократии.

К середине V века совет пятисот, следивший за отправлением власти в Афинах, набирался из всех граждан по жребию во избежание преобладания аристократии и клиентелизма на выборах. Единственными крупными избираемыми должностями в государстве были десять военачальников, которые, как правило, были выходцами из верхней городской страты. Совет больше не предлагал спорных решений собранию граждан, которое к этому времени сосредоточило в себе весь суверенитет и политическую инициативу, занимаясь простой подготовкой программы для него и ставя перед ним ключевые вопросы, требующие решения. Собрание проводило минимум 40 заседаний в год, на которые обычно являлись никак не меньше 5000 граждан, так как кворум в 6000 человек был необходим для обсуждения даже самых рядовых вопросов. На нем обсуждались и решались все важные политические вопросы. Судебная система, которая обрамляла законодательный центр полиса, состояла из заседателей, избираемых по жребию из населения и получавших, как и члены совета, плату за исполнение своих обязанностей, что позволяло беднякам принимать участие в судопроизводстве. В IV веке этот принцип был распространен и на работу самого собрания. Никакого постоянного бюрократического аппарата не существовало; адми-

³⁵ Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 9.

³⁶ A. H. M. Jones, *Athenian Democracy*, Oxford 1957, p. 79–91.

нистративные должности распределялись по жребию среди участников собрания, а немногочисленная полиция состояла из скифских рабов. На практике, конечно, прямая народная демократия афинской конституции размывалась неформальным господством над собранием профессиональных политиков, набравшихся из традиционно богатых и знатных городских семей (или — позднее — из новых богатых). Но это социальное доминирование никогда не было юридически установленным или закрепленным и всегда могло быть подорвано и оспорено вследствие самой природы афинской политики, основанной на гражданском равенстве и прямой демократии. Противоречие между этими двумя моментами лежало в основе структуры афинского полиса и находило поразительное отражение в единодушном осуждении беспрецедентной демократии города мыслителями, олицетворявшими его беспримерную культуру — Фукидидом, Сократом, Платоном, Аристотелем, Исократом или Ксенофонтом. Афины так никогда и не создали никакой демократической теории — практически все выдающиеся аттические философы или историки придерживались олигархических убеждений.³⁷ Аристотель предложил наиболее полное выражение этой точки зрения в своем решительном требовании исключения из идеального государства всех, кто занимается физическим трудом.³⁸ Рабовладельческий способ производства, поддерживавший афинскую цивилизацию, естественно, находил свое наиболее чистое идеологическое выражение в привилегированной социальной страте города, интеллектуальные достижения которой покоились на прибавочном труде, создавшемся молчаливыми низами, служившими основанием полиса.

Структура афинской общественной формации, однако, сама по себе была недостаточна для достижения имперского господства в Греции. Для этого нужны были еще две особые черты, которые отличали афинскую экономику и общество от всех остальных греческих городов-государств V века. Во-первых, в Аттике в Лаврийских горах имелись богатейшие в Греции месторождения серебра. Благодаря труду многочисленных рабов (около 30.000 человек), руда из этих шахт позволила оплатить строительство афинского флота, одержавшего победу над персидскими судами при Саламине. Афинское серебро с самого начала было условием военно-морского могу-

³⁷ Джонс описывает этот разрыв, но не замечает его роли в структуре афинской цивилизации в целом, ограничиваясь защитой полисной демократии от городских мыслителей: Jones, *Athenian Democracy*, p. 41–72.

³⁸ *Политика*, III, iv, 2, см. выше.

щества Афин. Кроме того, благодаря ему появилась аттическая монета, которая — единственная из всех греческих монет того времени — стала широко приниматься за границей и превратилась в средство торговли между различными местностями, во многом способствуя торговому процветанию города. Этому процветанию также немало способствовала необычайная концентрация в Афинах чужестранцев-«метеков», которым запрещалось владеть землей, но которые начали господствовать в городских торговле и промышленном производстве, сделав Афины основным торгово-промышленным центром в регионе Эгейского моря. Морская гегемония, установленная Афинами, сказалась на политическом устройстве города. Гоплитский класс средних земледельцев, составлявший пехоту полиса, насчитывал примерно 13.000 человек — треть населения. Но афинский флот был укомплектован моряками, которые происходили из более бедного класса фетов; гребцам выплачивалась заработная плата, и они были заняты на службе восемь месяцев в году. Их численность была почти равна численности пехотинцев (12.000), а их присутствие способствовало сохранению в афинском государстве более широкой демократии, чем в других греческих городах-государствах, в которых социальной основой полиса служила одна только категория гоплитов.³⁹ Именно денежное и военно-морское превосходство Афин сделало возможным их империализм; и оно же способствовало их демократии. Население города было освобождено от прямых налогов: в частности, собственность на землю, которой обладали только граждане, не облагалась никакими налогами, что было главным условием независимости землевладельцев в полисе. Доходы Афины получали от государственной собственности, косвенных налогов (например, портовых сборов) и обязательных финансовых «литургий», приносившихся городу состоятельными гражданами. Этот мягкий налоговый режим дополнялся оплатой работы судей и многочисленных моряков — сочетание, которое позволяло поддерживать значительную степень гражданского мира, бывшую отличительной особенностью политической жизни Афин.⁴⁰ Экономические издержки этой народной гармонии переносились на афинскую экспансию вовне.

³⁹ Традиционно считается, что именно победа моряков при Саламине сделала невозможным сопротивление притязаниям фетов на политические права, подобно тому как когда-то завоевание Мессении обеспечило спартанским гоплитам право голоса.

⁴⁰ M. I. Finley, *Democracy Ancient and Modern*, London 1973, p. 45, 48–49; см. также: Finley, *The Ancient Economy*, p. 96, 173.

Афинская империя, возникшая после персидских войн, была морской системой, созданной для силового подчинения греческих городов-государств Эгейского моря. Собственно заселение новых территорий играло второстепенную, хотя и весьма существенную, роль в ее структуре. Примечательно, что Афины были единственным греческим государством, создавшим особый класс заморских граждан или «клерухов», которым предоставлялись земли, отобранные у мятежных союзников за рубежом, и за которыми, в отличие от всех остальных греческих колонистов, сохранялись все юридические права в их родном городе. Постепенное насаждение клерухий и колоний в V веке позволило городу перевести более 10.000 афинян из фетов в гоплиты, наделив их землями за рубежом и значительно усилив свое военное могущество. Но суть афинского империализма состояла не в создании этих поселений. Рост влияния Афин в Эгейском море создал политический порядок, реальной задачей которого были контроль над уже урбанизированным побережьем и островами и их эксплуатация при помощи системы денежной дани, собиравшейся для содержания постоянного флота, номинально общего защитника греческой свободы от угрозы с Востока, а на деле основного инструмента имперского угнетения Афинами своих «союзников». В 454 году основная казна Делосского союза, первоначально созданного для борьбы с Персией, перешла к Афинам; в 450 году Афины отказались распустить этот союз после того, как заключение мира с Персией сделало его *de facto* империей. Во время своего расцвета в 440-х годах афинская имперская система включала около 150 — главным образом ионийских — городов, которые ежегодно выплачивали Афинам установленную сумму и не имели права держать собственный флот. Общий объем дани от империи на 50% превышал собственные внутренние доходы Аттики и, несомненно, финансировал гражданский и культурный расцвет перикловского полиса.⁴¹ В самих Афинах флот, оплачиваемый государством, давал работу наиболее многочисленному и наименее состоятельному классу горожан, а общественные работы, финансировавшиеся им, были связаны в основном с украшением города, наиболее заметным из которых был Парфенон. За пределами Афин их эскадры охраняли воды Эгейского моря, а постоянные политические представители, военачальники и пребывавшие из Афин с поручениями посланники обеспечивали покорность городских властей в подчиненных государствах. Афин-

⁴¹ R. Meiggs, *The Athenian Empire*, Oxford 1972, p. 152, 258–260.

ские суды преследовали граждан союзных городов, заподозренных в неблагонадежности.⁴²

Но вскоре пределы внешней власти Афин были достигнуты. Возможно, она стимулировала торговлю и производство в Эгейском бассейне, в котором использование аттической монеты было расширено приказным путем, а пиратство решительно подавлено, хотя основные доходы от роста торговли и накапливались у общины метеков в самих Афинах. Имперская система также пользовалась симпатией у более бедных классов союзных городов, потому что афинское покровительство, как правило, означало установление в них демократических режимов, подобных тому, что существовал в самом имперском городе, а бремя выплаты дани в основном падало на высшие классы.⁴³ Но она была неспособна институционально включить союзников в единую политическую систему. В самих Афинах права граждан были настолько широкими, что афинское гражданство невозможно было распространить на неафинян, поскольку это функционально противоречило прямой демократии собрания жителей, осуществимой только в очень ограниченном географическом масштабе. Поэтому, при всех демократических влияниях, которые оказывало на союзные города афинское правление, «демократическая» внутренняя основа перикловского империализма неизбежно порождала «диктаторскую» эксплуатацию ионийских союзников Афин, которая вела к колониальному рабству. Не было никаких оснований для равенства или федерации, которые могла бы дать более олигархическая конституция. Но в то же время демократическая природа афинского полиса, основным принципом которого было прямое участие, а не представительство, исключала и создание бюрократической машины, способной поддерживать расширенную территориальную империю при помощи административного принуждения. В городе, политическая структура которого определялась неприятием специализированных органов управления — гражданских или военных, — отсутствовал профессиональный государственный аппарат, отделенный от массы простых граждан; в афинской демократии

⁴² Meiggs, *The Athenian Empire*, p. 171–174, 205–207, 215–216, 220–233.

⁴³ Об этой симпатии см.: G. E. M. De Ste Croix, 'The Character of the Athenian Empire', *Historia*, Bd. III, 1954–1955, p. 1–41. В Делосском союзе были некоторые олигархические союзники — например, Митилены, Хиос или Самос, и Афины не осуществляли систематического вмешательства во внутренние дела союзных городов. Но местные конфликты обычно использовались ими как предлоги для принудительного установления народных режимов.

отсутствовало разделение между «государством» и «обществом».⁴⁴ Не было никакой основы для создания имперской бюрократии. Афинский экспансионизм поэтому довольно быстро потерпел крах — как вследствие собственных структурных противоречий, так и вследствие сопротивления ему (облегченного этими противоречиями) более олигархических городов материковой Греции во главе со Спартой. Спартанский союз обладал преимуществами как раз в том, в чем были слабости Афинского союза: это была конфедерация олигархий, сила которой основывалась на гоплитских собственниках без примеси простонародных моряков, а сплоченность не была связана с денежной данью или военной монополией гегемонистского города (самой Спарты), власть которого всегда представляла для других греческих городов меньшую угрозу, чем власть Афин. Нехватка сколько-нибудь значительных тылов на материке существенно ограничивала для Афин возможность — и в комплектовании войска, и в ресурсах, — военного противостояния коалиции сухопутных соперников.⁴⁵ В Пелопоннесской войне нападение внешнего противника сопровождалось мятежом бывших союзников Афин, имущие классы которых присоединились к сухопутным олигархиям, как только она началась. Но даже в этом случае для победы спартанского флота над афинским понадобилось персидское золото — прежде, чем Лисандру удалось, наконец, разбить афинскую империю на суше. После этого у греческих городов не было уже никаких шансов самим создать еди-

⁴⁴ Эренбург видел в этом главную слабость Афин. Тождество государства и общества неизбежно было противоречием, поскольку государство должно быть единым, а общество в силу деления на классы всегда оставалось разделенным. Поэтому либо государство должно было воспроизводить в своем устройстве социальное деление общества (олигархия), либо общество должно было поглотить государство (демократия). Ни одно решение не соответствовало этому институциональному различию государства и общества, которое оставалось неизменным, и оба содержали в себе семена разрушения: Ehrenburg, *The Greek State*, p. 89. Конечно, для Маркса и Энгельса в этом структурном отказе разрешить это противоречие и заключалось величие афинской демократии.

⁴⁵ Вообще границы между «олигархией» и «демократией» довольно четко соответствовали в классической Греции морской и сухопутной ориентациям полисов; преобладающее в жизни Афин значение моря было характерно и для городов в их ионийской зоне влияния, тогда как большинство союзников Спарты на Пелопоннесе и в Беотии, напротив, были более тесно связаны с землей. Важное исключение, конечно, составлял Коринф, традиционный торговый соперник Афин.

ное имперское государство, несмотря на их сравнительно быстрое экономическое возрождение после окончания продолжительной Пелопоннесской войны — равенство сил и множество городских центров в Греции исключали возможность совместной внешней экспансии. В середине IV столетия, когда классический полис столкнулся со все более серьезными трудностями в финансах и в привлечении к военной службе, симптомами неизбежной старости, стало очевидно, что греческие города исчерпали свои возможности.

3. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР

Второй большой цикл колониального завоевания исходил из сельской северной периферии греческой цивилизации с ее огромными демографическими и крестьянскими резервами. Македонская империя изначально была племенной монархией в горной местности, отсталым регионом, в котором сохранились многие социальные отношения постмикенской Греции. Македонское царство — именно благодаря своей примитивности в сравнении с городами-государствами Юга — не уступило, как они, в тупик и оказалось способным в новую эпоху их упадка преодолеть их ограничения. Его территориальная и политическая основа, как только к нему присоединилась значительно более развитая цивилизация собственно Греции, сделала возможной их совместную международную экспансию. Титул македонского царя передавался по наследству, хотя и требовал признания собранием воинов царства. Все земли формально находились в собственности монарха, но на деле племенная знать получала от него владения и претендовала на родство с ним, образуя окружение царских «спутников», которые служили его советниками и правителями. Большинство населения состояло из свободных земледельцев-арендаторов, а численность рабов была сравнительно невелика.⁴⁶ Города были развиты слабо, а сама столица — Пелла — была недавно возникшим и не крупным городом. Возвышение македонской державы на Балканах в правление Филиппа II началось, прежде всего, с аннексии фракийских золотых рудников (они сыграли ту же роль, что и аттические серебряные копи в предыдущем столетии), которая позволила Македонии получить необходимые средства для внешней агрессии.⁴⁷ Армиям Филиппа II удалось

⁴⁶ N. G. L. Hammond, *A History of Greece to 323 B. C.*, Oxford 1959, p. 535–536.

⁴⁷ Доход, который приносили фракийские золотые рудники, намного превосходил доход от лаврийских серебряных рудников в Аттике; см. наиболее здоровое иссле-

победить греческие города-государства и объединить греческий полуостров во многом благодаря его военным нововведениям, отражавшим иной социальный состав племенного населения внутренних областей Северной Греции. Кавалерия — аристократический род войск, прежде всегда игравшая в Греции вспомогательную роль по отношению к гоплитам силой — была преобразована, и было установлено ее гибкое взаимодействие с пехотой, а пехота отказалась от части своих тяжелых гоплитских доспехов ради большей мобильности и более широкого использования в сражениях длинных копий. В результате сложилась знаменитая македонская фаланга, прикрываемая с флангов конницей, которая неизменно одерживала победы повсюду — от Фив до Кабула. Успех македонской экспансии, конечно, зависел не только от искусности солдат и командиров или изначального доступа к драгоценным металлам. Предпосылкой для вторжения в Азию послужило предварительное поглощение самой Греции. Македонская монархия добилась успехов на полуострове, создавая из греков и других жителей завоеванных областей новых граждан и урбанизируя внутренние сельские области — тем самым она доказывала свою способность осуществлять власть на более широких территориях. И именно политические и культурные стимулы, которые она получила от интеграции наиболее передовых городских центров той эпохи, позволили ей при Александре за несколько лет завоевать весь Ближний Восток. Символично, что незаменимый флот, который перевозил и снабжал непобедимые войска в Азии, всегда был греческим. Единая македонская империя, которая возникла после сражения при Гавгамелах и простиралась от Адриатики до Индийского океана, не пережила самого Александра, который умер прежде, чем была создана ее сколько-нибудь цельная институциональная структура. Увидеть, с какими социальными и административными проблемами ей пришлось столкнуться, можно уже из попыток Александра объединить македонскую и персидскую знать путем официальных браков, но решение этих проблем было оставлено им его преемникам. Междоусобная борьба соперничающих македонских военачальников — диадохов — завершилась разделением империи на четыре основные зоны — Месопотамию, Египет, Малую Азию и Грецию, причем первые три превосходили последнюю по политическому и экономическому влиянию. Династия Селевкидов правила Сирией и Месопотамией; Птолемей основал Лагидское царство в Египте; а полвека спустя Атталидское царство в Пергаме ста-

дование начального этапа македонской экспансии, остающегося сравнительно слабо изученным: Arnaldo Momigliano, *Filippo II Macedone*, Florence 1934, p. 49–53.

ло главной силой в западной Малой Азии. Эллинистическая цивилизация была в основе своей продуктом этих новых греческих монархий Востока.

Эллинистические государства были гибридными образованиями, которые определили исторический облик Восточного Средиземноморья на многие столетия. С одной стороны, они породили самую большую волну основания городов, когда-либо наблюдавшуюся в классической древности: крупные греческие города возникали по стихийной инициативе или под покровительством царей по всему Ближнему Востоку, сделав его наиболее плотно урбанизированной областью Древнего Мира и подвергнув эллинизации местные правящие классы везде, где они создавались.⁴⁸ Если количество основанных городов было меньше, чем во времена архаической греческой колонизации, то по своей величине они были намного больше. Наиболее крупным городом в классической Греции были Афины с общей численностью населения в V веке до н.э. в 80.000 человек. А три крупнейших городских центра эллинистического мира — Александрия, Антиохия и Селевкия — могли насчитывать до 500.000 жителей. Новые города распределялись неравномерно, так как централизованное Лагидское государство в Египте с подозрением относилось ко всякой полисной автономии и не поддерживало создания многих новых городов, тогда как Селевкиды, напротив, активно множили их, а в Малой Азии местная знать создавала собственные города, подражая эллинистическому образцу.⁴⁹ Всюду эти новые города заселялись приезжими греческими и македонскими солдатами, чиновниками и торговцами, которые создавали господствующую социальную страту в эпигонских монархиях диадохов. Распространение греческих городов по Востоку сопровождалось ростом международной торговли и коммерческого процветания. Александр открыл сокровищницу персидского ахеменидского царства, пустив накопленные в ней средства в валютную систему Ближнего Востока и обеспечив тем самым резкий рост объема рыночных сделок в Средиземноморье. Аттический денежный стандарт теперь распространился по всему эллинистическому миру, за исключением птолемеевского Египта, способствуя международной

⁴⁸ Большинство новых городов создавались снизу местными землевладельцами; но наиболее крупными и наиболее важными, конечно, были города, официально основанные новыми македонскими правителями. См.: А. Н. М. Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, Oxford 1940, p. 27–50.

⁴⁹ О различии между политикой Лагидов и Селевкидов см.: М. Rostovtsev, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Oxford 1941, Vol. I, p. 476ff.

торговле и морским перевозкам.⁵⁰ Торговля в треугольнике между Родосом, Антиохией и Александрией стала основой нового торгового пространства, созданного эллинистическим Востоком. Банковское дело при Лагидском правлении в Египте достигло степени сложности, которая так и осталась непревзойденной в античную эпоху. Городская модель Восточного Средиземноморья определялась, таким образом, греческой эмиграцией и греческим образцом.

Однако в то же время предшествующие ближневосточные общественные формации — со своими совершенно иными экономическими и политическими традициями — упорно сопротивлялись греческому влиянию в деревне. В результате, на эллинистическом Востоке труд рабов в сельской местности не получил широкого распространения. Вопреки распространенной легенде, кампании Александра не сопровождались массовым порабощением, и в ходе македонских завоеваний доля рабов, по-видимому, почти не выросла.⁵¹ Поэтому производственные отношения в сельском хозяйстве остались почти нетронутыми греческим правлением. В традиционных сельскохозяйственных системах великих речных культур Ближнего Востока существование землевладельцев, зависимых арендаторов и собственников-крестьян сочеталось с верховной или непосредственной царской собственностью на землю. Сельское рабство никогда не имело большого экономического значения. Цари веками притязали на монопольное владение землями. Новые эллинистические государства унаследовали такое устройство, чуждое Греции, и сохранили его с незначительными изменениями. Основные различия между ними касались степени, в которой царская собственность на землю действительно осуществлялась династиями каждого царства. Лагидское царство в Египте, наиболее богатая и наиболее жестко централизованная из новых монархий, притязало на полную монополию на землю за пределами немногочисленных полисов. Лагидские правители сдавали практически всю землю, разделенную на небольшие участки, в краткосрочную аренду бедным крестьянам; государство получало от них ренту, не давая им никаких гарантий на срок аренды и заставляя участвовать в ирригационных работах.⁵² Династия Селевкидов в Месопотамии и Сирии, которая правила значительно большими

⁵⁰ F. M. Heichelheim, *An Ancient Economic History*, Vol. III, Leyden 1970, p. 10.

⁵¹ Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 28–31.

⁵² Описание этой системы см.: Rostovtsev, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Vol. I, p. 274–300; аналитический обзор различных форм использования рабочей силы в Лагидском Египте см.: К. К. Зельин, М. К. Трофимова,

по величине и менее связанными между собой территориями, никогда не пыталась проводить такую жесткую эксплуатацию. Царские земли передавались ею знати или правителям провинций, и независимые деревни крестьянских собственников спокойно сосуществовали с зависимыми арендаторами (*laoi*), которые составляли значительную часть сельского населения. Примечательно, что в сельском хозяйстве труд рабов использовался только на царских и аристократических землях Атталидского Пергама, самого западного из новых эллинистических государств, отделенного от Греции только Эгейским морем.⁵³ Географические границы этого способа производства, впервые возникшего в классической Греции, распространялись на близлежащие области Малой Азии.

Если города строились по греческому образцу, а деревня оставалась восточной, то структура государств, включавших и города, и деревни, неизбежно представляла собой синкретичное смешение греческих и азиатских форм, в которых явно преобладало многовековое наследие последних. Эллинистические правители унаследовали глубоко деспотические традиции речных цивилизаций Ближнего Востока. Монархи-диадохи пользовались той же неограниченной личной властью, что и их восточные предшественники. Новые греческие династии даже усилили и без того громадное идеологическое значение царской власти в регионе, введя официальный культ правителей. Божественность царей никогда не была доктриной персидской империи, разбитой Александром — это было македонское новшество, впервые введенное Птолемеем в Египте, где многовековой культ фараонов существовал еще до его поглощения Персией, естественным образом подготовив плодородную почву для обожествления правителя. Обожествление монархов вскоре стало идеологической нормой во всем эллинистическом мире. Развитие новых царств происходило по схожему образцу, создавая восточную в своей основе систему с незначительными греческими усовершенствованиями. Военные и гражданские кадры государства состояли в основном из македонских или греческих эмигрантов и их потомков. Никто больше не пытался произвести их этническое смешение с местными ари-

Формы зависимости в Восточном Средиземноморье эллинистического периода, М., 1969, с. 57–102.

⁵³ Rostovtsev, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Vol. II, p. 806, 1106, 1158, 1161. Рабы также широко использовались в царских рудниках и промышленности Пергама. Ростовцев полагал, что в самой Греции в эллинистическую эпоху было очень много рабов (Rostovtsev, *op. cit.* p. 625–626, 1127).

стократиями, вроде того, которое когда-то планировал Александр.⁵⁴ Была создана многочисленная бюрократия — имперский инструмент, которого так не хватало классической Греции, — причем на нее нередко возлагались амбициозные административные задачи, прежде всего, в Египте Лагидов, где она управляла почти всей сельской и городской экономикой. Селевкидское царство всегда было более свободным, а в его администрации не-греков было больше, чем в аталлидской или лагидской бюрократии;⁵⁵ в ней также преобладали военные, как и подобало государству с обширными пространствами, в отличие от администраций Пергама и Египта, в которых преобладали писцы. Но во всех этих государствах, несмотря на существование централизованной царской бюрократии, полностью отсутствовали сколько-нибудь развитые правовые системы, призванные четко определить или сделать более универсальными ее функции. Там, где произвол правителя был единственным источником всех государственных решений, не могло появиться никакого безличного закона. Эллинистическая администрация на Ближнем Востоке так и не создала единых сводов законов, просто импровизируя с существовавшими системами греческого и местного происхождения, в применение которых всегда мог вмешиваться монарх.⁵⁶ Точно так же бюрократическая машина государства обречена была ограничиваться бесформенными и случайными собраниями «друзей царя», нестабильной группы придворных и военных, которая составляла непосредственное окружение правителя. Глубокая аморфность эллинистических государственных систем проявлялась в отсутствии у них каких-либо территориальных наименований: эти государства были просто землями династий, которые и давали им свое имя. В таких условиях ни о какой подлинной политической независимости городов эллинистического Востока не могло быть и речи — дни классического полиса давно прошли. Свободы греческих городов на Востоке нельзя назвать незначительными, принимая во внимание деспотиче-

⁵⁴ Космополитизм самого Александра на основании очень скудных свидетельств часто преувеличивался; убедительную критику представлений о его космополитизме см. в: E. Badian, 'Alexander the Great and the Unity of Mankind', in G. T. Griffith, *Alexander the Great; the Main Problems*, Cambridge 1966, p. 287–306.

⁵⁵ На самом деле в институтах селевкидского государства иранцев было больше, чем греков и македонцев; см.: C. Bradford Welles, *Alexander and the Hellenistic World*, Toronto 1970, p. 87.

⁵⁶ P. Petit, *La Civilisation Hellénistique*, Paris 1962, p. 9; V. Ehrenburg, *The Greek State*, p. 114–117.

скую среду, в которой они находились. Но поскольку эти новые города находились в среде, совершенно непохожей на греческую, им так никогда и не удалось достичь независимости или жизнеспособности своих прообразов. Деревня внизу и государство вверху образовывали среду, которая сдерживала их развитие и встраивала их в вековые традиции региона. Их судьба, возможно, лучше всего иллюстрируется Александрией, которая стала новой морской столицей Египта Лагидов и на протяжении нескольких поколений оставалась наиболее крупным и процветающим греческим городом Древнего мира, экономическим и интеллектуальным центром Восточного Средиземноморья. Но богатство и культура Александрии при Птолемах дались дорогой ценой. В сельской местности, населенной зависимыми земледельцами (*laoi*), и в царстве, в котором господствовала вездесущая бюрократия, неоткуда было взяться свободным гражданам. И в самом городе финансовая и промышленная деятельность, которой в классических Афинах занимались метеки, не смогла развиваться, несмотря на исчезновения сдерживающей ее старой полисной структуры. Ибо на большинство крупных городских товаров — масло, ткани, папирус или пиво — существовала царская монополия. Сбор налогов был передан частным откупщикам, но при строгом контроле со стороны государства. Характерная поляризация свободы и рабства, которая служила отличительной особенностью эпохи классической Греции, таким образом, полностью отсутствовала в Александрии. Примечательно, что лагидская столица была одновременно сценой самого яркого эпизода в истории античной технологии — александрийский музей был источником большей части немногочисленных важных технических нововведений классического мира, а его сотрудник Ктесибий был одним из выдающихся изобретателей античности. Но даже в этом случае основным мотивом царей, которые основали музей и оказывали поддержку в его работе, было стремление к военным инженерным изобретениям, а не к экономическим и трудосберегающим инструментам, и его работа по большей части определялась именно этим. Эллинистические империи, эклектично сочетавшие греческие и восточные формы, расширили пространство городской цивилизации классической древности, выхолостив ее содержание, но при этом они не смогли преодолеть ее внутренние ограничения.⁵⁷

⁵⁷ Синкретизм эллинистических государств едва ли может служить основанием для дифирамбов Хейхельсхайма, который писал о них, как о «чуде экономической и административной организации», бессовестное разрушение которого варварским Римом якобы задержало движение истории на полтора тысяче-

Со II века до н.э. римская имперская власть продвигалась на восток, последовательно их разрушая, и к середине II века римские легионы смели все серьезные препятствия, стоявшие у них на пути. Символично, что именно Пергам, когда последний правитель династии Атталидов завещал его Вечному Городу, стал первым эллинистическим государством, вошедшим в новую Римскую империю.

4. РИМ

Возвышение Рима ознаменовало собой начало нового цикла городской имперской экспансии, которая означала не только смещение центра тяжести античного мира к Италии, но и дальнейшее социально-экономическое развитие способа производства, который впервые появился в Греции и обладал намного большим потенциалом, нежели тот, что раскрылся в эллинистическую эпоху. Поначалу римская республика развивалась так же, как и все предыдущие классические города-государства — локальные войны с соперничающими городами, аннексия земель, подчинение «союзников», основание колоний. Но в одном важном отношении римский экспансионизм с самого начала отличался от греческого опыта. Конституционная эволюция города вплоть до классического этапа его развития консервировала политическую власть аристократии. Архаическая монархия была свергнута знатью в самом начале его существования, в конце VI века до н.э., что в точности соответствовало греческому образцу. Но после этого, в отличие от греческих городов, Рим так никогда и не познакомился с тираническим правлением, которое сломало бы аристократическое господство и привело к последующей демократизации, опиравшейся на прочное мелкое и среднее сельское хозяйство. Вместо этого наследственная знать сохранила свою власть в крайне сложном гражданском устройстве, которое подверглось серьезным изменениям в ходе продолжительной и жесткой со-

летия. См.: Heichelheim, *An Ancient Economic History*, Vol. III, p. 185–186, 206–207. При всей сдержанности Ростовцева он также высказывает суждение, что римское завоевание восточного Средиземноморья было имевшим печальные последствия несчастьем, которое разрушило и «деэллинизировало» его, поставив под угрозу единство самой римской цивилизации: Rostovtsev, *The Social and Economic History of the Hellenistic World*, Vol. II, p. 70–73. Такие представления восходят, конечно, к Винкельману и культу Греции в немецком Просвещении, когда они действительно имели определенное интеллектуальное значение.

циальной борьбы в городе, но так никогда и не было отменено или заменено другим. Республика находилась под властью сената, который контролировался на протяжении первых двух веков ее существования небольшой группой из кланов патрициев; кооптивное членство в сенате оставалось пожизненным. Ежегодно сменяемые магистраты, наивысшее положение среди которых занимали два консула, избирались «народными собраниями», включавшими все население Рима, но организованными в неравные по весу «центурии», которые гарантировали большинство имущим классам. Консульские должности были высшими исполнительными должностями в государстве и вплоть до 366 года до н.э. по закону консулами могли быть только члены закрытого сословия патрициев.

Эта первоначальная структура в прямой и простой форме воплощала политическое господство традиционной аристократии. Затем после продолжительной борьбы, служившей наиболее близким римским эквивалентом греческих этапов «тирании» и «демократии», но так и не приведшей к результатам, сопоставимым с греческими, произошло определенное изменение и смягчение этой системы в двух важных аспектах. Прежде всего, в 366 году до н.э. недавно разбогатевшие «плебеи» вынудили «патрициев» открыть для них доступ к одной из годовых консульских должностей, хотя для того, чтобы в 172 году до н.э. обоими консулами впервые стали плебеи, потребовалось еще почти два столетия. Эти постепенные изменения привели к расширению состава самого сената, так как бывшие консулы автоматически становились сенаторами. В результате сложилась общественная формация расширенной знати, включавшей семьи как «патрициев», так и «плебеев», а политическое свержение самой системы аристократического правления, которое произошло в эпоху тиранов в Греции, так и не произошло. Хронологически и социологически с этим соперничеством в богатейших стратах республики пересекалась борьба более бедных классов за получение в ней более широких прав. Это давление снизу вскоре привело к созданию трибуната плебса, корпоративного представительства народных масс. Трибуны ежегодно избирались собранием «триб», которое, в отличие от собрания «центурий», было по сути своей глубоко эгалитарным — как и в архаической Греции, деление населения на «трибы» было на деле территориальным, а не родовым. В самом городе было четыре трибы и семнадцать за его пределами — показатель достигнутой к тому времени степени урбанизации. Трибунат служил вспомогательным и параллельным исполнительным органом, призванным защищать бедных от угнетения со стороны богатых. В конце концов, в начале III века

до н. э., собрания триб, которые избирали трибунов, получили законодательные полномочия, а сами трибуны обрели номинальное право вето на решения консулов и постановления сената.

Направление этой эволюции соответствовало тому, что привело в Греции к появлению демократического полиса. Но здесь также процесс был остановлен прежде, чем он смог привести к введению в городе нового политического устройства. Трибунат и собрание триб просто дополнили существовавшие институты сената, консулата и собрания центурий: они не означали внутреннего преодоления олигархического комплекса власти, который определял республику, а служили лишь внешним дополнением к нему, практическое значение которого зачастую было намного меньше его формального потенциала. Ибо борьба более бедных классов обычно возглавлялась богатыми плебеями, которые отстаивали народное дело для достижения своих частных интересов — ничего не изменилось даже после того, как недавно разбогатевшие плебеи получили доступ в ряды самого сенаторского сословия. Трибуны, которые обычно были состоятельными людьми, таким образом, стали на долгое время послушными инструментами самого сената.⁵⁸ Господство аристократии в республике не было серьезно подорвано. Плутократия теперь просто дополнила родовую знать, используя широкие системы «клиентелы» для приобретения сторонников среди городских масс и не скупясь на взятки, чтобы обеспечить избрание на годовые магистратуры через собрание центурий. Римская республика при помощи своего сложного устройства сохранила традиционное олигархическое правление вплоть до классической эпохи своей истории.

Возникшая в результате социальная структура римского гражданства, таким образом, неизбежно отличалась от той, которая была типичной для классической Греции. Патриции с самого начала стремились сосредоточить собственность в своих руках, загоняя более бедных свободных земледельцев в долговую кабалу (как в Греции) и присваивая себе *ager publicus* или общие земли, которые использовались для пастбы и возделывания. Тенденцию к превращению путем долговой кабалы свободных земледельцев в зависимых арендаторов удалось сдержать (хотя проблема самих долгов осталась),⁵⁹

⁵⁸ P. A. Brunt, *Social Conflicts in the Roman Republic*, London 1971, p. 58, 66–67. Эта небольшая работа является блестящим обзором классовой борьбы в республике в свете современных исторических исследований.

⁵⁹ Brunt, *Social Conflicts in the Roman Republic*, p. 55–57. Правовой институт долговой зависимости — *nexum* — был отменен в 326 году до н.э. Брант, возможно, пре-

но экспроприация *ager publicus* и упадок мелких землевладельцев продолжались. Никакого экономического или политического переворота, способного стабилизировать собственность простых жителей Рима и сопоставимого с тем, что имел место в Афинах или — в другой форме — в Спарте, не произошло. Когда Гракхи, в конце концов, попытались пойти по пути Солона и Писистрата, было уже слишком поздно. В конце II века до н.э., чтобы спасти положение бедных, уже нужны были куда более радикальные меры — перераспределение земли, которого требовали братья Гракхи — и, соответственно, у них было значительно меньше шансов преодолеть противодействие аристократии. На самом деле, никакой продолжительной или глубокой сельскохозяйственной реформы в республике так и не произошло, несмотря на постоянные волнения и озабоченность этим вопросом на последнем этапе ее существования. Политическое господство знати блокировало все попытки остановить резкую социальную поляризацию собственности на землю. В результате произошло постепенное размывание класса средних землевладельцев, который составлял основу греческого полиса. Римским эквивалентом категории гоплитов — мужчин, способных экипировать себя доспехами и оружием, необходимыми для службы в легионах, — были *assidui* или «осевшие на земле», прошедшие соответствующий имущественный ценз и признанные владеющими достаточными средствами, чтобы иметь собственное оружие. Ниже них стояли *proletarii*, неимущие граждане, чье служение государству заключалось в простом выращивании потомства (*proles*). Возросшая монополизация земли аристократией, таким образом, постепенно привела к сокращению числа *assidui* и неуклонному росту класса *proletarii*. Кроме того, римский военный экспансионизм также вел к сокращению рядов *assidui*, которые служили в армиях, осуществлявших экспансию, и, соответственно, гибли в войнах. В результате к концу III века до н.э. *proletarii* составляли, вероятно, уже абсолютное большинство граждан и чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией — вторжением Ганниба-

уменьшает последствия этой отмены, замечая, что *пехит* мог быть позднее возрожден в другом, неформальном, виде. История римской общественной формации, конечно, была бы совершенно иной, если бы во время республики под классом землевладельцев возникло бы консолидированное юридически зависимое крестьянство. На деле же долги земледельцев вели к концентрации в руках знати не зависимой рабочей силы, а сельскохозяйственных земель. Рабочей же силой в их владениях служили рабы, вследствие чего сложилась совершенно иная социальная конфигурация.

ла в Италию — пришлось призвать в армию и их; при этом имущественный ценз для *assidui* снижался дважды, пока в следующем столетии он не стал ниже минимального объема земли, необходимого для обеспечения средств к существованию.⁶⁰

Мелкие землевладельцы в Италии не исчезли полностью; но они вынуждены были уходить все дальше и дальше вглубь страны, в болотистые или горные земли, непривлекательные для крупных землевладельцев. Структура римского государства в республиканскую эпоху, таким образом, заметно отличалась от греческого образца. И если сельская местность была разделена на крупные землевладения знати, то города, напротив, были населены пролетаризированной массой, лишенной земли или любой другой собственности. Полностью урбанизированный, этот многочисленный и находящийся в отчаянной бедности низший класс утратил всякое желание вернуться к положению мелкого землевладельца, и им часто могли манипулировать аристократические клики, выступавшие против проектов аграрной реформы, которые поддерживались земледельцами *assidui*.⁶¹ Его стратегическое положение в столице растущей империи вынуждало римский правящий класс удовлетворять его прямые материальные потребности, осуществляя государственное распределение зерна. На деле это было дешевой заменой распределения земель, которого так никогда и не произошло: для сенатской олигархии, которая правила республикой, пассивный потребляющий пролетариат был предпочтительней непокорного производящего крестьянства.

Теперь можно рассмотреть последствия этой конфигурации для особого развития римского экспансионизма. Рост римской власти последовательно отличался от греческих образцов в двух важных отношениях, непосредственно связанных с внутренней структурой города. Прежде всего, Рим смог расширить свою собственную поли-

⁶⁰ Brunt, *Social Conflicts in the Roman Republic*, p. 13–14. Но даже после того, как Марий отменил имущественный ценз для службы в армии, в легионах по-прежнему преобладали земледельцы. См.: Brunt, 'The Army and the Land in the Roman Revolution', *The Journal of Roman Studies*, 1962, p. 74.

⁶¹ Тиберий Гракх, трибун-борец за *Lex Agraria*, сетовал на обнищание мелких землевладельцев: «у тех, кто сражается и умирает за Италию, нет ничего, кроме воздуха и света... [И] воюют и умирают они за чужую роскошь и богатство, эти “владыки вселенной”, как их называют, которые ни единого комка земли не могут назвать своим!» (Плутарх, *Тиберий и Гай Гракхи*, IX, 5). Его, идола мелкого крестьянства, забила городская толпа, настроенная против него патронами из сената.

тическую систему, включив в нее италийские города, которые были подчинены им в ходе его экспансии на полуострове. С самого начала, в отличие от Афин, он требовал от союзников войск для своих армий, а не денег для казны, облегчая тем самым для них бремя своего господства в мирное время и прочно связывая их с собой во время войны. В этом он следовал по пути Спарты, хотя его централизованный военный контроль над союзными войсками всегда был намного сильнее. Но Риму также удалось добиться и полного включения союзников в свое собственное государство, которого не мог представить себе ни один греческий город. Это стало возможным благодаря особой социальной структуре Рима. Даже самый олигархический греческий полис опирался на средних собственников и исключал крайнее экономическое неравенство богатых и бедных в городе. Политический авторитаризм Спарты – образчика греческой олигархии – не означал классовой поляризации среди населения – на самом деле, как мы видели, ему сопутствовал экономический эгалитаризм классической эпохи, включавший распределение каждому спартанцу неотчуждаемых государственных владений, дабы исключить возможность «пролетаризации» гоплитов, наподобие той, что произошла с ними в Риме.⁶² Классический греческий

⁶² Упадок Спарты после Пелопоннесской войны сопровождался, напротив, резким расширением экономического разрыва между богатыми и бедными гражданами в обстановке демографического спада и политической деморализации. Но традиции воинского равенства оставались настолько сильными и глубокими, что во II веке до н.э. – в самом конце своей истории – Спарта породила ряд удивительных эпизодов, связанных с деятельностью радикальных царей – Агиса II, Клеомена III и, прежде всего, Набиса. Социальная программа Набиса, связанная с возрождением Спарты, включала изгнание знати, отмену эфората, предоставление избирательного права подданным Спарты, освобождение рабов и распределение конфискованных земель среди бедняков. Это, очевидно, была наиболее последовательная и далеко идущая программа революционных мер, когда-либо озвученная в античную эпоху. Этот последний взрыв греческой политической жизненной энергии слишком часто воспринимался как отклонение или маргинальный эпилог к классической Греции – на самом деле, ретроспективно он проливает свет на природу спартанского государства во времена его расцвета. В одном из наиболее драматичных столкновений античности, в точке пересечения заката Греции и восхождения Рима, Набис встретил Квинция Фламиния, командовавшего войсками, посланными для подавления спартанской революции, которая могла служить дурным примером для других, следующими исполненными смысла словами: «Не судите о том, что делается

полис, независимо от степени относительной демократии и олигархии, сохранял гражданское единство, укорененное в сельской собственности на его непосредственной территории. И именно поэтому он был территориально негибким — неспособным к расширению без утраты идентичности. Римская конституция, напротив, была олигархической не только по форме. Она была намного более аристократической по своему содержанию, потому что за ней стояла совсем другого порядка экономическая стратификация римского общества. Это позволило распространить республиканское гражданство вовне, на схожие правящие классы в союзнических городах Италии, которые были социально родственны самой римской знати, и получали выгоду от римских завоеваний за рубежом. В конце концов, в 91 году до н.э., когда их требование о предоставлении римского гражданства (чего никогда не требовали союзники Афин или Спарты) было отвергнуто, итальянские города восстали против Рима. Но и тогда их военной целью было не какое-либо возвращение к независимости отдельных городов, а полуостровное итальянское государство со столицей и сенатом в подражание римскому устройству.⁶³ В военном отношении итальянское восстание потерпело поражение в продолжительной и жестокой «союзнической войне». Но в последующей суматохе гражданских войн между фракциями Мария и Суллы в республике сенат смог принять основную политическую программу союзников, потому что характер римского правящего класса и римская конституция облегчали реальное распространение гражданства на другие итальянские города, находившиеся под властью городской знати, которая по своему характеру походила на сенаторский класс и обладала достаточными богатством и свободным временем, чтобы, пусть и на расстоянии, принимать участие в политических делах республики. Итальянская знать, естественно, не смогла сразу же удовле-

в Лакедемонe, по вашим обычаям и законам... У вас по цензу набирают конников, по цензу — пехотинцев, и вы считаете правильным, что кто богаче, тот и командует, а простой народ подчиняется. Наш же законодатель, напротив, не хотел, чтобы государство стало достоянием немногих, тех, что у вас зовутся сенатом, не хотел, чтобы одно или другое сословие первенствовало в государстве; он стремился уравнивать людей в достоянии и в положении и тем дать отечеству больше защитников» (Тит Ливий, *История*, XXXIV, xxxi, 17–18).

⁶³ P. A. Brunt, 'Italian Aims at the Time of the Social War', *The Journal of Roman Studies*, 1965, p. 90–109. Брант полагает, что столетие спокойствия в Италии после победы над Ганнибалом послужило одним из доводов, убедивших союзников в преимуществах политического единства.

творить свои притязания на центральную власть в римском государстве, и ее скрытые амбиции после получения гражданства послужили мощным стимулом последующих социальных преобразований. Но ее гражданская интеграция тем не менее имела большое значение для будущей структуры Римской империи в целом. Относительная институциональная гибкость Рима послужила важным преимуществом во время его имперского подъема: она позволила избежать двух полюсов, между которыми разрывалась греческая экспансия, которая из-за этого и потерпела поражение, — преждевременного и бессильного закрытия города-государства или головокружительного триумфа царей за его счет. Политическая формула республиканского Рима представляла собой заметный прогресс в эффективности.

Тем не менее основные новшества римской экспансии в конечном счете были экономическими — это было введение крупных рабовладельческих латифундий, которые никогда прежде не существовали в античную эпоху. Рабы, как мы видели, широко использовались в греческом сельском хозяйстве; но само оно ограничивалось небольшими областями с небольшим населением, поскольку греческая цивилизация всегда оставалась по своему характеру прибрежной и островной. Кроме того, и это наиболее важно, возделываемые рабами участки земли Аттики или Мессении обычно были совсем небольшими — в среднем от 30 до — самое большее — 60 акров. Такое сельское устройство, конечно, было связано с социальной структурой греческого полиса, с отсутствием в нем концентрации богатства. Эллинистическая цивилизация, напротив, отличалась большим накоплением земельной собственности в руках царских династий и знати, но рабский труд в сельском хозяйстве не был широко распространен. И только в римской республике крупное землевладение впервые соединилось с масштабным трудом рабов в деревне. Появление рабства как организованного способа производства возвестило, как и в Греции, о наступлении классического этапа римской цивилизации, апогея ее могущества и культуры. Но если в Греции оно совпало со стабилизацией небольших хозяйств и компактного корпуса граждан, то в Риме оно осуществлялось под контролем городской аристократии, которая уже обладала социально-экономической властью над городом. В результате возник новый сельский институт экстенсивных латифундий с использованием труда рабов. Рабочая сила для огромных владений, которые начали появляться с конца III века до н.э., поставлялась за счет ряда кампаний, проведенных Римом для установления своей власти в Средиземноморье — Пунических, Македонских, Югуртинской, Митридатской и Галльских войн, которые доставля-

ли военнопленных в Италию на благо римского правящего класса. В то же время на самом полуострове продолжалась жестокая борьба — Ганнибаловская, Союзническая и Гражданская войны, — которая предоставила в распоряжение сенаторской олигархии или одержавших в ней верх фракций большие территории, конфискованные у побежденных в этих конфликтах, особенно в Южной Италии.⁶⁴ Кроме того, те же внешние и внутренние войны обострили упадок римского крестьянства, которое некогда составляло здоровое мелкоземле-владельческое основание социальной пирамиды города. Постоянная война вела к бесконечной мобилизации; *assidui* призывались в легионы и ежегодно погибали тысячами под их штандартами, а выжившие не могли заниматься дома своими хозяйствами, которые все более поглощались знатью. С 200 по 167 год до н.э. на военную службу постоянно призывалось 10% или более всех взрослых мужчин Рима — этих впечатляющих военных показателей можно было достичь, только если гражданская экономика поддерживалась за счет труда рабов, высвобождающего соответствующие человеческие ресурсы для армий республики.⁶⁵ Победоносные войны, в свою очередь, поставляли все больше рабов-пленников в города и имения Италии.

В результате объем землевладений, обрабатываемых рабами, вырос до невиданных ранее размеров. Выдающиеся представители знати I века до н.э., вроде Луция Домиция Агенобарба, могли иметь свыше 200.000 акров земли. Эти латифундии были новым социальным явлением, которое преобразило облик итальянской деревни. Они, конечно, не всегда и не обязательно составляли единые блоки земли, которые обрабатывались как целостные единицы.⁶⁶ Часто встре-

⁶⁴ Где были сосредоточены два самых непримиримых врага Рима во время Ганнибаловских и Союзнических войн — самниты и луканы.

⁶⁵ P. A. Brunt, *Italian Manpower 225 B. C.-A. D. 14*, Oxford 1971, p. 426.

⁶⁶ Так же обстояло дело на всем протяжении истории империи даже после того, как такие блоки земли, сгруппированные в *massae*, стали встречаться чаще. Неспособность понять этот фундаментальный аспект римского латифундизма сравнительно широко распространена. Недавним примером служит крупное российское исследование Поздней империи: Е. М. Штаерман, *Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи*, М., 1957. Весь анализ социальной истории III столетия у Штаерман покоится на нереалистичном противопоставлении средней виллы и крупной латифундии. Первая именуется «античной формой собственности» и отождествляется с муниципальными олигархиями этой эпохи; последняя становится «протофеодалным» феноменом, характерным для внемуниципальной аристократии. См.: *Кризис рабовла-*

чались латифундисты, имевшие множество вилл средней величины, иногда расположенных рядом, но чаще разбросанных по сельской местности и организованных так, чтобы достичь оптимального контроля со стороны управляющих и его агентов латифундиста. Но даже такие разбросанные владения были намного больше своих греческих предшественников, зачастую превышая 300 акров (500 *iugera*), а консолидированные владения, подобно имени Плиния-младшего в Тоскане, могли составлять 3000 акров или более.⁶⁷ Появление италийской латифундии привело к более широкому распространению скотоводства и междурудному выращиванию винограда и маслин со злаками. Приток рабского труда был настолько значительным, что в поздней республике он преобразовал не только италийское сельское хозяйство, но и торговлю и ремесленное производство — вероятно, 90% ремесленников в Риме были по своему происхождению рабами.⁶⁸ Характер гигантского социального переворота, связанного с римской имперской экспансией, и основной движущей силы, поддерживавшей его, лучше всего можно понять, взглянув на вызванную им демографическую трансформацию. По оценкам Бранта, в 125 году до н.э. в Италии были примерно 4.400.000 свободных граждан и 600.000 рабов; к 43 году до н.э., вероятно, было уже 4.500.000 свободных и 3.000.000 рабов — на самом деле, возможно, общая численность свободного населения даже сократилась, тогда как количество рабов выросло вдесятеро.⁶⁹ Ничего подобного Древний мир прежде не наблюдал. Потенциал рабовладельческого способа производ-

дельческого строя, с. 34–47, 116–117. На самом деле латифундия всегда состояла из отдельных вилл, «муниципальные» ограничения на земельную собственность никогда не имели большого значения; а экстратерриториальные сальтусы за пределами муниципальных границ, вероятно, всегда составляли незначительную часть территории империи в целом. (О последних, которым Штаерман придает слишком большое значение, см.: Джонс, *Гибель античного мира*, с. 335–336).

⁶⁷ См.: K. D. White, 'Latifundia', *Bulletin of the Institute of Classical Studies*, 1967, No. 14, p. 76–77. Уайт отмечает, что латифундии могли быть либо большими многопрофильными хозяйствами, наподобие тосканского имения Плиния, либо скотоводческими хозяйствами. Последние чаще были распространены в Южной Италии, а первые — в более плодородных землях Центральной и Северной Италии.

⁶⁸ Brunt, *Social Conflicts in the Roman Republic*, p. 34–35.

⁶⁹ Brunt, *Italian Manpower*, p. 121–125, 131. Об огромных богатствах, добытых римским правящим классом за рубежом, помимо накопления рабов, см.: А. Н. М. Jones,

ства в полной мере был раскрыт именно Римом, который, в отличие от Греции, довел его до логического завершения. Хищнический милитаризм римской республики был ее главным рычагом экономического накопления. Война приносила земли, дань и рабов; а рабы, дань и земли обеспечивали материальную составляющую войны.

Но историческое значение римских завоеваний в Средиземноморье, конечно, ни в коей мере не сводилось просто к необычайному обогащению senatorской олигархии. Триумфальное продвижение легионов вызвало куда более глубокие изменения во всей истории античности. Рим объединил западное Средиземноморье и его северные внутренние области в единый классический мир. Это было важным достижением республики, которая, в отличие от своей дипломатической осторожности на Востоке, с самого начала дала волю своим аннексионистским устремлениям на Западе. Греческая колониальная экспансия в восточном Средиземноморье, как уже было отмечено, происходила в форме основания множества новых городов, сначала создававшихся сверху самими македонскими правителями, а затем и копируемых снизу местной знатью региона; и это произошло в зоне с развитой цивилизацией, которая имела куда более долгую предшествующую историю, нежели цивилизация самой Греции. Римская колониальная экспансия в западном Средиземноморье отличалась, в основном, по контексту и характеру. Испания и Галлия — а позднее Норик, Реция и Британия — были далекими землями, населенными первобытными кельтскими племенами, многие из которых вообще не имели до этого связей с классическим миром. Их включение в состав Римской империи создало проблемы совершенно иного порядка, чем эллинизация Ближнего Востока. Они были не только социально и культурно отсталыми: это были внутренние области такого типа, который классическая древность никогда прежде даже не пыталась организовать экономически. Исходная матрица города-государства предполагала наличие прибрежной территории и моря, и классическая Греция никогда от нее не отступала. Эллинистическая эпоха сопровождалась интенсивной урбанизацией приречных культур Ближнего Востока, которые в прошлом основывались на речной ирригации, а теперь частично переориентировались на море (перемена, символом которой служит переход от Мемфиса к Александрии). Но пустыня слишком близко прилегалась к побережью южного и восточного Средиземноморья, поэтому в Леванте или Север-

'Rome', *Troisieme Conference Internationale d'Histoire Economique* (Munich 1965), 3, Paris 1970, p. 81–82 — статья об экономическом характере римского империализма.

ной Африке глубина заселения никогда не была слишком большой. Однако в западном Средиземноморье расширяющиеся римские рубежи не были ограничены ни прибрежной территорией, ни размерами оросительных систем. Здесь классическая древность впервые столкнулась с огромными внутренними пространствами, не имевшими предшествующей городской цивилизации. Именно римский город-государство, создавший рабские латифундии в сельской местности, оказался способным совладать с ними. Речные пути Испании или Галлии способствовали этому проникновению. Но непреодолимой силой, толкавшей легионы к Тахо, Луаре, Темзе и Рейну, была сила рабовладельческого способа производства, который в полной мере раскрыл себя на земле, где для него не было никаких ограничений или препятствий. Именно в эту эпоху — одновременно с экспансией Рима в западном Средиземноморье и как свидетельство динамизма сельского хозяйства этого региона — был совершен единственный серьезный прорыв в сельскохозяйственной технологии классической древности: изобретение ротационной мельницы для зерна, которая впервые появилась в двух своих основных формах в Италии и Испании во II веке до н.э.⁷⁰ Успешная организация масштабного сельскохозяйственного производства с рабской рабочей силой была предпосылкой перманентного завоевания и колонизации огромных внутренних пространств на севере и западе. Испания и Галлия вплоть до падения Империи оставались — вместе с Италией — римскими провинциями с наибольшим распространением труда рабов.⁷¹ Если греческая торговля проникала на Восток, то латин-

⁷⁰ L. A. Moritz, *Grain-Mills and Flour in Classical Antiquity*, Oxford 1958, p. 74, 105, 115–116.

⁷¹ Jones, 'Slavery in the Ancient World', p. 196, 198. Джонс позднее был склонен исключать Галлию, ограничивая область высокого распространения рабского труда Испанией и Италией: Джонс, *Гибель античного мира*, с. 435. Но, в действительности, имеются веские основания для того, чтобы поддержать его первоначальную позицию. Южная Галлия отличалась своей близостью к Италии в социальной и экономической структуре с начала имперского периода: Плиний считал ее практически продолжением полуострова — *Italia verius quam provincial*, «больше Италией, чем провинцией». Поэтому предположение о существовании рабовладельческих латифундий в Нарбонской Галлии кажется правдоподобным. Северная Галлия по своему характеру, напротив, была куда более примитивной и менее урбанизированной. Но именно в ней — в области Луары — при Поздней империи суждено было вспыхнуть знаменитым восстаниям багаудов, которые описываются в современной литературе

ское сельское хозяйство «открыло» Запад. Естественно, города, которые основывались римлянами в западном Средиземноморье, также строились по берегам судоходных рек. Создание рабовладельческого сельского хозяйства зависело от распространения процветающей сети городов, которые являлись пунктами назначения для его прибавочных продуктов и его структурным принципом организации и контроля. Были построены Кордова, Лион, Амьен, Трир и сотни других городов. Их количество никогда не было сопоставимо с числом городов в куда более древних и плотно заселенных обществах восточного Средиземноморья, но их было значительно больше, чем городов, основанных Римом на Востоке.

Римская экспансия в эллинистической зоне происходила совершенно иначе, чем в кельтской глуши Запада. В течение долгого времени она была куда более колеблющейся и неуверенной, ограничивавшейся скорее интервенциями, направленными против тех царей, которые угрожали разрушить существующий баланс сил в эллинистической системе государств (Филипп V, Антиох III), и создававшей клиентские царства, а не завоеванные провинции.⁷² Характерно, что после разгрома последней великой армии Селевкидов в Магнезии в 198 году до н.э., на протяжении полувека не была захвачена ни одна восточная территория; и только в 129 году до н.э. Пергам мирно перешел под власть Рима по завещанию его лояльного царя, а не воле сената, став первой азиатской областью империи. И только в I веке до н.э., когда Рим полностью осознал, какими огромными богатствами располагал Восток, а его военачальники взяли расширение военного могущества Рима за рубежом в свои руки, агрессия стала более быстрой и систематичной. Но власти эпохи республики обычно управляли богатыми азиатскими провинциями, отобранными теперь римскими генералами у их эллинистических правителей, не производя в них почти никаких социальных изменений и не преобразуя их политические системы, а лишь заявляя об их «освобождении» от деспотов-царей и удовлетворяясь взиманием с них обильных налогов. Никакого значительного внедрения рабского труда в сельском хозяйстве Восточного Средиземноморья не было; многочисленные военнопленные превращались в рабов, но отправлялись для работ

как восстания сельскохозяйственных рабов; см.: прим. 84 ниже. Поэтому Галлию в целом вполне можно рассматривать вместе с Испанией и Италией как крупный регион рабовладельческого сельского хозяйства.

⁷² Убедительное сопоставление римской политики на Востоке и Западе см.: E. Vadian, *Roman Imperialism in the Late Republic*, Oxford 1968, p. 2–12.

на Запад, в самую Италию. Царские владения присваивались римскими управляющими и авантюристами, но система труда на них оставалась по сути неизменной. Основное новшество римского правления на Востоке касалось греческих городов региона, в которых теперь был введен имущественный ценз для занятия муниципальных должностей, что приблизило их устройство к олигархическим нормам самого Вечного Города. Но на деле это была просто юридическая кодификация *de facto* власти местной знати, которая и так уже господствовала в этих городах.⁷³ Цезарь и Август создали несколько собственно римских городских колоний на Востоке, чтобы поселить в Азии латинских пролетариев и ветеранов. Но это не имело большого значения. Примечательно, что когда при принципате (прежде всего, в эпоху Антонинов) прокатилась вторая волна основания городов, они были в большинстве своем греческими, что соответствовало предшествующему культурному характеру региона. И никогда не предпринималось попыток романизации восточных областей; полноценной латинизации подвергся именно Запад. Языковая граница, простиравшаяся от Иллирии до Киренаики, разделяла новый имперский порядок на две основные части.

Римские завоевания в Средиземноморье в последние два столетия республики и широкое распространение сенаторской экономики, которому они способствовали, сопровождались беспрецедентным для Древнего мира развитием надстройки. Именно в эту эпоху римское гражданское право появилось во всем своем единстве и своеобразии. Постепенно развивавшаяся с III века до н.э., римская правовая система занималась в основном регулированием неформальных отношений контракта и обмена между частными лицами. Она была ориентирована, прежде всего, на экономические сделки — покупку, продажу, наем, аренду, наследование, залог — и на экономические аспекты семейных отношений (собственность супругов, наследственное право). Отношения гражданина к государству и патриархальные отношения главы семьи с домочадцами играли второстепенную роль в развитии правовой теории и практики; первые считались слишком изменчивыми, чтобы быть систематизированными, тогда как вторые покрывались в основном областью уголовного права.⁷⁴ Но республиканская юриспруденция не интересовалась ни тем, ни другим — ни публичным, ни уголовным правом; в центре ее внимания

⁷³ Jones, *The Greek Cities from Alexander to Justinian*, p. 51–58, 160.

⁷⁴ О возникновении и характере юриспруденции той эпохи см.: F. H. Lawson, 'Roman Law', in J. P. Balsdon (ed.), *The Romans*, London 1965, p. 102–110ff.

находилось гражданское право, которое регулировало споры между сторонами по поводу собственности, и в котором были достигнуты наиболее впечатляющие успехи. Развитие общей теории права также было новшеством для античности. Она была создана не государственными функционерами или практикующими юристами, а специализирующимися в этой сфере аристократическими юристами, которые не участвовали в самом процессе судебной тяжбы, высказывая перед судом суждения относительно правовых принципов, а не обстоятельств дела. Республиканские юристы, не имевшие никакого официального статуса, разработали ряд абстрактных «договорных фигур», применимых к анализу отдельных случаев коммерческого и социального взаимодействия. Их интеллектуальные наклонности были аналитическими, а не систематическими, но общим результатом их работы было появление — впервые в истории — организованного корпуса гражданского права как такового. Экономический рост товарного обмена в Италии сопровождавший строительство римской имперской системы и основывавшийся на широком использовании труда рабов, нашел свое юридическое выражение в создании в поздней республике беспрецедентного торгового права. И высшим, главным достижением нового римского права было, что вполне соответствовало его социальному контексту, изобретение понятия «неограниченной собственности» — *dominium ex jure Quiritium*.⁷⁵ Ни одна предшествующая правовая система не была знакома с понятием неограниченной частной собственности — собственность в Греции, Персии или Египте всегда была «относительной», иными словами, обусловленной превосходящими или сопутствующими правами других властей и сторон или обязательствами по отношению к ним. Именно римское право впервые освободило частную собственность от всех внешних условий или ограничений, проведя новое различие между простым «владением» (фактическим распоряжением имуществом) и «собственностью» (правовыми основаниями на него). Римское право собственности, значительная часть которого была посвящена собственности на рабов, служило концептуально чистым выражением коммерциализированного производства и обмена товаров в расширенной государственной системе, которая стала возможной

⁷⁵ Важность этого достижения признается в лучшем современном исследовании римского права: Н. F. Jolowicz, *Historical Introduction to the Study of Roman Law*, Cambridge 1952, p. 142–143, 426. Полная частная собственность была «квиритской», потому что она была атрибутом римского гражданства как такового — она была неограниченной, но не всеобщей.

благодаря республиканскому империализму. Точно так же, как греческая цивилизация первой отделила абсолютный полюс «свободы» от политического континуума относительных условий и прав, всегда преобладавшего ранее, так и римская цивилизация первой выделила чистый цвет «собственности» из экономического спектра непрозрачного и неопределенного владения, который обычно предшествовал ей. Квиритская собственность, юридическое оформление расширенного рабовладельческого римского хозяйства, была важным достижением, которому суждено было пережить мир и эпоху, породившие ее.

Республика завоевала Риму его империю, и своими победами сама сделала себя анахронизмом. Олигархия одного города не могла удерживать Средиземноморье в едином государстве — масштабы ее успехов превосходили ее саму. Завоевания последнего столетия существования республики, которые привели легионы к Евфрату и Ла-Маншу, сопровождалась резким ростом напряженности в римском обществе — прямое следствие триумфальных побед, которые одерживались за границей. Крестьянское брожение из-за земельного вопроса было задушено с подавлением Гракхов. Но затем оно приняло новые и более опасные формы уже в самой армии. Постоянный призыв постепенно ослаблял и сокращал класс мелких землевладельцев, но его экономические чаяния сохранились и теперь нашли свое выражение в требованиях выделения земельных наделов отставным ветеранам — тем, кто остались в живых, исполнив воинский долг, тяжким бременем ложившийся на римское крестьянство, — которые стали последовательно выдвигаться со времен Мария. Сенаторская аристократия извлекла огромную выгоду из финансового разграбления Средиземноморья, последовавшего за завоеваниями Рима, сколотив огромные состояния на дани, вымогательстве, землях и рабах; но она вовсе не собиралась предоставлять даже малейшую компенсацию солдатам, которые завоевали для нее все эти неслыханные богатства. Легионерам мало платили, и их бесцеремонно увольняли без какой-либо компенсации за долгие годы службы, за время которой они не только рисковали своими жизнями, но даже часто лишались своей собственности. Выплата компенсаций при увольнении со службы означала бы — пусть и незначительное — обложение налогами имущих классов, на которое правящая аристократия наотрез отказывалась идти. В результате, в поздних республиканских армиях военные выказывали лояльность уже не государству, а успешным генералам, которые своим личным авторитетом могли гарантировать своим солдатам добычу или дары. Связь между легионером и ко-

мандиром все больше начинала напоминать связь между патроном и клиентом в гражданской жизни — с эпохи Мария и Суллы солдаты обращались к своим генералам за экономической помощью, а генералы использовали своих солдат для своего политического роста. Армии стали инструментами популярных командиров, а войны начали становиться частными инициативами честолюбивых консулов — Помпей в Вифинии, Красс в Парфянском царстве, Цезарь в Галлии строили свои собственные стратегические планы завоевания или агрессии.⁷⁶ Фракционное соперничество, которым традиционно сопровождалась городская политика, последовательно перешло на военную сцену, которая больше не ограничивалась одними только узкими рамками самого Рима. Неизбежным результатом этого стали полномасштабные гражданские войны.

И если бедственное положение крестьян служило предпосылкой военных волнений и беспорядков в поздней республики, то положение городских масс резко обострило кризис сенаторской власти. С расширением империи столичный Рим неудержимо рос в размерах. Все больший уход крестьян с земель и широкий ввоз рабов вызывали стремительный рост метрополии. Ко времени Цезаря в Риме проживало, по-видимому, около 750.000 человек — больше, чем в самых крупных городах эллинистического мира. Переполненные трущобы столицы, населенные ремесленниками, рабочими и мелкими лавочниками из числа рабов, вольноотпущенников или свободнорожденных, были охвачены голодом, болезнями и нищетой.⁷⁷ Во II веке до н.э. знать умело направляла городские толпы против аграрных реформаторов — операция повторилась еще раз, когда римский плебс в очередной раз поддавшись на олигархическую пропаганду о «подстрекателе» и враге государства, отверг Катилину, до конца верными которому остались только мелкие земледельцы Этрурии. Но это был последний такой эпизод. После этого римский пролетариат, по-видимому, окончательно вышел из-под опеки сенаторов; его настроения в последние годы республики становились все более угрожающими и враждебными по отношению к традиционному политическому порядку. Поскольку сколько-нибудь надежных или серьезных полицейских сил в переполненном городе с населением в три четверти миллиона человек практически не было, непосредственное массовое давление, которое могли оказывать городские бунты в си-

⁷⁶ Новизна такого развития событий отмечается в: Badian, *Roman Imperialism in the Late Republic*, p. 77–90.

⁷⁷ P. A. Brunt, 'The Roman Mob', *Past and Present*, 1966, p. 9–16.

туациях политических кризисов в республике, было очень велико. Организованный трибуном Клодием, который вооружил часть городской бедноты в 50-х годах, в 53 году до н.э. римский пролетариат впервые добился для себя бесплатной раздачи зерна, ставшей с тех пор отличительной особенностью римской политической жизни; к 46 году до н.э. число его получателей выросло до 320.000 человек. Более того, именно народные волнения позволили Помпею получить чрезвычайные полномочия, которые вызвали окончательный военный распад сенаторского государства; народное восхищение Цезарем сделало его такой угрозой аристократии десять лет спустя; и восторженный народный прием гарантировал его триумфальное вхождение в Рим после пересечения Рубикона. А после смерти Цезаря, опять-таки именно народные волнения на улицах Рима в отсутствие преемника вынудили Сенат в 22–19 года до н.э. обратиться к Августу с просьбой принять продленные консульские и диктаторские полномочия, что и положило конец республике.

Наконец, и это, возможно, самое главное, из-за стремления оставить все по-старому в сочетании с бессистемными действиями в управлении провинциями римская знать становилась все более непригодной для руководства космополитической империей. Ее исключительные привилегии были несовместимы со сколько-нибудь прогрессивным объединением ее зарубежных завоеваний. Провинции были еще неспособны дать серьезный отпор ее хищному эгоизму. Но Италия, первая провинция, которая получила формальное гражданское равенство после жестокого восстания в предшествующем поколении, была способна на это. Итальянская знать была юридически интегрирована в римское общество, но до сих пор не была допущена в сенат и во власть. И на последнем этапе гражданских войн между триумвирами у нее появилась возможность совершить решительное политическое вмешательство. Провинциальная знать стекалась под крыло Августа, самозваного защитника ее традиций и привилегий от пугающего и странного ориентализма Марка Антония и его сторонников.⁷⁸ Именно ее присяга на верность Августу, принесенная *'tota Italia'* в 32 году, гарантировала ему победу при Акции. Примечательно, что все три гражданские войны, определившие судьбу республики, развивались по одному географическому образцу — все они были выиграны стороной, которая контролировала Запад, и проиг-

⁷⁸ Роль итальянского землевладельческого класса в приходе к власти Августа — одна из основных тем наиболее известного исследования этого периода: R. Syme, *The Roman Revolution*, Oxford 1960, p. 8, 286–290, 359–365, 384, 453.

раны стороной, опиравшейся на Восток, несмотря на намного большее богатство и ресурсы, имевшиеся на Востоке. Победы при Фарсале, Филиппах и Акции были одержаны в Греции, которая служила аванпостом проигравшей половины империи. Динамичный центр римской имперской системы вновь оказывался в западном Средиземноморье. Но если изначальной территориальной базой Цезаря служили варварские области Галлии, то Октавиан сколотил свой политический блок в самой Италии — и его победа оказалась впоследствии менее «преторианской» и более прочной.

Август получил верховную власть, объединив вокруг себя множество сил недовольства и распада в поздней республике. Ему удалось сплотить нищий городской плебс и тоскующих по дому солдат против немногочисленной и ненавистной правящей элиты, напыщенный консерватизм которой вызывал все большее народное озлобление. Но, прежде всего, он опирался на провинциальную знать, стремившуюся теперь урвать свой кусок власти и славы в системе, которую она помогла создать. После битвы при Акции установилась стабильная и всеобщая монархия, поскольку только она могла преодолеть ограниченный муниципализм сенаторской олигархии в Риме. Македонская монархия внезапно была навязана огромному, чужому континенту и не смогла создать единый правящий класс, чтобы править ею *post facto*, несмотря на возможное осознание Александром этой главной структурной проблемы, стоявшей перед ним. В отличие от нее, римская монархия Августа была установлена именно тогда, когда пришло ее время — ни слишком рано, ни слишком поздно — решающий переход от города-государства к всеобщей империи, знаковый циклический переход классической древности, произошел при принципате поразительно успешно.

Наиболее острые противоречия поздней республики теперь удалось ослабить благодаря ряду проницательных политических мер, призванных вновь стабилизировать римский общественный порядок. Прежде всего Август предоставил земельные наделы тысячам солдат, демобилизованных после гражданских войн, оплатив приобретение многих из них из своих личных средств. Эти пожалования, как и пожалования Суллы до него, делались, по-видимому, за счет других мелких землевладельцев, которые лишались земли, чтобы освободить место для возвращавшихся ветеранов, и потому не слишком способствовали улучшению социальной ситуации крестьянства в целом или изменению общего устройства сельскохозяйственной собственности

в Италии.⁷⁹ Но они действительно снизили остроту требований важного вооруженного меньшинства из класса крестьян, ключевой части сельского населения. Плата за действительную воинскую службу была увеличена вдвое еще при Цезаре, и при принципате рост продолжился. И — что еще более важно — с 6 года н.э. ветераны стали получать регулярные денежные вознаграждения при увольнении в размере заработка за тринадцать лет, которые выплачивались из специально созданной военной казны, получавшей средства от скромных налогов на продажи и наследство, возложенных на имущие классы Италии. Такие меры вызвали острое противодействие сенаторской олигархии, которая требовала их отмены, но с введением новой системы в армию вернулись дисциплина и лояльность, численность легионов сократилась с 50 до 28, а сама армия превратилась в постоянную и профессиональную силу.⁸⁰ В результате, удалось произвести самую важную реформу — ко времени правления Тиберия воинская повинность была отменена, и тем самым италийские мелкие землевладельцы были освобождены от постоянного бремени, которое вызывало такие страдания при республике. Возможно, это была для них более ощутимая материальная выгода, чем любая из схем распределения земли.

В столице городской пролетариат был успокоен раздачами зерна, которые вновь были увеличены с уровня цезаревских времен и стали теперь — после включения в империю египетской житницы — бо-

⁷⁹ Проблема земельных наделов, предоставлявшихся ветеранам Цезарем, триумвиром и Августом, вызвала множество различных интерпретаций. Джонс полагает, что этого перераспределения сельскохозяйственной собственности в пользу солдат-крестьян на самом деле было достаточно для успокоения сельского недовольства в Италии — отсюда и сравнительный социальный мир при принципате после брожения при поздней республике: А. Н. М. Jones, *Augustus*, London 1970, p. 141–142. Брант, с другой стороны, убедительно показывает, что земельные наделы зачастую бывали просто небольшими участками земли, которые изымались у солдат или сторонников побежденных в гражданских войнах армий и передавались рядовым солдатам войск победителя; то есть они не имели никакого отношения к крупным владениям, присваивавшимся командирами-землевладельцами, и общее устройство собственности в деревне оставалось неизменным. «Римская революция, возможно, не вызвала никаких перманентных изменений в сельскохозяйственном обществе Италии». См.: Brunt, 'The Army and the Land in the Roman Revolution', p. 84; *Social Conflicts in the Roman Republic*, p. 149–150.

⁸⁰ Jones, *Augustus*, p. 110–111ff.

лее гарантированными. Была запущена амбициозная программа строительства, которая обеспечила городским низам занятость, а городские службы после создания пожарных команд и системы водопровода стали заметно лучше. Кроме того, в Риме теперь постоянно находились преторианские когорты и городская полиция для подавления волнений. Тем временем произвольные и необузданные поборы республиканских откупщиков в провинциях — одно из худших злоупотреблений старого режима — были прекращены, и была введена единообразная фискальная система, включавшая поземельный и подушный налог, основанные на точных переписях — доходы центра выросли, а периферийные области перестали страдать от поборов откупщиков. Правителям провинций стало выплачиваться регулярное жалование. Судебная система была перестроена так, чтобы расширить возможность апелляций против произвольных решений и для италийцев, и для жителей провинций. Чтобы соединить обширные пространства империи непрерывной системой коммуникаций, впервые была создана имперская почтовая служба.⁸¹ В отдаленных областях, преимущественно в западных провинциях, основывались римские колонии и муниципалитеты и латинские общины. После поколения разрушительной гражданской борьбы был восстановлен внутренний мир, а вместе с ним — и процветание провинций. На границах успешное завоевание и интеграция важных коридоров между Востоком и Западом — Реции, Норика, Паннонии и Иллирии — обеспечило окончательное геостратегическое объединение империи. Иллирия, в частности, была важнейшим военным звеном в имперской системе Средиземноморья.⁸²

В новых границах наступление принципата означало введение семей италийской муниципальной знати в ряды сенаторского сословия и высшего руководства, где они теперь служили одним из столпов власти Августа. Сам сенат перестал быть основным органом власти в римском государстве — он не был полностью лишен власти или престижа, но отныне стал послушным и зависимым инструментом сменявших друг друга императоров, политически оживляясь толь-

⁸¹ Jones, *Augustus*, p. 140–141, 117–120, 95–96, 129–130.

⁸² Syme, *The Roman Revolution*, p. 390. Попытка Августа завоевать Германию как раз тогда, когда туда началось тевтонское переселение из Балтии, была единственной крупной внешней неудачей его правления; граница по Рейну оказалась, вопреки официальным ожиданиям того времени, окончательной. Недавнюю переоценку римских стратегических целей этой эпохи см.: C. M. Wells, *The German Policy of Augustus*, Oxford 1972, p. 1–13, 149–161, 246–250.

ко во время династических споров и междоусобиц. Но если сенат как институт стал бледной тенью себя в прошлом, само сенаторское сословие, теперь очищенное и обновленное реформами принцепата, продолжало оставаться правящим классом империи, во многом сохраняя власть над имперской государственной машиной даже после широкого распространения назначений на высшие должности всадников. Оно обладало выдающейся способностью к культурной и идеологической ассимиляции новичков. Ни один представитель старой знати никогда не дал столь яркого выражения ее взглядов на мир, как некогда скромный провинциал из Южной Галлии при Траяне — Тацит. На протяжении нескольких столетий после создания империи сенаторская оппозиционность проявлялась в глухом недовольстве или открытом неприятии автократии, введенной принцепатом. Афины, имевшие самую полную демократию в Древнем мире, так и не породили ни одного ее крупного теоретика или защитника. Парадоксально, но вполне логично, что именно Рим, не знакомый ни с чем, кроме ограниченной и репрессивной олигархии, породил самые выразительные плачи по свободе в античности. Не было никакого реального греческого эквивалента латинского культа *Libertas*, которому посвящены столько серьезных или ироничных страниц у Цицерона или Тацита.⁸³ Это явно было обусловлено различной структурой двух рабовладельческих обществ. В Риме не было никакого социального конфликта между литературой и политикой — при республике и при империи власть и культура были сосредоточены в компактной аристократии. Чем уже был круг тех, кто пользовался особой городской свободой античности, тем чище была защита этой свободы, которая завещалась потомкам и оказалась столь памятной и влиятельной даже пятнадцать веков спустя.

Сенатский идеал *libertas*, конечно, подавлялся и отрицался имперской автократией принцепата и отрешенным примирением имущих классов Италии с новым устройством государства, отчужденным обли-

⁸³ Об изменении коннотаций этого понятия см.: Ch. Wirszubski, *Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Empire*, Cambridge 1950; в этой работе прослеживается эволюция понятия *libertas* от Цицерона, когда она все еще была действенным публичным идеалом, до ее увядания в субъективной и квиетистской этике Тацита. В ней также отмечаются противоположные коннотации *libertas* и *eleutheria*, p. 13–14. Последняя была окрашена представлением о народном правлении; в ней никогда не присутствовало оттенка аристократического достоинства, неотделимого от первой, и потому она не получила подобной поддержки в греческой политической мысли.

ком их же собственной власти в грядущую эпоху. Но он так и не исчез совсем, так как политическая структура римской монархии, которая теперь включала весь средиземноморский мир, никогда не была такой, как структура предшествующих эллинистических монархий греческого Востока. Римское имперское государство покоилось на системе гражданского права, а не на царских прихотях, и его чиновники никогда не нарушали основных правовых установлений, унаследованных от республики. Более того, принципат впервые предоставил римским юристам официальные должности в государстве, когда Август избрал видных правоведов в качестве советников и подкрепил их толкования закона авторитетом империи. С другой стороны, самим императорам отныне приходилось заниматься законодательной деятельностью, выпуская эдикты, принимая решения и вынося предписания по вопросам или ходатайствам от подданных. Развитие автократического публичного права путем принятия имперских указов, конечно, делало римскую правовую систему намного более сложной и гетерогенной, чем при республике. Политическая дистанция, пройденная от цicerоновского *Legum servi sumus ut liberi esse possimus* («Мы подчиняемся законам, чтобы быть свободными») до ульпиановского *quod principi placuit legis habet vicem* («Воля принцепса имеет силу закона»), говорит сама за себя.⁸⁴ Но основные принципы гражданского права — прежде всего, те, что определяли экономические сделки, — остались, в сущности, нетронутыми этим авторитарным развитием публичного права, которое, в общем и целом, не посягало на область отношений между гражданами. Собственность имущих классов оставалась юридически гарантированной в соответствии с порядком, установленным при республике. Уголовное право — по сути, предназначенное для низших классов — оставалось таким же произвольным и репрессивным, как и всегда, будучи социальной гарантией всего господствующего порядка. Принципат сохранил классическую правовую систему Рима, но наложил на нее новые полномочия императора вносить инновации в области публичного права. Ульпиан позднее сформулировал различие, которое придало всему корпусу права при империи особую чистоту: частное право — *quod ad singulorum utilitatem pertinet* — чет-

⁸⁴ Важно не смешивать последовательные фазы в этом развитии. Конституционная максима, согласно которой император был *legibus solutus* во время принципата не означала, что он стоял над законом; скорее, она означала, что он мог преодолеть те ограничения, освобождение от которых было юридически возможным. Только при доминате эта фраза приобрела более широкое значение. См.: Jolowicz, *Historical Introduction to the Study of Roman Law*, p. 337.

ко отделялось от публичного права — *quod ad statum rei Romanae spectat*. Первое никак не пострадало от расширения последнего.⁸⁵ На самом деле именно при империи благодаря деятельности северовских префектов Папиниана, Ульпиана и Павла в III веке н.э. произошла серьезная систематизация гражданского права, которая придала римскому праву кодифицированную форму, сохранившуюся до более поздних времен. Своей прочностью и стабильностью римское имперское государство, столь непохожее на все, что было создано эллинистическим миром, было обязано этому наследию.

Последующая история принципата была во многом историей растущей «провинциализации» центральной власти в империи. Как только монополия центральной политической власти, которой обладала римская аристократия, была разрушена, постепенный процесс диффузии интегрировал в имперскую систему все более широкие землевладельческие классы Запада за пределами самой Италии.⁸⁶ Происхождение сменявших друг друга династий принципата прямо отражало это развитие. На смену дому римских патрициев Юлиев-Клавдиев (от Августа до Нерона) пришел итальянский муниципальный род Флавиев (от Веспасиана до Домициана); а за ними последовал ряд императоров провинциального испанского или южногалльского происхождения (от Траяна до Марка Аврелия). Испания и Нарбонская Галлия были старейшими римскими завоеваниями на Западе, а их социальная структура ближе всего была к социальной структуре самой Италии. Состав сената также отражал растущий приток сельских сановников из Транспаданской Италии, Южной Галлии и средиземноморской Испании. Унификация империи, о которой когда-то мечтал Александр, символически была завершена в эпоху Адриана, первого императора, который лично объехал все свои огромные владения от края до края. Формально она было произведена по указу Каракаллы в 212 году н.э., которые предоставил римское гражданство почти всем свободным жителям империи. Политическая и административная унификация дополнялась отсутствием внешних угроз

⁸⁵ Отдельные императоры, вроде Нерона, конечно, проводили произвольные конфискации сенаторских богатств. Но такие действия были отличительной особенностью тех правителей, которых на дух не переносила большая часть аристократии; и они не приобрели последовательной или институциональной формы и не оказали существенного влияния на общий характер землевладельческого класса.

⁸⁶ О «взлете провинциалов» в первом столетии империи см.: R. Syme, *Tacitus*, II, Oxford 1958, p. 585–606.

и экономическим процветанием. Дакское царство было повержено, а его золотые рудники захвачены; азиатские рубежи были расширены и укреплены. Сельскохозяйственные и ремесленные техники несколько усовершенствовались: винтовой пресс способствовал маслоделию, тестомесильные машины облегчили изготовление хлеба, широкое распространение получило стеклодувное дело.⁸⁷ Новому *paх rotana*, прежде всего, сопутствовала новая волна муниципального соперничества и украшения городов с использованием римских архитектурных открытий — арок и сводов почти во всех областях империи. Эпоха Антонинов, возможно, была периодом наивысшего расцвета городского строительства в античную эпоху. Экономический рост при принципате сопровождался расцветом латинской культуры, когда поэзия, история и философия раскрылись во всей красе после сравнительной интеллектуальной и эстетической простоты ранней республики. Для Просвещения это был «золотой век», по словам Гиббона, «период всемирной истории [когда] положение человеческого рода было самое счастливое и самое цветущее».⁸⁸

На протяжении почти двух веков безмятежное великолепие городской цивилизации Римской империи скрывало ограниченность и противоречия производственной базы, на которой оно покоилось. В отличие от феодальной экономики, которая пришла ему на смену, рабовладельческий способ производства античности не обладал естественным внутренним механизмом самовоспроизводства, потому что его рабочую силу невозможно было гомеостатически стабилизировать в рамках системы. Традиционно поставки рабов зависели прежде всего от завоеваний за рубежом, так как военнопленные всегда служили основным источником рабского труда в античную эпоху. Республика, чтобы установить римскую имперскую систему, награбила рабочую силу по всему Средиземноморью. Принципат прекратил дальнейшую экспансию в трех оставшихся областях возможного продвижения вперед — Германии, Дакии и Месопотамии. С окончательным закрытием имперских границ после Траяна источники военнопленных неизбежно иссякли. Коммерческая работоторговля не в состоянии была восполнить возникающую нехватку, так как в конечном

⁸⁷ F. Kiechle, *Sklavensarbeit und Technischer Fortschritt*, p. 20–60, 103–107. В этой книге предпринимается попытка опровергнуть марксистские теории рабства в античности; на самом деле, собранные автором свидетельства (значение которых он даже несколько преувеличил) вполне согласуются с канонами исторического материализма.

⁸⁸ Гиббон, *История упадка и разрушения Великой Римской империи*, т. 1, с. 170.

счете она всегда зависела от поставок пленных. Варварская периферия империи продолжала поставлять рабов, покупавшихся посредниками на границах, но их все же было недостаточно для решения проблемы поставок в условиях мира. В результате цены на рабов резко взлетели вверх; к I–II векам н.э. они в восемь раз превышали уровень II–I веков до н.э.⁸⁹ Этот резкий рост затрат на рабов делал все более очевидными противоречия и риски, связанные с использованием их труда. Каждый взрослый раб представлял собой ненадежное капиталовложение для рабовладельца, которому в случае его смерти приходилось списывать его стоимость *in toto*, так что возобновление принудительного труда (в отличие от труда наемного) требовало больших предварительных издержек на все более ограниченном рынке. Ибо, как отмечал Маркс, «капитал, уплаченный при покупке раба, не входит в состав того капитала, посредством которого из раба извлекается прибыль, прибавочный труд. Наоборот. Это – капитал, отчужденный рабовладельцем, вычет из того капитала, которым он располагает в действительном производстве».⁹⁰ Кроме того, естественно, расходы на потомство рабов всегда были для рабовладельца непродуктивными издержками, и он стремился их минимизировать или вообще пренебрегал ими. Сельскохозяйственные рабы жили в *ergastula* казарменного типа, в условиях, близких к условиям сельских тюрем. Рабыни-женщины были немногочисленны, ибо рабовладельцам было невыгодно содержать их из-за отсутствия для них работы, помимо работ по дому.⁹¹ Поэтому половой состав сельскохозяйственного рабского населения всегда был искаженным, и у рабов почти полностью отсутствовали супружеские отношения. В результате, уровень воспроизводства неизбежно оказывался низким, и численность рабочей силы сокращалась от поколения к поколению.⁹² При позднем принципате для противодействия такому сокращению землевладельцы все чаще стали заниматься «разведением»

⁸⁹ Jones, 'Slavery in the Ancient World', p. 191–194.

⁹⁰ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 25, ч. II, с. 371. Маркс рассматривал использование рабского труда при капиталистическом способе производства в XIX веке, и, как будет показано ниже, экстраполировать его наблюдения на эпоху античности опасно. Но в данном случае суть его комментария *mutatis mutandis* применима к рабовладельческому способу производства как таковому. Та же мысль позднее была высказана Вебером: Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, с. 114.

⁹¹ Brunt, *Italian Manpower*, p. 143–144, 707–708.

⁹² Классическое замечание об этом см.: Вебер, 'Социальные причины падения античной культуры', с. 454–455; Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, с. 115;

рабов, выдавая рабыням премии за рождение ребенка.⁹³ И хотя у нас не слишком много сведений относительно масштабов такого «разведения» рабов в империи, на какое-то время оно могло стать средством, способным смягчить кризис во всем способе производства после закрытия границ. Но сколь-нибудь долгосрочным решением этого вопроса оно стать не могло. И при этом рост свободного сельского населения неспособен был возместить потери в рабовладельческом секторе. Опасения имперской власти по поводу демографической ситуации на селе выказывались еще Траяном, который учредил государственные ссуды землевладельцам на содержание местных сирот — предзнаменование грядущей депопуляции.

Сокращение рабочей силы невозможно было компенсировать и за счет роста производительности. Рабовладельческое сельское хозяйство в поздней республике и ранней империи было более рациональным и выгодным для землевладельцев, чем любая другая форма

«стоимость и содержание женщин и воспитание детей ложилось бы мертвым балластом на основной капитал».

⁹³ В I века н.э. Колумелла советовал выплачивать премии беременным рабыням, но случаев систематического разведения рабов известно немного. Финли утверждал, что, поскольку «разведение» рабов успешно практиковалось на американском Юге в XIX веке, где численность рабов действительно выросла после прекращения работорговли, нет никаких оснований полагать, что таких перемен не могло произойти в Римской империи после закрытия границ; см.: *The Journal of Roman Studies*, XLVIII, 1958, p. 158. Но это сравнение некорректно. Хозяева хлопковых плантаций Юга поставляли сырье централизованной обрабатывающей промышленности мировой капиталистической экономики и их затраты на рабочую силу могли быть привязаны к международному уровню прибыли, беспрецедентному по своим размерам, который этот капиталистический способ производства получал после промышленной революции начала XIX века. Кроме того, условием «разведения» рабов, очевидно, была и национальная интеграция Юга в более широкую капиталистическую экономику Соединенных Штатов в целом. Никакого сопоставимого уровня воспроизводства не удалось достичь и в Латинской Америке, где смертность рабов повсеместно была катастрофической, например, в Бразилии ко времени формальной отмены рабства численность рабов сократилась на 20% по отношению к уровню 1850 года. См.: C. Van Woodward, 'Emancipation and Reconstruction. A Comparative Study', *13th International Congress of Historical Sciences*, Moscow 1970, p. 6–8. Рабство в классической античности, конечно, было куда примитивнее, чем в Южной Америке. И для предвосхищения опыта американского Юга в античности не было никаких объективных возможностей.

эксплуатации, отчасти и потому, что рабов можно было использовать постоянно, в то время как от арендаторов на протяжении значительных промежутков времени в течение года прока не было.⁹⁴ Катон и Колумелла старательно перечисляют различные виды домашней и несезонной работы, которую рабы могли выполнять, когда уже не нужно было заниматься вспахиванием полей или сбором урожая. Рабы-ремесленники были такими же умелыми, как и свободные мастера, так что именно они стали определять общий уровень развития всякой области, в которой они были заняты. С другой стороны, производительность латифундий зависела не только от качества их *vilicus* управляющих (всегда бывшего слабым звеном в хозяйстве *fundus*), но и от надзора за рабами, который было особенно трудно осуществлять при выращивании на полях экстенсивных зерновых культур.⁹⁵ Но, прежде всего, невозможно было преодолеть определенные внутренние пределы производительности рабской рабочей силы. При рабовладельческом способе производства были свои технические достижения; как мы видели, его возвышение на Западе было отмечено важными нововведениями в сельском хозяйстве, прежде всего, внедрением ротационной мельницы и винтового пресса. Но его развитие было очень ограниченным, так как оно покоилось, по сути, на аннексии труда, а не на эксплуатации земель или накоплении капитала; поэтому, в отличие от феодального и капиталистического способов производства, которые пришли ему на смену, рабовладельческий имел слишком мало объективных стимулов для

⁹⁴ K. D. White, 'The Productivity of Labour in Roman Agriculture', *Antiquity*, XXXIX, 1965, p. 102–107.

⁹⁵ И в таком зерновом хозяйстве, возможно, наиболее оправданы замечания Маркса по поводу эффективности рабов: «Рабочий, по меткому выражению древних, отличается здесь только как *instrumentum vocale* от животного как *instrumentum semivocale* и от неодушевленного орудия труда как от *instrumentum mutum*. Но сам-то рабочий дает почувствовать животному и орудию труда, что он не подобен им, что он человек. Дурно обращаясь с ними и *con amore* подвергая их порче, он достигает сознания своего отличия от них». Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 23, с. 208. При этом не следует забывать, что в «Капитале» Маркса интересовало, прежде всего, использование рабов при капиталистическом способе производства (американский Юг), а не рабовладельческий способ производства как таковой. Он не оставил полноценных теоретических размышлений о функции рабовладения в античности. Более того, в современных исследованиях многие из его суждений о самом американском рабстве также подверглись радикальному пересмотру.

технологического прогресса — его тип роста, постоянно требующий дополнительного труда, образовывал структурную область, которая в конечном итоге сопротивлялась техническим нововведениям, хотя изначально и не исключала их. Поэтому, хотя и не вполне справедливо утверждать, что александрийская технология оставалась неизменной основой трудовых процессов в Римской империи или что за четыре века ее существования не было введено ни одного трудосберегающего орудия труда, пределы развития римского сельского хозяйства вскоре были достигнуты и жестко закреплены.

Непреодолимые социальные препятствия на пути к дальнейшему техническому прогрессу и основные ограничения рабовладельческого способа производства лучше всего можно проиллюстрировать судьбой двух основных изобретений, которые появились при принципате — водяной мельницы (в Палестине на рубеже I века н.э.) и жатки (в Галлии на рубеже I века н.э.). Огромный потенциал водяной мельницы — основы более позднего феодального сельского хозяйства — вполне очевиден. Это было первым применением неорганической силы в экономическом производстве; по замечанию Маркса, «машина в ее элементарной форме завещана была еще Римской империей в виде водяной мельницы».⁹⁶ Но само это изобретение не получило в империи широкого распространения. Оно практически осталось незамеченным при принципате; в более поздней империи она применялась несколько чаще, но в античную эпоху так никогда, по-видимому, и не стала обычным сельскохозяйственным инструментом. Точно так же жатка, созданная для ускорения жатвы в дождливом северном климате, не получила сколько-нибудь широкого применения за пределами Галлии.⁹⁷ Здесь отсутствие интереса было отражением более общей неспособности изменить методы сельского хозяйства Средиземноморья — с его сохой и двупольной системой — при переходе на глинистую и влажную почву Северной Европы, которая нуждалась в новых орудиях труда. Оба этих случая показывают, что сама техника никогда не была основным двигателем экономических изменений — изобретения отдельных людей могут веками оставаться незамеченными, пока не возникнут социальные отношения, которые сделают из них коллективную технологию. В рабовладельческом способе производства не было места для мельницы или жатки,

⁹⁶ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 23, с. 361.

⁹⁷ О водяной мельнице в поздней античности см.: Moritz, *Grain-Mills and Flour*, p. 137–139; A. H. M. Jones, *The Later Roman Empire*, 282–602, Oxford 1964, II, 1047–1048. О жатке см.: White, *Roman Farming*, p. 452–453.

и римское сельское хозяйство в целом до самого конца не знало о них. Примечательно, что основные трактаты о прикладных изобретениях или технике, сохранившиеся от Римской империи, были военными или архитектурными и касались ее сложных вооружений и фортификаций, а также ее гражданского «украшательства».

Но и в городах не было никакого спасения от болезни деревни. Принципат способствовал беспрецедентному городскому строительству в Средиземноморье. Но рост числа больших и средних городов в первые два столетия существования империи никогда не сопровождался качественным изменением структуры общего производства в них. Ни промышленность, ни торговля не в состоянии были выйти в накоплении капитала или своем росте за жесткие рамки, установленные экономикой классической древности в целом. Регионализация производства из-за транспортных издержек препятствовала всякой концентрации промышленности и развитию более передового разделения труда в мануфактурах. Население, состоявшее в основном из самостоятельно обеспечивавших себя всем необходимым крестьян, рабочих-рабов и городской бедноты, образовывало ничтожный по своим размерам потребительский рынок. Помимо налоговых откупов и государственных подрядов республиканской эпохи (роль которых заметно снизилась при принципате после финансовых реформ августовской эпохи), не создавалось никаких коммерческих компаний и не делалось никаких долгосрочных займов — система кредитования оставалась зачаточной. Имущие классы сохраняли свое традиционное презрение к торговле. Торговцы были презираемой категорией, часто комплектовавшейся за счет вольноотпущенников. Освобождение домашних рабов и рабов-управителей было распространенной практикой, которая регулярно сокращала численность рабов среди горожан; к тому же численность рабов-ремесленников в городах должна была постепенно уменьшаться из-за сокращения поставок извне. Экономическая жизнеспособность городов всегда была ограниченной и производной — она отражала, а не дополняла развитие деревни. И не было никаких общественных стимулов для изменения отношений между ними. Более того, после установления принципата, характер самого имперского государственного аппарата начал подавлять развитие коммерческих предприятий. Государство было крупнейшим потребителем империи и единственным реальным центром сбыта для товаров массового производства, который был способен содействовать динамичному развитию производственного сектора. Но проводимая политика в сфере поставок и специфическая структура имперского государства исключали такую возмож-

ность. В классической античности обычные общественные работы — строительство дорог, зданий, акведуков, водостоков — как правило, выполнялись рабами. Римская империя со своей масштабной государственной машиной развила этот принцип еще дальше: все доспехи и оружие, а также значительная часть снабжения военного и гражданского аппарата автаркически производились и поставлялись государственными предприятиями, укомплектованными полувоенными кадрами или наследственными государственными рабами.⁹⁸ Таким образом, единственный действительно масштабный производственный сектор был во многом исключен из товарного обмена. Постоянное и прямое использование римским государством труда рабов — структурная особенность, которая сохранилась вплоть до Византийской империи, — было одним из основных столпов политической экономии поздней античности. Рабовладельческий базис нашел одно из наиболее ярких своих выражений в самой имперской надстройке. Государственное хозяйство могло расширяться, но большого проката для городской экономики от этого не было — более того, его размеры и вес, как правило, подавляли частную коммерческую инициативу и предпринимательскую деятельность. Таким образом, никакой рост производства в сельском хозяйстве или промышленности в пределах империи не в состоянии был возместить постепенное сокращение рабской рабочей силы после прекращения внешней экспансии.⁹⁹

⁹⁸ О традиции применения труда рабов на государственных работах см.: Finley, *The Ancient Economy*, p. 7f. Имперские монетные дворы и текстильные фабрики (поставлявшие форму для государственного аппарата, которая была обязательной для гражданских чиновников и военных, начиная с Константина) использовали труд государственных рабов; то же касалось и обширного корпуса работников *cursus publicus* или имперской почтовой службы, которые поддерживали основную коммуникационную систему империи. Оружие производилось наследственными рабочими, обладавшими статусом военных, которые клеймились для того, чтобы не допустить их бегства из этого состояния. На практике социальные различия между ними и рабами были не так уж велики. Джонс, *Гибель античного мира*, с. 455–457.

⁹⁹ Финли недавно предложил интересное объяснение сокращения рабства к концу принципата. Он утверждает, что разрыв между закрытием границ (14 год н.э.) и началом упадка рабства (после 200 года н.э.) был слишком продолжительным, чтобы объяснять последнее с помощью первого. Он говорит, что основной механизм, скорее, следует искать в утрате значения гражданства в империи, которое привело к юридическому разделению на два класса *honestiores* и *humiliores* и попаданию крестьянства под тяжелым политическим и финан-

В результате к началу III века в экономической и социальной системе начался общий кризис, который вскоре привел к глубокому разложению традиционного политического порядка в сочетании с усилившимися нападениями на империю извне. Внезапная нехватка источников, также один из симптомов кризиса середины III века, осложняет ретроспективное отслеживание его точного развития или механизмов.¹⁰⁰ Серьезные трудности возникли, кажется, уже в последние

совым гнетом имперского государства в зависимое состояние. Как только достаточное количество местной рабочей силы попало в эксплуатируемое зависимое состояние (более поздней формой которого был колонат), ввоз новых рабов стал ненужным, и рабство начало постепенно увядать; см.: Finley, *The Ancient Economy*, p. 85–87ff. Но это объяснение страдает от того же недостатка, который оно приписывает отвергаемому объяснению. Ведь политическое упразднение всякого реального народного гражданства и экономический упадок свободного крестьянства произошли задолго до упадка рабства—эти события были связаны в основном с периодом поздней республики. Даже различие между *honestiores* и *humiliores* датируется по крайней мере началом II века н.э.—за сто лет до кризиса рабовладельческой экономики, который сам Финли склонен датировать III веком н.э. За аргументами Финли стоит некое неприятие римского имперского государства, возлагающее всю ответственность за изменения в экономике на автократию империи. Материалистический анализ, отталкивающийся от внутренних противоречий самого рабовладельческого способа производства, по-прежнему остается предпочтительным. Возможно, что хронологический разрыв, на который справедливо обращает внимание Финли, на самом деле был обусловлен смягчающим воздействием «разведения» рабов в самой империи и закупок на границах.

¹⁰⁰ Великий перелом середины III века до сих пор остается самым неясным этапом истории Римской империи, куда хуже документированным и изученным, по сравнению со временем ее падения в IV–V веках. Большинство существующих объяснений содержит множество недостатков. Подробное описание см.: Rostovtsev, *The Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford 1926, p. 417–448. Но его объяснение страдает от явного анахронизма его аналитических понятий, которые необоснованно превращают муниципальных землевладельцев в «буржуазию», а имперские легионы в «крестьянские армии», выступавшие против нее, и истолковывает весь кризис с точки зрения противостояния между ними. Марксистскую критику этой неисторической трактовки социальных процессов в работе Ростовцева см.: Meyer Reinhold, 'Historian of the Ancient World: A Critique of Rostovtseff', *Science and Society*, Fall 1946, X, No. 4, p. 361–391. С другой стороны, наиболее крупное марксистское исследование этой эпохи, «Кризис рабовладельческого строя» Е. В. Штаерман, также имеет серьезный изъян, свя-

годы эпохи Антонинов. Германское давление на дунайские рубежи привело к продолжительным Маркоманнским войнам; серебряные динары были обесценены Марком Аврелием на 25%; произошла первая крупная вспышка социального разбойничества с угрозой захвата обширных областей Галлии и Испании вооруженными бандами дезертира Матерна, попытавшегося при несчастном правлении Коммода даже вторгнуться в саму Италию.¹⁰¹ Вступление на престол после непродолжительной гражданской войны дома Северов привело к власти африканскую династию: региональная ротация императоров, по-видимому, вновь сработала, так как гражданский порядок и процветание, очевидно, были восстановлены. Но вскоре началась стремительная инфляция не совсем ясного происхождения, и валюта начала резко обесцениваться. К середине столетия произошел полный крах серебряной монеты, в результате которого динарий упал до 5% его обычной стоимости, а цены на зерно к концу столетия взлетели в 200 раз по сравнению с началом принципата.¹⁰² Политическая стабильность быстро исчезала вместе с денежной стабильностью. За хаотические пятьдесят лет, прошедшие с 235 по 284 год, сменилось не менее 20 императоров, восемнадцать из которых погибли насильственной смертью, один был взят в плен за границей, а другой пал жертвой чумы — судьбы, весьма показательные для эпохи. Гражданским войнам и узурпациям не было конца — от Максимиана Фракийца до Диоклетиана. К этому нужно присовокупить непрестанные и разрушительные нападения на границах и вторжения вглубь страны. Франки и другие германские племена не раз разоряли Галлию, прокладывая себе путь в Испанию; аламанны и ютунги наступали на Италию, карпы совершали набеги на Дакию и Мезию; герулы заволокли Фракию и Грецию; готы пересекли море, чтобы разграбить Малую Азию; Сасанидская Персия захватила Киликию, Кападокию и Сирию; Пальмира перекрыла путь в Египет; кочевые племена мавров и блеммиев не оставляли в покое Северную Африку. Афины, Антиохия и Александрия в разное время попадали в руки неприятелей;

занный с жестким противопоставлением средней виллы, использовавшей труд рабов, — «античной формы собственности» — и больших латифундий — результата «протофеодального» развития негородской аристократии.

¹⁰¹ Недавние и глубокие замечания о Матерне см.: M. Mazza, *Lotte Sociale e Restaurazione Autoritaria nel Terzo Secolo D. C.*, Catania 1970, p. 326–327.

¹⁰² F. Millar, *The Roman Empire and its Neighbours*, London 1967, p. 241–242. Чрезвычайно подробное рассмотрение великой инфляции см.: Mazza, *Lotte Sociale e Restaurazione Autoritaria*, p. 316–408.

Париж и Таррагона были сожжены; сам Рим пришлось укреплять заново. Внутренняя политическая неразбериха и внешние вторжения вскоре вызвали эпидемии, которые привели к ослаблению и сокращению численности населения империи, и без того пострадавшего от войны. Земли были заброшены и начались перебои с поставками сельскохозяйственной продукции.¹⁰³ Налоговая система распалась с обесцениванием валюты, а фискальные сборы приняли натуральный вид. Городское строительство резко прекратилось, археологические свидетельства чего встречаются по всей империи; в некоторых областях городские центры увяли и пришли в упадок.¹⁰⁴ В Галлии, где отколовшееся от империи государство со столицей в Трире продержалось пятнадцать лет, в 283–284 годах происходили масштабные восстания эксплуатируемых масс сельского населения — первые в ряду восстаний «багаудов», которые потом вновь и вновь повторялись в западных провинциях. Под сильным внутренним и внешним давлением на протяжении почти пятидесяти лет — с 235 по 284 год — римское общество столкнулось с возможностью своего краха.

Но к концу III — началу IV века имперское государство изменилось и оправилось. Военная безопасность постепенно была восстановлена силами дунайских и балканских генералов, которые последовательно захватывали трон — Клавдий II разбил готов в Мезии, Аврелиан изгнал аламаннов из Италии и покорила Пальмиру, Проб избавил от германских захватчиков Галлию. Эти успехи позволили преобразовать все устройство римского государства в эпоху Диоклетиана, провозглашенного императором в 284 году, вследствие чего стало возможным не слишком прочное возрождение в последующем столетии. Прежде всего, имперские армии существенно выросли после повторного введения воинской повинности — в течение столетия количество легионов удвоилось, а общая численность войск была доведена до более чем 450.000 человек, или около того. С конца II и в начале III века для поддержания внутренней безопасности и обеспечения порядка в сельской местности на сторожевых постах вдоль дорог стало размещаться все больше солдат.¹⁰⁵ Позднее, со времен Галлие-

¹⁰³ Roger Rémondon, *La Crise de l'Empire Romaine*, Paris 1964, p. 85–86. Ремондон склонен связывать кризис в деревне в основном с уходом крестьян в города вследствие общей урбанизации; но известно, что в эту эпоху в городском строительстве произошел упадок.

¹⁰⁴ О резком прекращении развития городов как основном свидетельстве глубокого кризиса см.: Millar, *The Roman Empire and Its Neighbours*, p. 243–244.

¹⁰⁵ Millar, *The Roman Empire and its Neighbours*, p. 6. Рост числа этих *stationes* был сим-

на, с 260-х годов, полевые армии вновь были развернуты в отдалении от имперских границ для большей мобильности в борьбе с внешними нападениями, оставив второсортные подразделения *limitanei* для охраны внешнего периметра империи. В армию было принято также множество добровольцев из числа варваров, которые стали составлять многие элитные подразделения. Более важно, что все ведущие военные посты теперь стали предоставляться только всадникам; таким образом, сенатская аристократия перестала играть свою традиционно ведущую роль в политической системе, поскольку высшая власть в империи стала все больше переходить к профессиональному офицерскому корпусу. Диоклетиан систематически отстранял сенаторов от гражданской администрации.¹⁰⁶ Количество провинций выросло вдвое, так как они были разделены на менее крупные и более управляемые единицы, и соответственно выросло количество чиновников в них, которые должны были осуществлять более жесткий бюрократический контроль. После провала середины столетия была введена новая фискальная система, сочетавшая принципы поземельного и подушного налогообложения, рассчитываемого на основе новых и всесторонних переписей. Впервые в античном мире были введены ежегодные бюджетные сметы, которые позволяли приводить налоговые ставки в соответствие с текущими расходами, — и понятно, что произошел резкий рост и тех, и других. Резкое расширение государственного аппарата, которое произошло в результате принятия всех этих мер, неизбежно вступало в противоречие с идеологически мотивированными попытками Диоклетиана и его преемников стабилизировать социальную структуру поздней империи. Указы, превращавшие большие группы населения в подобные

потомом растущего социального недовольства в период от Коммода до Карина. Но описания тетрархии как чрезвычайной хунты, призванной восстановить внутренний политический порядок, предложенные Штаерман и Маца, представляются крайне ограниченными. Штаерман считает режим Диоклетиана результатом примирения при столкновении с социальным недовольством снизу двух типов собственников, конфликт между которыми, как полагает она, определял эпоху преобладания крупных латифундистов. См.: *Кризис рабовладельческого строя*, с. 479–480, 499–501, 508–509. Русский критик заметил, среди прочих возражений, что во всей схеме Штаерман странным образом остались незамеченными многочисленные внешние вторжения, которые привели к установлению тетрархии: В. Н. Дьяков, *Вестник древней истории*, 1958, IV, с. 116.

¹⁰⁶ См. особ.: M. Arnhem, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 39–48.

кастам наследственные гильдии после потрясений прошедшего полувека не имели большого практического эффекта;¹⁰⁷ социальная мобильность, вероятно, даже несколько выросла благодаря появлению новых возможностей продвижения по военной и гражданской службе.¹⁰⁸ Периодические попытки административной фиксации цен и жалований по всей империи были еще менее реалистичными. С другой стороны, имперская автократия сама упразднила все традиционные ограничения, накладываемые сенаторским мнением и традицией на осуществление личной власти. «Принципат» сменился «доминатом», когда императоры, начиная с Аврелиана, стали объявлять себя *dominas et deus* и насаждать восточные церемониалы падения ниц при появлении императора — *proskynesis*, введение которого некогда Александром знаменовало появление эллинистических империй Ближнего Востока.

В связи с этим политический облик домината часто истолковывался как отражение смещения центра тяжести римской имперской системы к восточному Средиземноморью, вскоре завершившемуся возвышением Константинополя, нового Рима на берегах Босфора. Несомненно, в двух важных отношениях восточные области теперь имели большее значение в рамках империи. С экономической точки зрения, кризис развитого рабовладельческого способа производства, как и следовало ожидать, поразил Запад, где он был сильнее укоренен, серьезно ухудшив его положение: он больше не обладал никакой внутренней динамикой, способной уравновесить традиционное богатство Востока, и явно начал превращаться в более бедную часть Средиземноморья. В культурном отношении Запад также себя исчерпал. Греческая философия и история вернула свое влияние уже в конце эпохи Антонинов: литературный язык Марка Аврелия, не говоря уже о Дионе Кассии, больше не был латинским. Еще

¹⁰⁷ R. Macmullen, 'Social Mobility and the Theodosian Code', *The Journal of Roman Studies*, LIV, 1964, p. 49–53. Традиционное представление (например, Ростовцева), что Диоклетиан навязал практически кастовую структуру поздней империи, кажется сомнительным: очевидно, что имперская бюрократия неспособна была осуществлять официальные указы и следить за гильдиями.

¹⁰⁸ Лучший краткий анализ социального продвижения через государственную машину см.: Keith Hopkins, 'Elite Mobility in the Roman Empire', *Past and Present* No. 32, December 1965, p. 12–26. В статье подчеркивается неизбежная ограниченность этого процесса: большинство новых сановников в поздней империи всегда привлекались из провинциального землевладельческого класса.

более важным, конечно, было постепенное созревание новой религии, которой суждено было захватить империю. Христианство родилось на Востоке и распространилось здесь в течение III века, тогда как Запад оставался сравнительно незатронутым им. Тем не менее эти важные изменения все же не находили соответствующего отражения в политической структуре самого государства. Никакой эллинизации правящей верхушки имперского государства на самом деле не было, и еще меньше оснований говорить о сколько-нибудь серьезной ее ориентализации. Ротация династической власти резко остановилась перед греческо-levantийским востоком.¹⁰⁹ Казалось, что африканскому дому Северов в очередной раз удалось произвести спокойную передачу имперской власти новой области, когда сирийская семья, с которой породнился Септимий Север, организовала возведение на трон местного юноши, объявленного его внуком, и в 218 году он стал императором Элагабалом (Гелиогабалом). Но из-за культурной экзотичности этого молодого человека — религиозной и сексуальной — среди римлян о нем осталась не самая лучшая память. Он был быстро изгнан оскорбленным в своих лучших чувствах сенатом, установившим свою опеку над его ничем не выдающимся двоюродным братом Александром Севером, другим несовершеннолетним, получившим образование в Италии и ставшим его преемником до своего убийства в 235 году. После этого только один выходец с Востока стал римским императором — опять-таки крайне нетипичный представитель региона Юлий Филипп, араб из трансирданской пустыни. Поразительно, но ни один грек из Малой Азии или из самой Греции, ни один сириец и египтянин никогда больше не получили императорской мантии. Самые богатые и урбанизированные области империи так и не смогли добиться участия во власти в государстве, которое правило ими. Они не допускались в *римскую* по своему характеру империю, основанную и построенную Западом, который в культурном отношении всегда был гораздо более однородным, нежели разнородный Восток, где по крайней мере три основных культуры — греческая, сирийская и египетская — вели спор

¹⁰⁹ Это важное обстоятельство часто оставляется без внимания. Экуменический перечень сменявших друг друга династий у Миллара на самом деле вводит в заблуждение: Millar, *The Roman Empire and its Neighbours*, p. 3. Позднее он замечает, что только «игра судьбы» сделала Элагабала и его двоюродного брата, «а не каких-либо сенаторов из процветающей буржуазии Малой Азии» (p. 49), первыми императорами с греческого Востока. На самом деле ни один грек из Малой Азии никогда не был правителем неразделенной империи.

за наследие эллинистической цивилизации (не говоря уже о других заметных меньшинствах в этой области).¹¹⁰ К III веку италийцы перестали составлять большинство в сенате, треть которого, возможно, составляли выходцы с грекоязычного Востока. Но пока у сената сохранялась возможность выбирать и контролировать императоров, он избирал представителей землевладельческих классов латинского Запада. Бальбин (Испания) и Тацит (Италия) были последними сенатскими претендентами на титул императора в III веке.

В то же время столица перестала быть центром политической власти, который переместился в военные лагеря пограничных областей. Галлиен был последним правителем той эпохи, проживавшим в Риме. Впредь императоры приводились к власти и свергались за пределами сенаторского влияния в результате фракционной борьбы между военачальниками. Это политическое изменение сопровождалось новым и важным изменением региона, из которого происходили династии императоров. С середины III века и далее имперская власть с удивительной регулярностью переходила к генералам из отсталой области, которая исторически называлась Иллирией, а теперь состояла из ряда провинций — Паннония, Далмация и Мезия. Доминирование этих дунайско-балканских императоров сохранилось до падения римского государства на Западе и даже после него. Среди них были Деций, Клавдий Готик, Аврелиан, Проб, Диоклетиан, Констанций, Галерий, Иовиан, Валентиниан и Юстиниан;¹¹¹ их общее региональное происхождение тем более примечательно, что между ними отсутствует какое-либо родство. Вплоть до рубежа VI века единственным выдающимся императором не из этой зоны был выходец с далекого Запада империи испанец Феодосий. Наиболее очевидная причина возвышения этих паннонских или иллирийских правителей состоит в той роли, которую играли дунайские и балканские области в обеспечении новобранцев для армии — они были традиционным источником профессиональных солдат и офицеров для легионов. Но были

¹¹⁰ На Востоке существовало четыре местных литературных языка — греческий, сирийский, коптский и арамейский, — тогда как на Западе не было ни одного письменного языка, кроме латыни.

¹¹¹ Сайм утверждает, что Максимин Фракиец — возможно, был выходцем из Мезии, а не Фракии — и что, возможно, к этому перечню следует добавить еще и Тацита: Syme, *Emperors and Biography, Studies in the Historia Augusta*, Oxford 1971, p. 182–186, 246–247. Немногие из императоров той эпохи были выходцами с Запада. Требориан Галл, Валериан и Галлиен — из Италии, Маркин — из Мавритании, а Кар — возможно, из Южной Галлии.

и более веские причины, которые определяли важность этого региона. Паннония и Далмация были основными завоеваниями августовской эпохи, так как включение их в империю завершило ее географическое пространство, закрыв разрыв между ее восточной и западной частями. И с тех пор они служили основным стратегическим мостом, связывавшим две части империи. Все сухопутные движения войск по оси восток-запад неизбежно проходили через эту зону, обладание которой имело решающее значение для исхода многих крупных гражданских войн империи, в отличие от войн республиканского периода в Греции, разворачивавшихся в основном на море. Контроль над проходами в Юлийских Альпах позволял быстро перебрасывать войска и разрешать конфликты в Италии. Победа Веспасиана в 69 году была одержана из Паннонии; можно также вспомнить триумф Септимия в 193 году, узурпацию Деция в 249 году, захват власти Диоклетианом в 285 году и Констанцием в 351 году. Но помимо стратегической важности этой зоны, она имела для империи еще и особое социальное и культурное значение. Паннония, Далмация и Мезия были непокорными областями, которые, несмотря на свою близость к греческому миру, так никогда и не были полностью включены в него. Это были последние континентальные области, подвергшиеся романизации, а переход к обычному сельскому хозяйству, основанному на виллах, произошел в них намного позднее, чем в Галлии, Испании или Африке, и не был таким полным.¹¹² Рабовладельческий способ производства не получил в них такого распространения, как в других латинских провинциях Запада, хотя, возможно, и имел определенный успех, когда он уже начал приходить в упадок в более старых областях: Паннония выделяется как главный экспортер рабов в обзоре провинций империи конца IV века.¹¹³ Кризис рабовладельческого сельского хозяйства, соответственно, не был здесь таким ранним или таким острым, численность свободных землевладельцев и арендаторов была более значительной, а структура сельского хозяйства была схожа с восточной. Сохранение жизнеспособности этого региона в условиях дальнейшего упадка Запада, несомненно, было связано с этим особым устройством. Но в то же время его основная политическая роль была неразрывно связана с его латинской принадлежностью. В языковом отношении он был римским, а не греческим – грубой, самой восточной окраиной латинской цивилизации. Таким образом, его значение

¹¹² P. Oliva, *Pannonia and the Onset of Crisis in the Roman Empire*, Prague 1962, p. 248–258, 345–350.

¹¹³ Штаерман, *Кризис рабовладельческого строя*, с. 354.

определялось не только его территориальным положением в точке соединения Востока и Запада — положение на «верной», латинской стороне культурной границы сделало возможным его неожиданное преобладание в имперской системе, которая все еще по самой своей природе и происхождению оставалась римским порядком. Династический переход к дунайским и балканским землям отражал максимально возможный сдвиг римской политической системы в восточном направлении, позволявший сохранить и единство империи, и ее интегрально латинский характер.

Военная и бюрократическая решительность новых паннонских и иллирийских правителей позволила восстановить стабильность имперского государства к началу IV века. Но административное восстановление империи было куплено ценой серьезного раскола, нарастающего в общей структуре власти. Новая политическая унификация Средиземноморья привела к расколу среди господствующих классов. Благодаря традиционной концентрации богатства сенаторская аристократия Италии, Испании, Галлии и Африки оставалась на Западе, безусловно, наиболее сильной в экономическом отношении стратой. Но теперь она была отделена от военного аппарата, который служил источником политической власти, перешедшей к зачастую незнатным офицерам с бедных Балкан. Таким образом, весь правящий порядок домината был пронизан теперь структурным антагонизмом, которого никогда не было при принципате и который в конечном итоге должен был иметь фатальные последствия. Он был доведен до крайности жестким отказом Диоклетиана назначать кандидатов из сенаторов на какие-либо важные военные и гражданские должности. В этой обостренной форме конфликт не мог продлиться долго. Константин полностью изменил политику своих предшественников по отношению к традиционной знати на Западе и систематически обхаживал ее, назначая на должности управляющих провинциями и другие почетные административные посты, но не на командные посты в армии, от которых она теперь была отлучена навсегда. Сам сенат был расширен, а в нем была создана новая элита из патрициев. В то же время состав аристократии во всей империи в целом радикально изменился после серьезных институциональных перемен в правление Константина — христианизации государства после обращения Константина и его победы над Максенцием в битве у Мульвиева моста. Примечательно, что новая восточная религия завоевала империю только после принятия ее цезарем на Западе. То, что армия, шедшая из Галлии, навязала веру, рожденную в Палестине, было не просто парадоксальной случайностью,

но скорее свидетельством политического влияния латинских областей римской имперской системы. Возможно, наиболее важным институциональным следствием этих религиозных перемен стало социальное продвижение многих «служилых христиан», которые сделали свои административные карьеры благодаря лояльности новой вере и вошли в расширенные ряды «светлейших» IV столетия.¹¹⁴ Большинство из них были выходцами с Востока, которые заполнили второй сенат, созданный в Константинополе Констанцием II. Их включение в обширную машину домината с ее громадным количеством новых бюрократических должностей одновременно и отражало и усиливало постепенное расширение влияния государства в позднем римском обществе. Кроме того, введение христианства как официальной религии империи прибавляло к и без того раздутому светскому государственному аппарату огромную церковную бюрократию, которой прежде не существовало. В самой церкви также, по-видимому, разворачивался подобный процесс усиления мобильности, поскольку церковная иерархия набиралась главным образом из куриального сословия. Жалованье и дополнительные доходы этих церковных сановников, выплачиваемые из огромных рент, получаемых от совокупных богатств церкви, вскоре стали превышать доходы светской бюрократии. Константин и его преемники делали церкви щедрые пожалования; в результате, количество и объем индикций и налогов начали неуклонно расти. Но при Константине была увеличена и численность войск (пехоты и кавалерии): в IV веке она достигла почти 650.000 человек — почти вчетверо больше войск, чем при раннем принципате. Римская империя IV–V веков была перегружена растущей военной, политической и идеологической надстройкой.

С другой стороны, разрастание государства сопровождалось сокращением экономики. От демографических потерь III века так и не удалось оправиться до конца. Хотя сокращение численности населения невозможно выразить статистически, продолжительное запустение некогда обрабатывавшихся земель (*agri deserti* поздней империи) служит безошибочным свидетельством общей тенденции к сокращению населения. В IV веке политическое возрождение имперской системы вызвало временный подъем в городском строительстве и восстановление денежной стабильности с выпуском золотых солидов. Но в обоих случаях возрождение было ограниченным и не-

¹¹⁴ Об этом феномене см.: Jones, 'The Social Background of the Struggle between Paganism and Christianity' in A. Momigliano (ed.), *The Conflict Between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, Oxford 1963, p. 35–37.

прочным. Городской рост был во многом сосредоточен в новых административных центрах, находящихся под прямым покровительством императоров: в Милане, Трире или Сардике и, конечно, прежде всего, Константинополе. Этот рост не был спонтанным экономическим феноменом и не мог прекратить общий долгосрочный экономический упадок городов. Муниципальные олигархи, которые некогда контролировали гордые и жизнеспособные города, во времена раннего принципата, когда специальные имперские «кураторы» стали направляться из Рима для наблюдения за провинциальными городами, были поставлены под все более сильный контроль. Но, начиная с кризиса III века, отношения между центром и периферией полностью изменились — отныне императоры постоянно пытались убедить или заставить сословие декурионов, которое осуществляло муниципальную администрацию, исполнять свои наследственные обязанности в советах, в то время как эти местные землевладельцы избегали выполнения своих гражданских обязанностей (и связанных с этим расходов), а города приходили в упадок из-за нехватки государственных средств или частных капиталовложений. Наиболее распространенным вариантом «бегства из декурионов» был переход в более высокий ранг «светлейших» или в центральную бюрократию, которые освобождали от муниципальных обязанностей. Между тем мелкие ремесленники и мастера, сталкиваясь с социальными трудностями, бежали из городов, пытаясь найти убежище и работу в имениях сельских магнатов, несмотря на официальные указы, запрещающие такое переселение.¹¹⁵ Обширная сеть дорог, соединявших города империи, которые всегда были прежде всего стратегическими, а не коммерческими конструкциями, могла в конечном итоге оказывать даже негативное влияние на экономику областей, которые они пересекали, будучи не торговыми путями или путями привлечения капиталовложений, а путями, по которым прибывали солдаты на постой и чиновники для сбора налогов. В этих условиях стабилизация валюты и монетизация налогов в IV веке не привели к сколько-нибудь значительному возрождению городской экономики. Новый денежный стандарт, введенный Константином, соединял новую золотую монету, предназначенную для использования государством и богатыми с постоянно обесцениваемыми медными монетами, используемыми

¹¹⁵ Вебер справедливо замечает, что этот исход был полной противоположностью типично средневекового бегства из деревень в города для получения городской свободы и работы; см.: Вебер, 'Социальные причины падения античной культуры', с. 462.

для своих нужд бедняками, не устанавливая никаких соотношений между ними и создав фактически две отдельные денежные системы, явился скорее ярким свидетельством социальной поляризации Поздней империи.¹¹⁶ В большинстве провинций городская торговля и промышленность сокращались — в империи происходило медленное, но верное наступление деревни.

Завершающий кризис античности начался именно в деревне; и пока города пребывали в состоянии застоя или приходили в упадок, именно в сельской экономике произошли далеко идущие изменения, предвещавшие переход к совершенно другому способу производства. После того как границы империи перестали расширяться, неизбежные ограничения рабовладельческого способа производства стали очевидны — именно они лежали в основе политических и экономических неурядиц III века. Теперь, в условиях приходящей в упадок Поздней империи, рабский труд, который всегда был связан с системой политической и военной экспансии, начал становиться все более редким и обременительным; и поэтому широкое распространение среди землевладельцев получило прикрепление к земле. Важный поворотный момент наступил, когда кривая цен на рабов, которая, как мы видели, резко рванула вверх в первые два столетия принципата из-за перебоев с поставками, в III веке начала выравниваться и падать — верный признак сокращения спроса.¹¹⁷ Собственники перестали содержать многих своих рабов, но стали предоставлять им небольшие наделы, позволявшие им самим заботиться о себе, и собирать с них произведенные излишки.¹¹⁸ Имена стали делиться на нуклеарные хозяйства рядом с домом землевладельца, на которых продолжали работать рабы, и массу арендованных земель, населенных зависимыми земледельцами, вокруг них. Благодаря этим изменениям производительность, возможно, несколько выросла, но, учи-

¹¹⁶ Прекрасный анализ состояния денежной системы см.: André Piganiol, *L'Empire Chrétien* (325–395), Paris 1947, p. 294–300. См. также: Jones, 'Inflation under the Roman Empire', *Economic History Review*, V, No. 3, 1953, p. 301–314.

¹¹⁷ Jones, 'Slavery in the Ancient World', p. 197; Вебер, *Аграрная история Древнего мира*, с. 444. Вебер; как показывает Джонс, преувеличивает падение цен на рабов в поздней империи. Хотя они и сократились вдвое по сравнению с уровнем II века, рабы везде, кроме пограничных провинций, оставались сравнительно дорогим товаром.

¹¹⁸ Лучшее описание этого процесса содержится в посмертно опубликованной статье Марка Блока: Marc Bloch, 'Comment et Pourquoi Finit l'Esclavage Antique?', *Annales E. S. C.*, 2, 1947, p. 30–44, 161–170.

тывая сокращение общего числа рабочей силы в деревне, — не производство. В то же время деревни мелких землевладельцев и свободных арендаторов, которые всегда существовали бок о бок с рабами в империи, стремясь найти защиту от фискальных поборов и воинской повинности, попадали под «покровительство» крупных землевладельцев, и их обитатели начинали занимать экономическое положение, очень близкое к положению бывших рабов.

В результате в большинстве областей появились и, возможно, начали преобладать колонны, зависимые крестьяне, связанные с именем своего господина и выплачивающие ему ренту в натуральном или денежном виде, или отработывая ее на издольной основе (отработочная рента в собственном смысле слова была редким явлением). Колоннам оставалась примерно половина урожая с их наделов. Преимущества этой новой системы труда для эксплуататорского класса в издержках в конечном итоге стали очевидными, когда землевладельцы пожелали платить больше, чем рыночную цену рабов, за то, чтобы колоннов не забирали в армию.¹¹⁹ Диоклетиан своим указом установил, что арендаторы должны быть прикреплены к своим деревням с целью сбора налогов; после этого юридическая власть землевладельцев над колоннами в IV–V веках постепенно усилилась в соответствии с указами Константина, Валента и Аркадия. Между тем сельскохозяйственные рабы постепенно перестали служить обычными товарами, пока Валентиниан I — последний великий преторианский император Запада — формально не запретил их продажу за пределами земель, на которых они трудились.¹²⁰ Так, в результате процесса сближения рабов и свободных земледельцев или мелких землевладельцев в Поздней империи сложился класс зависимых сельскохозяйственных производителей, юридически и экономически отличавшийся и от тех и от других. Появление этого колоната не означало сокращения богатства или влияния землевладельческого класса: напротив, именно благодаря поглощению прежде независимых мелких крестьян и смягчению проблем масштабного управления и надзора произошло серьезное общее увеличение размера имений, принадлежавших римской аристократии. Совокупные владения сельских магнатов, часто рассеянные среди множества областей, достигли своей максимальной величины к V веку.

Естественно, никакого окончательного исчезновения рабства не произошло. На самом деле, имперская система никогда не могла

¹¹⁹ Джонс, *Гибель античного мира*, с. 532.

¹²⁰ Там же, с. 438.

обойтись без него. Ведь государственный аппарат все еще опирался на основанные на рабском труде системы снабжения продовольствием и коммуникаций, которые поддерживались в почти традиционных масштабах до самого конца империи на Западе. Рабы повсеместно трудились в домашних хозяйствах имущих классов, хотя их роль в городском ремесленном производстве заметно сократилась. Кроме того, по крайней мере в Италии и Испании, и, возможно, больше, чем принято думать, и в Галлии, они оставались относительно многочисленными в сельском хозяйстве, работая на латифундиях провинциальных землевладельцев. Аристократка Мелания, в начале V века обратившаяся к религии, могла иметь 25.000 рабов в 62 деревнях только в своих имениях вокруг Рима.¹²¹ Рабовладельческого сектора сельского хозяйства, обслуживавшего рабского населения и основанного на рабском труде государственного производства было достаточно, чтобы гарантировать дальнейшую социальную деградацию рабочей силы и закрытость сферы труда для технических изобретений. «Но умирающее рабство оставило свое ядовитое жало в виде презрения свободных к производительному труду», — писал Энгельс. «То был безвыходный тупик, в который попал римский мир».¹²² Изолированные технические находки принципата, незамеченные во время расцвета рабовладельческого способа производства, оставались также невостребованными в эпоху его распада. Превращение рабов в колонов не создало никаких стимулов для развития технологии. Производительные силы античности были заблокированы на своем традиционном уровне.

Но с формированием колоната центр тяжести экономической системы сместился — теперь его образовывали отношения между зависимым сельским производителем, землевладельцем и государством. Разбухшая военная и бюрократическая машина поздней империи требовала огромных затрат от общества, экономические ресурсы которого существенно сократились. Появление городских налогов ослабляло торговлю и ремесленное производство в городах. Но непомерно тяжелое бремя постоянных поборов было взвалено, прежде всего, на плечи крестьян. Годовые бюджетные оценки или «индикции» выросли вдвое за период с 324 по 364 год. К концу империи ставки налога на землю были втрое больше тех, что существовали при

¹²¹ Кроме того, она владела землями в Кампании, Апулии, на Сицилии, в Тунисе, Нумидии, Мавритании, Испании и Британии; при этом для современников ее доход был доходом сенаторской семьи средней руки. См.: *Там же*, с. 435–436.

¹²² Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 21, с. 149.

поздней республике, и государство поглощало от четверти до трети всей сельскохозяйственной продукции.¹²³ Кроме того, возросли издержки взимания налогов: до 30% собранных средств уходило на содержание чиновников, которые вытягивали их.¹²⁴ Часто налоги собирались самими землевладельцами, которые могли избежать выплаты своих финансовых обязательств, переложив их на плечи своих колонов. Государственная церковь — институциональный комплекс, неизвестный классической античности, в отличие от ближневосточных цивилизаций, которые предшествовали ей — была еще одним паразитом, питавшимся сельским хозяйством, от которого она получала 90% своей ренты. Внешней беззаботности церкви в материальной сфере и невероятной алчности государства сопутствовала резкая концентрация частной собственности, когда крупная знать приобретала владения у мелких землевладельцев и присваивала земли прежде независимых крестьян.

Таким образом, в последние годы IV века империю раздирали экономические трудности и социальная поляризация. Но именно на Западе эти процессы достигли своей наивысшей точки, приведя к краху всей имперской системы, столкнувшейся с варварскими вторжениями. Распространенный анализ этой финальной катастрофы обращается к концентрации германского давления на западные провинции и их большей стратегической уязвимости по сравнению с восточными провинциями. Знаменитая эпитафия Пиганьоля гласит: *L'Empire Romaine n'est pas mort de sa belle mort; elle a été assassinée.*¹²⁵ («Римская империя не умерла своей смертью; она была убита»). В этом объяснении правильно подчеркивается *катастрофический* характер падения империи на Западе, в противовес многочисленным попыткам ученых представить его в виде мирной и незаметной мутации, почти не замеченной теми, кто ее пережил.¹²⁶ Но вера в то, что «внут-

¹²³ А. Н. М. Jones, 'Over-Taxation and the Decline of the Roman Empire', *Antiquity*, XXXIII, 1959, p. 39–40.

¹²⁴ Jones, *The Later Roman Empire*, I, p. 468.

¹²⁵ Piganiol, *L'Empire Chrétien*, p. 422.

¹²⁶ Противоположная точка зрения высказывалась Зюндваллем: *das weströmische Reich ist ohne Erschütterung eingeschlafen* — «Западная империя уснула вечным сном безо всяких конвульсий»: J. Sundwall, *Weströmische Studien*, Berlin 1915, p. 19. Затем это высказывание много раз цитировалось, особенно Допшем, а недавно его вспомнили вновь в работе: K. F. Stroheker, *Germanentum und Spätantike*, Zurich 1965, p. 89–90. Эти противоположные суждения не свободны от влияния национальных чувств.

решающая слабость империи не могла быть главным фактором в ее падении», явно несостоятельна.¹²⁷ Здесь отсутствует какое-либо структурное объяснение причин того, почему империя на Западе сдалась первобытным отрядам захватчиков, бродившим по ней в V веке, тогда как империя на Востоке, нападения на которую вначале представляли намного более серьезную опасность, выжила и сохранилась. Ответ на этот вопрос состоит в предшествующем историческом развитии двух зон римской имперской системы. Обычно ее окончательный кризис рассматривается на слишком кратком временном фоне; на самом деле различные судьбы Восточного и Западного Средиземноморья в V веке н.э. тесно связаны с их интеграцией в римское правление еще в начале республиканской экспансии. Запад, как мы видели, служил действительной основой римской имперской экспансии, театром подлинного и решающего расширения всего мира классической античности. Именно здесь республиканская рабовладельческая экономика, доведенная до совершенства в Италии, была успешно перенесена и пересажена на практически девственную социальную почву. Именно здесь основывались римские города. Именно здесь проживала большая часть позднего провинциального правящего класса, пришедшего к власти с принципатом. Именно здесь латинский язык стал сначала среди чиновников, а потом и среди народа основным разговорным языком. С другой стороны, на Востоке римское завоевание просто накладывалось на развитую эллинистическую цивилизацию, которая уже составляла фундаментальную социальную «экологию» региона — греческие города, проживающие вокруг них крестьяне и знать, восточный монархизм. Развитый рабовладельческий способ производства, придавший энергию римской имперской системе, с самого начала был натурализован преимущественно на Западе. Поэтому логично и предсказуемо, что внутренним противоречиям этого способа производства суждено было окончательно раскрыться и прийти к своему логическому завершению именно на Западе, где они не смягчались и не сдерживались какими-либо предшествующими или альтернативными историческими формами. Там, где среда была наиболее чистой, симптомы были наиболее острыми.

¹²⁷ Этим предложением заканчивается работа Джонса: Jones *The Later Roman Empire*, II, 1068. Но этому противоречит множество приводимых им же сами свидетельства. Величие и ограниченность Джонса как историка лучше всего показана в: Momigliano, *Quarto Contribuito alla Storia degli Studi Classici e del Mondo Antico*, Rome 1969, p. 645–647; в этой работе справедливо критикуется вывод, сделанный Джонсом.

Начнем с того, что сокращение численности населения империи с III века должно было сильнее сказаться на куда менее населенном Западе, чем на Востоке. Точные оценки невозможны, хотя можно предположить, что численность населения Египта в поздней империи составляла примерно 7.500.000 человек по сравнению с 1.500.000 человек в Галлии.¹²⁸ Города Востока были намного более многочисленными и оставались намного более жизнеспособными в коммерческом отношении — блестящий взлет Константинополя как второй столицы империи был важным городским успехом IV–V веков. И не случайно, как мы видели, рабовладельческие латифундии до самого конца оставались наиболее распространенными в Италии, Испании и Галлии — там, где они впервые возникли. Поразительно, но географическая граница новой системы колоната соответствовала тому же основному разделению. Распространение колоната началось с Востока, прежде всего из Египта, где он впервые появился; и тем более примечательно, что его превращение в основную систему отношений в сельской местности произошло на Западе, где его преобладание в конечном итоге намного превзошло его роль в эллинистической деревне Восточного Средиземноморья.¹²⁹ Точно так же *patrocinium* поначалу был феноменом, распространенным в Сирии и Египте, где он обычно означал защиту деревень командующими военными подразделениями от злоупотреблений мелких агентов государства. Но именно в Италии, Галлии и Испании под ним стала пониматься передача крестьянином своих земель своему патрону-землевладельцу, который затем возвращал их обратно в качестве временного держания (т. н. *precario*).¹³⁰ Этот тип патронажа никогда не получил такого распространения на Востоке, где свободные деревни часто сохраняли свои автономные собрания и свою независимость как сельские общины дольше, чем города,¹³¹ и где мелкая крестьянская собственность была намного более распространена (в сочетании с крепостными и зависимыми держаниями), чем на Западе. Имперское налоговое бремя на Востоке также, по-видимому, было сравнительно более легким: судя по всему, по крайней мере в Италии ставка налога на землю в V веке вдвое превышала египетскую. Более того, на Западе официально санкционированные поборы мытарей

¹²⁸ Jones, *The Later Roman Empire*, II, p. 1040–1041.

¹²⁹ Joseph Vogt, *The Decline of Rome*, London 1965, p. 21–22.

¹³⁰ M. T. W. Amheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, Oxford 1972, p. 149–152; Vogt, *The Decline of Rome*, p. 197.

¹³¹ Jones, *The Greek City from Alexander to Justinian*, p. 272–274.

в форме «вознаграждения» за их услуги, по-видимому, были в шестьдесят раз больше, чем на Востоке.¹³²

Наконец, важно, что в обеих этих областях преобладали во многом различные классы собственников. На Востоке сельские землевладельцы были средними собственниками, базировавшимися в городах, отлученными от центральной политической власти и подчинявшимися указам царя и бюрократии: это было то крыло провинциального землевладельческого класса, которое не основало ни одной императорской династии. С ростом вертикальной мобильности в поздней империи и созданием второй столицы в Константинополе, эта страта стала оплотом государственной администрации на Востоке. Именно она составляла значительную часть «служилых христиан» и нового константинопольского сената, расширенного Констанцием II до 2000 человек и состоявшего практически полностью из вышедших в люди чиновников и сановников в грекоязычных провинциях. Их состояния были меньше, чем у более старой и более влиятельной римской знати, их местная власть — менее репрессивной, а их лояльность государству соответственно — более глубокой.¹³³ На Востоке от Диоклетиана до Маврикия почти не было гражданских войн, тогда как Запад страдал от непрерывных узурпаций и междоусобной борьбы среди класса землевладельцев. Отчасти это было связано с политической традицией эллинистического почитания обожествленных царей, которая все еще была сильна в регионе. Но это также отражало и совершенно иное соотношение социальных сил между государством и знатью. Ни один западный император никогда не пытался сдерживать распространение патроната, несмотря на то, что это вело к выходу целых областей из-под надзора агентов государства; тогда как восточные императоры в IV веке, напротив, постоянно принимали законы, направленные на противодействие этому.¹³⁴

¹³² Джонс, *Гибель античного мира*, с. 116; Jones, *The Later Roman Empire*, III, p. 129. В Италии при уплате налогов крестьяне могли лишиться двух третей урожая. Крупные землевладельцы, конечно, не платили всех положенных налогов. На Западе они широко уклонялись от своих обязательств. Согласно Зюндваллю, неспособность имперского государства взимать налоги с землевладельческой аристократии на самом деле послужила причиной его окончательного краха на Западе; Sundwall, *Weströmische Studien*, p. 101.

¹³³ Peter Brown, *The World of Late Antiquity*, London 1971, p. 43–44.

¹³⁴ Джонс, *Гибель античного мира*, с. 434.

Сенаторская аристократия представляла совершенно иную силу. Она больше не составляла той же сети семей, что и при раннем принципате — очень низкие показатели рождаемости среди римской аристократии и политические потрясения послеантониновской эпохи привели к возвышению новых родов на всем Западе. Провинциальные землевладельцы Галлии и Испании утратили политическое влияние в столице в эпоху средней империи;¹³⁵ с другой стороны, характерно, что единственной зоной, создавшей сепаратистскую «династию» в эту эпоху, была Галлия, где ряду региональных узурпаторов — Постуму, Викторину и Тетрику — удавалось сохранять сравнительно стабильный режим на протяжении десятилетия, причем влияние этой династии простиралось также на Испанию. Итальянская знать по понятным причинам оставалась ближе к центру имперской политики. Но установление тетрархии привело к существенному сокращению традиционных прерогатив землевладельческой аристократии на всем Западе, хотя и не ослабило ее экономическое влияние. В III веке сенаторский класс лишился своей военной силы и большей части своего прямого политического влияния. Но он так и не лишился своих земель и не забыл своих традиций — имений, которые всегда были самыми большими в империи, и памяти об антиимперском прошлом. Диоклетиан, сам имевший не слишком знатное происхождение и казарменное мировоззрение, лишил сенаторское сословие почти всех должностей наместников провинций и систематически отстранял его от основных властных постов в тетрархии. Но его преемник Константин полностью отошел от его антиаристократической политики и вновь позволил сенаторскому классу, который теперь вместе с сословием всадников составлял единую знать «светлейших», занимать высшие посты в бюрократическом аппарате империи на Западе. При его правлении сенаторские президы (*praesides*) и викарии (*vicarii*) вновь распространились в Италии, Испании, Северной Африке и по всему Западу.¹³⁶ Мотивом для сближения Константина с западной аристократией, возможно, послужи-

¹³⁵ Анализ роли испанской и галльской знати в поздней империи см.: K. F. Stroheker, 'Spanische Senatoren der spätromischen und westgotischen Zeit', *Germanentum und Spätantike*, p. 54–87; *Der Senatorische Adel im Spätantiken Gallien*, Tübingen 1948, p. 13–42. В этих работах подчеркивается возвращение политического влияния обеими этими областями после их заката в III веке в более позднюю эпоху Грациана и Феодосия.

¹³⁶ Статистические расчеты см.: Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, p. 216–219.

ла другая важная переменная, произошедшая при его правлении, — его обращение в христианство. Сенаторское сословие на Западе было не только экономически и политически самой сильной частью землевладельческой знати в империи: оно также было идеологической цитаделью традиционного язычества, потенциально враждебным к религиозным нововведениям Константина. Реинтеграция этого класса в состав административной элиты, вероятно, была обусловлена краткосрочной потребностью в примирении с ним в рискованной ситуации установления христианства в качестве официальной религии империи.¹³⁷ Но в конечном счете именно богатство и связи богатых семей патрициев на Западе, всех этих породнившихся друг с другом Анициев, Бетициев, Сципионов, Цейониев, Ацилиев и других, обеспечили их политическое возвращение.

Ведь сенаторская аристократия Запада, отлученная от политики при тетрархии, добилась невероятных экономических успехов. Высокие показатели обогащения и низкие — рождаемости привели к огромной концентрации земельной собственности в руках немногочисленных крупных землевладельцев, а средний доход западной аристократии в IV веке впятеро превысил доходы их предшественников в I веке.¹³⁸ Императоры, пришедшие на смену Константину, часто были военными низкого происхождения — от Иовиана и далее все чаще они происходили из *scholae palatinae* или дворцовой стражи.¹³⁹ Но все они, даже резко настроенный против сената Валентиниан I, заканчивали назначением «светлейших» на ключевые государственные посты, начиная с преторианской префектуры. Контраст с Востоком разителен: там те же бюрократические функции

¹³⁷ Arnheim, *op. cit.*, 5–6, 49–51, 72–73. Но следует отметить, что, независимо от сопротивления, которое западный сенаторский класс мог оказать христианизации империи, в своих собственных рядах он был неформально терпимым к религиозному многообразию в нравах и брачных отношениях. См.: Peter Brown, *Religion and Society in the Age of St Augustine*, London 1972, p. 161–182.

¹³⁸ Brown, *The World of Late Antiquity*, p. 34. При поздней империи землевладельческая аристократия получала большую долю сельскохозяйственных излишков в качестве арендной платы, чем имперское государство в виде налогов — и это во время беспрецедентных поборов; см.: Jones, 'Rome', *Troisième Conférence Internationale d'Histoire Economique*, p. 101.

¹³⁹ Иовиан, Валентиниан I, Валент и Майориан — все они были офицерами *scholae*. Проницательное рассмотрение роли позднеимперской военной элиты см.: R. I. Frank, *Scholae Palatinae. The Palace Guards of the Later Roman Empire*, Rome 1969, p. 167–194.

выполнялись незнатными, а немногочисленные аристократы, получавшие должности, зачастую — что еще более поразительно — сами были выходцами с Запада.¹⁴⁰ Военная машина западной империи оставалась в стороне от аристократического сообщества Запада. Но со смертью Валентиниана в 375 году сенаторская плутократия начала возвращать себе саму императорскую власть, отбирая ее у армии, и со слепым эгоизмом патрициев постепенно сокращать весь оборонный аппарат, который находился под особым покровительством военных правителей империи начиная с Диоклетиана. Уклонение от налогов и военной службы долгое время были распространены среди западного землевладельческого класса. Его закореневшая «цивильность» получила новый стимул с переходом армейского командования на Западе к германским генералам, которые в силу своего этнического происхождения не могли, в отличие от своих предшественников из Паннонии, присвоить себе императорский титул и вызывали ксенофобскую ненависть у солдат, которых они возглавляли, чего никогда не было при балканских генералах. Арбогаст или Стилихон, франк и вандал, так и не смогли перевести свое военное влияние в стабильную политическую власть. Сменявших друг друга слабых императоров — Грациана, Валентиниана II и Гонория — аристократические клики без труда настраивали против этих социально изолированных чужеземных генералов, чья ответственность за оборону империи не могла обеспечить им господство в ней или даже их собственную безопасность. Таким образом, землевладельческая знать окончательно вернула себе власть в империи — и тем самым привела ее к гибели. Через несколько лет за этим постепенным аристократическим переворотом сверху последовали массовые восстания снизу. Начиная с конца III века в Галлии и Испании происходили спорадические крестьянские восстания: беглые рабы, дезертиры, угнетенные колонны и деревенская беднота периодически соединялись в банды грабителей, именовавшихся багаудами, которые в течение многих лет вели партизанские войны против военных гарнизонов и провинциальных властей, так что для их усмирения иногда требовалось даже прямое вмешательство императоров. Эти восстания, не имевшие аналогов на Востоке, были одновременно восстаниями и против рабства и против колоната — первой и последней систем труда в сельском хозяйстве на Западе. На рубеже V века в условиях тяжкого бремени налоговых и рентных платежей и ослабления границ после восстановления сенаторской власти восстания багау-

¹⁴⁰ Arnheim, *The Senatorial Aristocracy in the Later Roman Empire*, p. 167–168.

дов разразились вновь в еще большем масштабе и с еще большей силой в 407–417, 435–437 и 442–443 годах. В центральной зоне восстания — Арморике, простиравшейся к северу от долины Луары, — восставшие крестьяне, по сути, создали независимое государство, изгнав чиновников, экспроприировав земельные владения, наказывая рабовладельцев обращением их самих в рабство и создав свой собственный суд и армию.¹⁴¹ Социальная поляризация Запада, таким образом, имела мрачный двойной финал, в котором империя была разодрана внутренними силами сверху и снизу, прежде чем внешние силы поставили жирную точку в ее судьбе.

¹⁴¹ О бараудах см.: V. Sirago, *Gallia Placidia e La Trasformazione Politica dell'Occidente*, Louvain 1961, p. 376–390; наилучшее краткое изложение см.: E. A. Thompson, 'Peasant Revolts in Late Roman Gaul and Spain', *Past and Present*, November 1951, p. 11–23. Значение галльского рабства можно оценить по документам, оставшимся от той эпохи. Томпсон замечает: «Наши источники показывают, что эти восстания были восстаниями сельскохозяйственных рабов или, по крайней мере, рабы играли в них важную роль» (p. 11). Еще одна важная категория сельских бедняков — зависимые колоны — тоже наверняка были участниками восстаний в Галлии и Испании. Странствующие циркумцеллионы (*circumcelliones*) в Северной Африке, напротив, были свободными земледельцами более высокого положения, испытавшие влияние донатизма. Социальный и религиозный характер этого движения делает его особым феноменом, который никогда не был столь значительным или опасным, как барауды. См.: В. Н. Warmington, *The North African Provinces from Diocletian to the Vandals*, Cambridge 1954, p. 87–88, 100.

II. ПЕРЕХОД

1. ГЕРМАНСКИЕ ИСТОКИ

Именно в этот мрачный мир сибаритствующих олигархов, разрушенной оборонительной системы, и доведенных до отчаяния деревенских масс пришли германские варвары, пересекшие в конце 406 года покрытый льдом Рейн. Каким был общественный строй этих захватчиков? Когда римские легионы впервые столкнулись с германскими племенами в эпоху Цезаря, те были оседлыми земледельцами с преимущественно пастушеским хозяйством. У них преобладал первобытнообщинный способ производства. Частная собственность на землю была им неведома. Каждый год вожди племени определяли, какую часть общих земель предстояло вспахать и выделяли части ее соответствующим родам, которые возделывали землю и присваивали урожай сообща. Периодические перераспределения исключали возможность появления больших различий в богатстве между родами и домохозяйствами, хотя скот находился в частном владении и составлял богатство лучших воинов племени.¹ В мирное время никаких вождей, чья власть распространялась бы на весь народ, не было — они избирались лишь на время войны. Многие роды оставались матрилинейными. Эта первобытная социальная структура с приходом римлян на Рейн и их временной оккупацией Германии вплоть до Эльбы в I веке н.э. подверглась значительным изменениям. Торговля предметами роскоши на границе вызвала среди германских племен рост внутренней стратификации — чтобы покупать римские товары, воины продавали скот или совершали набеги на другие племена для захвата рабов, которые экспортировались на римские рынки. Ко времени Тацита земля перестала распределяться между родами и наделы начали передаваться напрямую индивидам, причем частота этих

¹ Это описание основывается на: E. A. Thompson, *The Early Germans*, Oxford 1965, р. 1–28. Это — марксистское исследование германских общественных формаций от Цезаря до Тацита, которое служит образцом ясности и четкости. Работы Томпсона составляют бесценный цикл, который охватывает все развитие германского общества в античности с этой эпохи до падения вестготского королевства в Испании почти семь веков спустя.

перераспределений сократилась. Обрабатываемые земли, расположенные среди безлюдных лесов, часто менялись, и племена не имели никакой прочной территориальной закреплённости — сельскохозяйственная система поощряла сезонные войны и делала возможными частые масштабные переселения.² Наследственная аристократия с накопленным богатством составляла постоянный совет, который осуществлял стратегическую власть в племени, хотя общее собрание свободных воинов все еще могло отклонять его предложения. Происходило складывание династических квазикоролевских родов, из которых избирались стоявшие над советом вожди. Еще более важно то, что сильные мужчины в каждом племени собирали вокруг себя для совершения набегов «дружины» воинов, которые не были связаны с родовыми единицами. Эти «дружины» состояли из знати, которая жила за счет урожая с отведенных для нее земель, но сама в сельскохозяйственном производстве не участвовала. Они составляли ядра будущего постоянного классового деления и институционализировали принудительную власть в этих первобытных общественных формациях.³ Борьба между рядовыми воинами и амбициозными знатными вождями, стремившимися узурпировать диктаторскую власть в племенах, опираясь на силу своих дружин, становилась все более острой; сам Арминий, победитель сражения в Тевтобургском лесу, был участником и жертвой одного из таких столкновений из-за власти. Римская дипломатия подогревала эти междоусобные споры при помощи субсидий и альянсов, чтобы нейтрализовать варварское давление на границу и создать страту аристократических правителей, готовых сотрудничать с Римом.

² M. Bloch, 'Une Mise au Point: Les Invasions', *Mélanges Historiques*, I, Paris 1963, p. 117–18.

³ Thompson, *The Early Germans*, p. 48–60. Формирование «дружинной» системы было важным предварительным шагом в постепенном переходе от племенного устройства к феодальному. Оно означало разрыв с социальной системой, основанной на родственных отношениях. «Дружина» всегда определялась как элита, которая не ограничивалась родственной солидарностью, а, напротив, заменяла своими новыми формами лояльности и солидарности привычные биологические узы. Это свидетельствовало об упадке родовой системы. Полностью сформировавшаяся феодальная аристократия, конечно, имела свою собственную (новую) систему родства, которую историки только начинают изучать, но она никогда не была ее доминирующей структурой. Прекрасное рассмотрение этой важнейшей проблемы см. в: Owen Lattimore, 'Feudalism in History', *Past and Present*, No. 13, November 1957, p. 52.

Так и экономическими, и политическими средствами — благодаря торговому обмену и дипломатическому вмешательству — римское давление ускорило социальную дифференциацию и распад общинных способов производства в германских лесах. Народы, наиболее тесно контактировавшие с империей, неизбежно вырабатывали и наиболее «передовые» социально-экономические структуры, все дальше отходя от традиционного племенного образа жизни. Алеманны в Шварцвальде и, прежде всего, маркоманны и квады в Боемии имели виллы, устроенные по римскому образцу, с имениями, обрабатывавшимися трудом пленных рабов. Более того, маркоманны подчинили другие германские народы и создали ко II веку в области центрального Дуная организованное государство с королевским правлением. Их империя вскоре была разрушена, но это было предвозвестие грядущего. Полтора века спустя — в начале IV века — вестготы, которые заняли Дакию после того, как Аврелиан вывел из нее свои легионы, переживали ровно те же социальные процессы. Их сельскохозяйственная техника была более развита, и в основном они были крестьянами, выращивавшими зерновые культуры, занимавшимися деревенскими ремеслами (с использованием гончарного круга) и имевшими элементарный алфавит. Вестготская экономика в этой некогда римской провинции с сохранившимися городами и укреплениями теперь настолько сильно зависела от торговли через Дунай, что римляне могли успешно использовать в качестве основной военной меры против них торговую блокаду. Общее собрание воинов полностью исчезло. Союзный совет оптиматов осуществлял центральную политическую власть над покорными деревнями. Оптиматы были классом собственников, которые имели земли, дружины и рабов и были четко отделены от остального народа.⁴ И чем дольше существовала римская имперская система, тем больше своим влиянием и примером она способствовала появлению у германских племен на своих границах все большей социальной дифференциации и все более высокого уровня политической и военной организации. Последовательный рост варварского давления на империю с эпохи Марка Аврелия и далее, таким образом, не был для нее случайным ударом судьбы — он был прежде всего структурным следствием ее собственного существования и успеха. Медленные изменения, вызванные в ее внешнем окружении подражанием и вмешательст-

⁴ E. A. Thompson, *The Visigoths in the Time of Ulfila*, Oxford 1966, особ. p. 40–51; еще одно ясное исследование, составляющее продолжение его более ранней работы.

вом, постепенно накапливались, и пограничные германские области становились все опаснее по мере того, как римская цивилизация постепенно меняла их.

Между тем в самой Римской империи все больше германских воинов служило в рядах имперских армий. Римская дипломатия традиционно пыталась везде, где только можно, оградить империю внешним кольцом *foederati*, союзных или «вассальных» вождей, которые сохраняли свою независимость за пределами римских границ, но отстаивали римские интересы в варварском мире в обмен на финансовую и политическую поддержку и военную защиту. Но в поздней империи имперское правительство перешло к постоянному рекрутированию солдат из этих племен в свои собственные подразделения. В то же время варварские беженцы или пленники оседали на пустующих землях как *laeti*, обязанные служить в армии в обмен на свои держания. Кроме того, многие свободные германские воины добровольно шли служить в римские полки, привлеченные перспективами заработка и продвижения по службе в имперском военном аппарате.⁵ К середине IV века значительная часть отборных дворцовых войск, офицеров и генералов имела германское происхождение, будучи культурно и политически интегрированной в римский социальный мир. Франкские генералы, вроде Сильвана или Арбогаста, дослужившиеся до звания *magister militum* или главнокомандующего на Западе, не были большой редкостью. В самом имперском государственном аппарате имело место определенное смешение римских и германских элементов. Социальные и идеологические последствия интеграции большого количества тевтонских солдат и офицеров в римский мир для германского мира, который они оставили навсегда или на время, не трудно представить — они служили мощным катализатором дифференциации и стратификации в племенных обществах за пределами Рима. Политическая автократия, социальный статус, военная дисциплина и денежное вознаграждение были уроками, усвоенными за рубежом и с готовностью усваивавшимися местными правителями и оптиматами у себя дома. Таким образом, ко времени *Völkerwanderungen* в V веке, когда вся Германия пришла в движение под давлением гуннских кочевников из Средней Азии, и племена начали пересекать римские границы, германское общество вследствие внутреннего и внешнего давления уже заметно отличалось от того, каким оно было во времена Цезаря. К этому времени сложившаяся дружинная знать и индивидуальные земельные состояния почти по-

⁵ Frank, *Scholae Palatinae*, p. 63–72; Jones, *The Later Roman Empire*, II, p. 619–622.

всемирно сменили первоначальное грубое родовое равенство. Длительный симбиоз римских и германских общественных формаций в пограничных областях постепенно сократил разрыв между ними, хотя в наиболее важных отношениях этот разрыв все еще оставался значительным.⁶ И из их окончательного, катастрофического столкновения и смешения, в конечном итоге, суждено было родиться феодализму.

2. НАШЕСТВИЯ

Германские нашествия, захлестнувшие Западную империю, разворачивались в два последовательных этапа, каждый из которых имел свои отличительные особенности и направленность. Первая большая волна началась с рокового перехода ночью 31 декабря 406 года покрытого льдом Рейна широким союзом свевов, вандалов и аланов. Через несколько лет, — в 410 году — вестготы под руководством Алариха разграбили Рим. Двадцать лет спустя — в 439 году — вандалы захватили Карфаген. К 480 году на старых римских землях была создана первая грубая система варварских государств: бургундцы в Савойе, вестготы в Аквитании, вандалы в Северной Африке и остготы в Северной Италии. Характер этого страшного первого нашествия, послужившего для более поздних эпох архетипическим образом начала Темных веков, на самом деле был очень сложным и противоречивым. Ведь оно одновременно было крайне разрушительным нападением германских народов на римский Запад и необычайно консервативным с точки зрения почитания латинского наследия. Военное, политическое и экономическое единство Западной империи было окончательно

⁶ В XX веке историки подчас были склонны, в противовес традиционным концепциям, преувеличивать степень предшествующего симбиоза обоих миров. Крайним примером служит поршнева идея, что весь римский базис целиком покоился на рабском труде пленных варваров, и следовательно, две социальные системы с самого начала были структурно взаимосвязаны: собрания воинов раннегерманских народов служили просто оборонительным ответом на экспедиции, совершавшиеся римлянами с целью получения рабов. Согласно этой точке зрения, империя всегда составляла «сложное и антагонистическое единство» со своей варварской периферией. См.: Б. Ф. Поршнев, *Феодализм и народные массы*, М., 1964, с. 510–511. Здесь серьезно переоценивается роль труда пленных рабов в Поздней империи и даже доля рабов, происходивших с германских окраин в Ранней империи.

но подорвано. Некоторые римские полевые армии *comitatenses* существовали еще несколько десятилетий после того, как *limitanei* пограничной обороны были сметены; но сохранение окруженных и изолированных землями, подвластными варварам, автономных военных областей, вроде Северной Галлии, лишь подчеркивало полный распад имперской системы как таковой. Провинции вновь погрузились в хаос, традиционная администрация либо исчезла, либо просто «плыла по течению»; социальные бунты и бандитизм распространялись на обширные территории; и как только римская пати́на в отдаленных областях стала сходить, наружу начали выходить архаические и подавленные местные культуры. В первой половине V века имперский порядок был сметен волной варваров, захлестнувшей весь Запад.

И все же германские племена, которые разрушили западную империю, сами по себе не в состоянии были заменить ее каким-то новым и определенным политическим устройством. Различие «уровней» этих двух цивилизаций все еще было слишком значительным, и чтобы объединить их, нужно было создать своего рода систему «шлюзов». Дело в том, что варварские народы первой волны племенных нашествий, при всей своей прогрессирующей социальной дифференциации, ко времени своего вторжения на римский Запад все же оставались еще крайне незрелыми и примитивными обществами. Ни одному из них не было знакомо сколько-нибудь продолжительно существовавшее территориальное государство; все они были язычниками, преимущественно неграмотными; не у многих имелась сколько-нибудь четкая и стабильная система собственности. Хаотичное завоевание обширных областей бывших римских провинций, естественно, создавало для них серьезные проблемы с непосредственным присвоением их и управлением ими. Эти неизбежные трудности усугублялись географическими особенностями первой волны нашествий. Ведь в этих *Völkerwanderungen*, часто связанных с пересечением целого континента, окончательное оседание конкретных варварских народов происходило вдалеке от отправной точки. Вестготы двигались с Балкан в Испанию, остготы — из Украины в Италию; вандалы — из Силезии в Тунис; бургунды — из Померании в Савойю. Ни одно варварское общество не занимало просто римских земель, граничивших с изначальной областью своего постоянного проживания. В результате германские поселенцы в Южной Франции, Испании, Италии и Северной Африке с самого начала были ограничены в численном отношении вследствие проделанного ими большого пути и практически лишены возможности получать подкрепление путем дальней-

шей естественной миграции.⁷ Временное устройство первых варварских государств отражало общее состояние относительной слабости и изоляции. Они во многом опирались на ранее существовавшие имперские структуры, которые парадоксальным образом сохранялись всякий раз, когда существовала возможность их сочетания с германскими аналогами, образуя систематический институциональный дуализм. Так, первой и наиболее важной проблемой, которую предстояло решить вторгавшимся сообществам после побед на поле брани, было экономическое использование земель.

Обычное решение одновременно было и очень похоже на ранние римские практики, хорошо знакомые германским солдатам, и предполагало серьезный разрыв с племенным прошлым и переход от него к крайне дифференцированному социальному будущему. Вестготы, бургунды и отсготы навязали местным римским землевладельцам режим *hospitalitas*. Основанный на старой имперской системе расквартирования войск, в которой участвовали многие германские наемники, она, в конечном счете, предоставляла варварским «гостям» в Бургундии и Аквитании $\frac{2}{3}$ пахотных земель крупных имений; а в Италии, общая площадь которой позволяла выделять им меньшую долю отдельных вилл, и где неразделенные имения платили специальный налог для более равномерного распределения бремени, — $\frac{1}{3}$. Бургундские *hospes* также получали $\frac{1}{3}$ римских рабов и $\frac{1}{2}$ лесных угодий.⁸ В Испании вестготы позднее получили в каждом имении $\frac{1}{3}$ земель, находящихся в непосредственном хозяйстве собственников и $\frac{2}{3}$ арендуемых земель. Только в Северной Африке вандалы просто экспроприировали значительную часть местной знати и церк-

⁷ Единственные надежные цифры касательно масштабов первых вторжений относятся к вандальскому обществу, которое было пересчитано его вождями перед переходом в Северную Африку и составляло 80.000 человек (в войске состояло, возможно, 20.000–25.000 человек): С. Courtois, *Les Vandales et l'Afrique*, Paris 1955, p. 215–221. Большинство германских народов, пересекших имперские границы в ту эпоху, вероятно, обладали сопоставимой численностью, в их армиях редко было больше 20.000 человек. По оценкам Рассела, к 500 году н.э. максимально возможная численность варварского населения в бывшей западной империи составляла не более 1.000.000 из 16.000.000 человек. J. C. Russell, *Population in Europe 500–1500*, London 1969, p. 21.

⁸ Наиболее полное описание различных систем *hospitalitas* см.: F. Lot, 'Du Regime de l'Hospitalité', *Recueil des Travaux Historiques de Ferdinand Lot*, Geneva 1970, p. 63–99; см. также: Джонс, *Гибель античного мира*, с. 138; Jones, *The Later Roman Empire*, III, 46.

ви без каких-либо компромиссов или уступок — решение, за которое им, в конечном итоге, пришлось дорого заплатить. Распределение земель при системе «гостеприимства», вероятно, не так уж сильно сказалось на структуре местного римского общества: учитывая незначительную численность варварских завоевателей, *sortes* — или отводившиеся им доли — всегда распределялись лишь на какой-то части территорий, находившихся под их правлением. Обычно из страха распыления после оккупации военных сил происходила их еще большая территориальная концентрация — компактные поселения остготов в долине По были типичным явлением. Нет никаких свидетельств того, что раздел крупных состояний встречал жесткое сопротивление со стороны латинских собственников. С другой стороны, его влияние на германские сообщества не могло быть незначительным. Дело в том, что *sortes* не предоставлялись прибывавшим германским воинам в целом. Напротив, все сохранившиеся договоренности между римлянами и варварами о разделе земли касались только двух человек — провинциального землевладельца и какого-то одного германского партнера; хотя позднее *sortes* обрабатывались многими германцами. Поэтому, скорее всего, земли присваивались клановыми оптиматами, а затем заселялись рядовыми соплеменниками, становившимися их арендаторами или, возможно, небогатыми мелкими землевладельцами.⁹ Первые внезапно стали равными провинциальной аристократии, а последние прямо или косвенно попали в экономическую зависимость от них. Этот процесс, лишь косвенно прослеживаемый по документам той эпохи, несомненно, смягчался свежими воспоминаниями о лесном равенстве и всем характером вооруженного сообщества захватчиков, что гарантировало рядовому воину его свободное состояние. Первоначально *sortes* не были полной или наследственной собственностью, и простые солдаты, которые возделывали их, сохраняли большую часть своих обычных прав. Но логика системы была очевидна — в течение примерно одного поколения германская аристократия закрепилась на земле, приобре-

⁹ Такая реконструкция предлагается в: Thompson 'The Visigoths from Fritigern to Euric', *Historia*, Bd XII, 1963, p. 120–121 — наиболее пронизательном недавнем анализе социальных последствий этого оседания. Блок полагал, что *sortes* из общего фонда конфискованных земель распределялись в племенной общине неравномерно, в зависимости от статуса, и, таким образом, вначале возникали германские крупные землевладельцы и мелкие, но не зависимые крестьян; но, если эта гипотеза и верна, конечный результат вряд ли мог быть совершенно иным: Block, *Melanges Historiques*, I, p. 134–135.

тя зависимых крестьян, а в некоторых случаях и этнических рабов.¹⁰ Как только ранее скитавшиеся племенные союзы территориально закрепились в бывших имперских границах, началась быстрая классовая стратификация.

Политическое развитие германских народов после нашествий подтверждало и отражало эти экономические изменения. Формирование государства, а вместе с ним и принудительной центральной власти над сообществом свободных воинов, было теперь неизбежно. В ряде случаев этот переход сопровождался продолжительными и мучительными внутренними конвульсиями; политическая эволюция вестготов в ходе их скитания по Европе от Адрианополя до Тулузы с 375 по 417 год представляет собой последовательность ярких эпизодов, когда авторитарная царская власть над племенными воинами — активно насаждавшаяся и развивавшаяся под римским влиянием — постепенно закреплялась, и к прибытию во временное пристанище в Аквитании в границах бывшей империи уже сложилось полностью институционализированное династическое государство.¹¹

«Закон бургундский», вскоре провозглашенный новым бургундским государством, был принят собранием из 31 представителя знати, власть которой теперь полностью упразднила всякое народное участие в законодательстве племенного общества. Вандальское государство в Африке стало самой жесткой автократией, которая ослаблялась только крайне непредсказуемой и эксцентричной системой наследования.¹² Точно так же, как экономическое устройство первых германских поселений основывалось на формальном разделении римских земель, политическая и правовая форма новых германских государств покоилась на официальном дуализме, разделявшем королевство административно и юридически на две различных системы — очевидное свидетельство неспособности захватчиков справиться с новым обществом и организовать совпадающее с ним целостное новое государство. Типичные германские королевства на этом этапе все еще оставались зачаточными монархиями с неопределенными правилами наследования, опиравшимися на корпус королевской

¹⁰ E. A. Thompson, 'The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain', *Nottingham Mediaeval Studies*, VII, 1963, p. 11.

¹¹ Прекрасное описание этого сложного геополитического путешествия см.: Thompson, 'The Visigoths from Fritigern to Euric', p. 105–126.

¹² О вандальском переходе от общинного строя к королевской автократии, которому мешала выборная система наследования, см.: Courtois, *Les Vandales et l'Afrique*, p. 234–248.

стражи или дружину,¹³ которая была чем-то промежуточным между личными приверженцами предводителя из племенного прошлого и землевладельческой знатью феодального будущего. Ниже находились рядовые воины и крестьяне, везде, где только можно — особенно в городах, — проживавшие обособленно от остального населения.

Римская община, с другой стороны, обладала собственной административной структурой с комициальными единицами и чиновниками и собственной юридической системой, обслуживавшимися провинциальным землевладельческим классом. Этот дуализм больше всего был развит в остготской Италии, где германский военный аппарат и римская гражданская бюрократия прекрасно сочетались в правительстве Теодорика, которое сохранило большую часть наследия имперской администрации. Обычно существовало два различных свода законов, применявшихся к соответствующему населению — германский закон, происходивший из обычного права (тари-

¹³ Традиционное представление о распространенности германских дружин до и во время Темных веков резко оспаривается в работе: Hans Kuhn, 'Die Grenzen der germanischen Gefolgschaft', *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Gertnanistische Abteilung)*, LXXXVI, 1956, p. 1–83, в которой утверждается, в основном с опорой на филологические свидетельства, что свободные дружины были сравнительно редким явлением, первоначально ограничивавшимся Южной Германией, и что их не следует смешивать с несвободными военными слугами или *Dienstmänner*, куда более распространенными, с точки зрения этого автора. Но Кун и сам колеблется в вопросе о том, существовали ли племенные дружины во время *Völkerwanderungen*, в конечном итоге, по-видимому, соглашаясь с их существованием (ср.: 15–16, 19–20, 79, 83). На самом деле проблема *Gefolgschaft* не может быть решена путем обращения к филологии: сам этот термин — современное изобретение. Смешанность форм *Gefolgschaft* связана с нестабильностью племенных общественных формаций, пришедших из Германии до и после вторжений: несвободные слуги, более поздними потомками которых были средневековые *ministeriales*, могли со сдвигами в изменчивых социальных отношениях уступать место свободным дружинникам, и наоборот. Обстоятельства эпохи редко позволяли этимологическую и юридическую точность в определении вооруженных групп, окружавших сменявших друг друга племенных вождей. Естественно, политическая территориализация после вторжений, в свою очередь, создавала новые смешанные и переходные формы, вроде описанных выше. Решительное оспаривание доводов Куна см.: Walter Schlesinger, 'Randbemerkungen zu drei Aufsätzen über Sippe, Gefolgschaft und Treue', *Beiträge zur Deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, Bd. I, Göttingen 1963, p. 296–316.

фицированные наказания, присяжные, родственные узы, клятвы), и римское право, фактически оставшееся неизменным со времен империи. На германских правовых системах часто сказывалось серьезное латинское влияние, что было неизбежно при замене неписаных обычаев писаными сводами законов; множество элементов императорского кодекса Феодосия II были заимствованы в V веке бургундским и вестготским правом.¹⁴ Кроме того, дух этих заимствований в целом был враждебен родовым и клановым принципам, связанным с ранними варварскими традициями — власть новых королевств должна была строиться, преодолевая влияние этих старых родовых моделей.¹⁵ В то же время не предпринималось никаких или почти никаких попыток вмешательства в собственно латинское право, определявшего жизнь римского населения. Римские правовые и политические структуры в этих ранних варварских королевствах во многом оставались неизменными: соответствующие германские институты просто сосуществовали бок о бок с ними. Схожим было и идеологическое устройство. Все основные германские захватчики все еще оставались перед своим вторжением в империю язычниками.¹⁶ Племенная социальная организация была неотделима от племенной религии. Политический переход к территориальной государственной системе всегда сопровождался идеологическим обращением в христианство, которое, по-видимому, неизменно происходило на протяжении жизни одного поколения после пересечения границы. Это не было результатом миссионерских усилий католической церкви, которая игнорировала или презирала вновь прибывших в империю.¹⁷ Это было объективным результатом самого процесса социальной трансформации при переселении, внутренним проявле-

¹⁴ J. M. Wallace-Hadrill, *The Barbarian West 400–1000*, London 1967, p. 32.

¹⁵ Thompson, 'The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain', p. 15–16, 20.

¹⁶ Это положение оспаривается в: Vogt, *The Decline of Rome*, p. 218–220. Но свидетельства, приведенные в статье: Thompson, 'Christianity and the Northern Barbarians', in A. Momigliano (ed.) *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, Oxford 1963, p. 56–78, кажутся убедительными. Единственным исключением в эту эпоху, по-видимому, были немногочисленные руги, обратившиеся в христианство в Нижней Австрии до 482 года.

¹⁷ Идея Момильяно, что одной из причин возвышения христианства в Поздней Римской империи было наличие у него программы интеграции варваров путем обращения, в то время как классическое язычество исключало их из общества, кажется совершенно необоснованной: Momigliano, *The Conflict between Paganism and Christianity in the Fourth Century*, p. 14–15. На самом деле, католическая церковь

нием которой и была смена веры. Христианская религия освящала отречение от субъективного мира родового общества — более широкий божественный порядок был духовным дополнением более прочной земной власти. И здесь первая волна германских завоевателей воспроизводила такое же сочетание почтительного и одновременно отстраненного отношения к институтам империи. Они единодушно приняли арианство, а не католическую ортодоксию, и тем самым заявили о своей особой религиозной идентичности в рамках христианского мира. В результате, во всех ранних варварских королевствах германская церковь существовала «параллельно» с римской церковью. Нигде, кроме вандальской Африки, где была экспроприрована старая аристократия и вместе с ней подверглась репрессиям католическая церковь, не было арианских преследований католического большинства. Во всех других местах эти две веры мирно сосуществовали друг с другом, и прозелитизм между этими двумя сообществами в V веке в целом был минимальным. Более того, остготы в Италии и вестготы в Испании даже юридически осложнили принятие римлянами их арианской веры, чтобы сохранить разделение между этими народами.¹⁸ Германское арианство не было ни случайным, ни агрессивным: это был знак обособленности в рамках некоего признанного единства.

Таким образом, после того, как имперская оборона была окончательно сломлена, положительные экономические, политические и идеологические последствия первой волны варварских вторжений были сравнительно ограниченными. Сознвая несопоставимость того, что было ими разрушено, и что они могли построить, большинство германских правителей стремилось восстановить первоначально разрушенные ими римские строения. Наиболее выдающийся из них, остготский Теодорих, создал в Италии тщательно разработанную систему административного кондоминиума, занимался украшением своей столицы, покровительствовал постклассическому искусству и философии и в отношениях с другими государствами использовал традиционный имперский стиль. Вообще эти варварские королевства не слишком сильно изменили социальные, экономические и культурные структуры позднего римского мира. Они скорее раскололи его, чем слились с ним и преобразовали его. При-

не осуществляла никакой прозелитической деятельности по распространению христианства среди германских народов.

¹⁸ E. A. Thompson, 'The Conversion of the Visigoths to Catholicism', *Nottingham Mediaeval Studies*, IV, 1960, p. 30–31; Джонс, *Гибель античного мира*, с. 140.

мечательно, что наряду с другими важными сельскохозяйственными институтами Западной Империи, включая колонат, в них сохранилось и масштабное сельскохозяйственное рабство. Новая германская знать, естественно, не выказывала никаких симпатий к багаудам и при случае использовалась римскими землевладельцами, ставшими теперь их социальными партнерами, для их подавления. Только последний остготский вождь Тотила, столкнувшийся с победоносными византийскими армиями, обратился *in extremis* к освобождению рабов в Италии, — что само по себе свидетельствовало об их значении, — чтобы получить широкую поддержку в своей последней, отчаянной борьбе, закончившейся его гибелью.¹⁹ Помимо этого единичного случая вандалы, бургунды, остготы и вестготы в крупных поместьях, в которых они встретились с обрабатывавшими землю бригадами рабов, сохранили эту систему. На средиземноморском Западе сельскохозяйственное рабство по-прежнему оставалось важным экономическим явлением. Так, в вестготской Испании, по-видимому, имелось особенно много рабов, судя по юридически закрепленным нормам наказания за их провинности, и по тому, что они, вероятно, составляли большинство принудительно набранных служащих в постоянной армии.²⁰ Таким образом, хотя города продолжали приходить в упадок, сельская местность во многом оставалась нетрону-

¹⁹ Santo Mazzarino, 'Si puo Parlare di Rivoluzione Sociale alla Fine del Mondo Antico?', Centro Italiano di Studi Sull' Alto Medioevo, Settimani di Spoleto, IX, 6–12 April 1961, p. 415–416, 422. Автор полагает, что восставшие паннонские крестьяне участвовали в вандалско-аланских вторжениях галлов в 406 году, что явилось бы, таким образом, уникальным примером союза варваров и крестьян против имперского государства. Но на самом деле, соответствующее свидетельство источников V века относится, очевидно, к бывшим остготским федератам, которые временно осели среди местного населения. См.: Laszlo Varady, *Das Letzte Jahrhundert Pannoniens (376–476)*, Amsterdam 1969, p. 218ff. С другой стороны, предположение Томпсона, что римские власти в действительности могли в какой-то мере сознательно способствовать заселению Аквитании и Савойи вестготами и бургундами для сдерживания опасности местных багаудских восстаний, кажется очень натянутым: Thompson, 'The Settlement of the Barbarians in Southern Gaul', *The Journal of Roman Studies*, XLVI, 1956, p. 65–75.

²⁰ Thompson, 'The Barbarian Kingdoms in Gaul and Spain', p. 25–27; Robert Bourrache, *Seigneurie et Féodalité*, Paris 1959, I, p. 235. Правовые и военные аспекты вестготского рабства описаны в: Thompson, *The Goths in Spain*, Oxford 1969, p. 267–274, 318–319; подробнее см.: Charles Verlinden, *LEsclavage dans l'Europe Medievale*, I, Bruges 1955, p. 61–102.

той первой волной вторжений, если не считать неразберихи, порожденной войной и гражданскими беспорядками, и германские имена и крестьяне бок о бок сосуществовали со своими римскими прототипами. Наиболее показательным свидетельством ограниченности варварского проникновения на этом этапе было то, что оно не изменило языковой границы между латинским и тевтонским миром — ни в одной области римского Запада не произошло германизации языка под влиянием этих первоначальных завоевателей. Их пришествие — самое большое — просто разрушило римское господство в более отдаленных провинциях, позволив местным доримским языкам и культурам выйти на поверхность общественной жизни — в начале V века баскскому и кельтскому языкам удалось добиться больших успехов, чем германскому.

Продолжительность существования этих первоначальных варварских государств была не слишком большой. Франкская экспансия поработила бургундов и изгнала вестготов из Галлии. Византийские экспедиции разбили вандалов в Африке и после продолжительной войны истребили остготов в Италии. Наконец, исламские завоеватели свергли правление вестготов в Испании. От их поселений осталось не слишком много следов, если только не считать самого северного их оплота — Кантабрии. Но следующая волна германских переселений определила карту позднейшего западного феодализма глубоко и надолго. Тремя основными эпизодами этого второго этапа варварской экспансии были, конечно, завоевание Галлии франками, завоевание Англии англосаксами и — столетие спустя — приход ломбардов в Италию. Характер этих переселений отличался от переселений первой волны, как, вероятно, и их масштаб.²¹ В каждом случае это было сравнительно скромное движение непосредственно из сопредельной географической базы. Франки до того, как они проникли на юг, в Северную Галлию, населяли современную Бельгию. Англи и саксы проживали на северном побережье Германии напротив Англии; ломбарды до своего вторжения в Италию обитали в Нижней Австрии. Поэтому линии коммуникаций между завоеванными областями и местами первоначального поселения были короткими, и впоследствии постоянно могли прибывать дополнительные контингенты тех же или союзных племен, усиливая первых переселенцев. В результате, произошло медленное, постепенное продвижение в Галлии,

²¹ Сравнение двух волн переселения см.: Lucien Musset, *Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, Paris 1965, p. 116–117ff. Эта книга содержит наиболее ясное обобщенное изложение всего периода.

множество высадок в Англии, подробности которых мало известны, и последовательное перемещение на юг в Италии, которые позволили заселить эти бывшие римские области намного более плотно, чем во время первых военных прорывов эпохи гуннов. Только первоначальные ломбардские вторжения сохранили эпический характер собственно военного *Völkerwanderung*. Но даже они становились более медленными и рассеянными по мере дальнейшего продвижения, заходя дальше и глубже предшествующих остготских завоеваний. Хотя ломбардские силы, как и у их предшественников, были сосредоточены в северных равнинах, ломбарды впервые продвинули варварские поселения до глубокого юга Италии. Франкские и англосаксонские переселения представляли собой постепенную военную колонизацию областей, в которых фактически был политический вакуум. Северная Галлия спустя шестьдесят лет после того, как имперская система на Западе потерпела крах, оставалась оплотом последней, предоставленной своей судьбе римской армии. Римскому правлению в Британии не пришлось столкнуться с военным вызовом; оно спокойно сошло на нет, как только была прервана связь с континентом, и страна вновь распалась на отдельные молекулы кельтских племен. Глубину этих переселений второй волны можно оценить по степени языковых изменений, вызванных ими. Англия пережила германизацию *en bloc*, насколько простиралось англосаксонское заселение (кельтские окраины острова не оставили ни малейших следов в языке завоевателей), что свидетельствует о незначительной романизации этой самой северной области империи, которая никогда не охватывала здесь массу населения. На континенте граница языковой романизации была отодвинута на 50–100 миль от Дюнкерка до Базеля и на 100–200 миль к югу от Верхнего Дуная.²² Франки оставили порядка 500 слов во французском словаре, а ломбарды дали около 300 слов итальянскому языку (больше, чем вестготы, которые оставили всего 60 слов испанскому, и свевы, оставившими 4 слова португальскому). Культурные отложения второй волны завоеваний были намного более глубокими и длительными по сравнению с первой.

Одна из основных причин этого, конечно, состоит в том, что после первой волны возможность организованного сопротивления со стороны имперской системы на Западе была уже полностью исключена. Созданные этой первой волной государственные структуры были глубоко подражательными и хрупкими и по большей части даже не притязали на контроль над всей территорией, освобожден-

²² Musset, *Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, p. 171–181.

ной от римской системы. Последующие же переселения осуществлялись большой человеческой массой и привели к достаточному контролю над завоеванными землями, чтобы породить на Западе более цельные и прочные социальные формы. Жесткий и хрупкий дуализм V века постепенно исчез в VI веке (за исключением последнего оплота государств первого поколения — вестготской Испании, которая увяла в VII веке). Постепенно начался медленный процесс слияния, соединивший германские и римские элементы в новый синтез, который должен был изменить и те, и другие. Наиболее важный результат этого развития — появление новой сельскохозяйственной системы, — к сожалению, хуже всего освещен в последующей историографии. Сельская экономика меровингской Галлии и ломбардской Италии остается одной из наиболее темных глав в истории западного сельского хозяйства. Но о некоторых вещах в этот период можно говорить с полной уверенностью. Никто больше не обращался к системе *hospitalitas*. Ни франки, ни ломбардцы (ни, тем более, англосаксы) не перешли к подобному регулируемому разделению римской земельной собственности. Вместо этого, по-видимому, сложилась несколько аморфная двойственная система заселения. С одной стороны, и франкские, и ломбардские правители просто осуществляли конфискацию местных латифундий, отчуждая их в пользу королевской казны или распределяя их среди своих придворных. Сенаторская аристократия, которая сохранилась в Северной Галлии, отступила к югу от Луары еще до того, как Хлодвиг в 486 году разбил армию Сиагрия и вступил во владение доставшимися ему провинциями. В Италии ломбардские короли не предпринимали никаких попыток успокоения римских землевладельцев, которые подавлялись и уничтожались везде, где они препятствовали присвоению земли, а некоторые из них сами превращались в рабов.²³ Переворот в крупной земельной собственности во время второй волны вторжений был куда более значительным, чем во время первой. Но, с другой стороны, поскольку демографическая масса более поздних переселений была значительно большей, а темпы их продвижения были более медленными и постепенными, народная и крестьянская составляющая нового сельскохозяйственного порядка также была более заметной. Вероятно, именно в этот период деревенские общины, которые играли такую важную роль в последующем средневековом феодализме, получили широкое распространение во Франции и других местах. В обстановке неопределенности и анархии той эпохи ко-

²³ L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter*, II / ii, Gotha 1903, p. 2–3.

личество деревень выросло, а число вилл, как организованных производственных единиц, сократилось.

По крайней мере, в Галлии этот феномен может быть связан с двумя встречными процессами. Распад римского правления подорвал стабильность основного инструмента латинской сельской колонизации — систему вилл; из-под нее теперь пробился старый кельтский ландшафт с примитивными деревушками и крестьянскими жилищами, которых в романизированной Галлии было множество. В то же время переселение местных германских общин на юг и на запад — не обязательно военное — приводило к переносу на новую почву многих племенных сельскохозяйственных традиций, которые оказывались менее размытыми временем и ситуацией длительной миграции, чем в эпоху эпического первого *Völkerwanderung*. В результате, аллодиальные крестьянские наделы и общинные деревенские земли — прямое наследие северных лесов — появились и в поселениях новых переселенцев. С другой стороны, последующие войны эпохи Меровингов привели к появлению новых рабов, поступавших из пограничных областей Центральной Европы. Но точное соотношение имений германской знати, зависимых держаний, небольших крестьянских наделов, общинных земель, сохранившихся римских вилл и сельского рабства не поддается оценке из-за неразберихи и темноты этой эпохи. В то же время ясно, что в Англии, Франции и Италии свободное этническое крестьянство было одной из составляющих англосаксонских, франкских и ломбардских переселений, хотя доля его и не поддается определению. В Италии ломбардские крестьянские общины организовывались в виде военных колоний со своей автономной администрацией. В Галлии франкская знать получила земли и должности по всей стране в форме, которая заметно отличалась от франкских сельских поселений, и явно свидетельствующей, что простые переселенцы не обязательно были зависимыми арендаторами прежней страты оптиматов.²⁴ В Англии англо-саксонские вторжения привели к быстрому и полному краху системы вилл, которая из-за ограниченной романизации была здесь куда более слабой, чем на континенте. Но и там после переселений варварская знать и свободные крестьяне сосуществовали в различных комбинациях, при общей тенденции к росту зависимости на селе по мере появления более стабильных административно-территориальных единиц. В Англии более глубокая пропасть между римским и германским порядками, возможно, привела и к более резкому изменению в самих

²⁴ Musset, *Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, p. 209.

методах земледелия. Во всяком случае, форма англосаксонского сельского поселения отличалась от формы римского сельского хозяйства, которая предшествовала ему, и служила прообразом для некоторых важных изменений в более позднем феодальном сельском хозяйстве. Если римские имения обычно располагались в холмистой местности с более рыхлой почвой, которая была похожа на средиземноморскую и могла возделываться при помощи сохи, то англосаксонские хозяйства обычно располагались на равнинах с тяжелой, влажной почвой, которая распахивалась с помощью железного плуга; если римское сельское хозяйство имело значительную скотоводческую составляющую, то англосаксонские захватчики обычно расчищали большие участки леса и болота для земледелия.²⁵ Рассеянные кельтские деревни уступили место нуклеарным деревням, в которых индивидуальная собственность крестьянских хозяйств сочеталась с коллективным возделыванием открытых полей. Стоявшие же над этими поселениями местные правители и знать консолидировали свою личную власть, и к VII веку в англосаксонской Англии сложилась юридически закреплённая наследственная аристократия.²⁶ Таким образом, хотя вторая волна вторжений создала повсюду германскую аристократию, обладавшую имениями большими, чем когда-либо прежде, она также создала деревню с прочными общинами и мелкой крестьянской собственностью. В то же время она пополнила и сельское рабство за счет военнопленных.²⁷ Она еще неспособна была организовать эти различные элементы сельского хозяйства Темных веков в новый цельный способ производства.

В политическом отношении вторая волна вторжений обозначила или предвосхитила кончину дуалистического правления и права и отмирание римского юридического наследия. Ломбарды не пытались повторить в Италии опыт остготского дуализма. Они пересматривали гражданскую и правовую систему страны в областях, которые они занимали, распространяя новое право, записанное на латыни, но основанное на традиционных германских нормах, которое вскоре стало преобладать над римским правом. Меровингские короли сохранили двойную правовую систему, но с ростом анархии в эпоху их правления латинские воспоминания и нормы постепенно исчезали. Германское право постепенно становилось господствующим.

²⁵ H. R. Loyn, *Anglo-Saxon England and the Norman Conquest*, London 1962 p. 19–22.

²⁶ Loyn, *Anglo-Saxon England and the Norman Conquest*, p. 199 ff.

²⁷ О сохраняющейся роли рабов в поздние Темные века см.: Georges Duby, *Guerriers et Paysans*, Paris 1973, p. 41–43.

щим, а земельные налоги, унаследованные от Рима, которые больше не шли на какие-либо общественно полезные службы или на единое государство, перестали взиматься из-за противодействия населения и церкви. Налогообложение постепенно приходило в упадок во всех франкских королевствах. В Англии же римское право и администрация практически полностью исчезли еще до появления англосаксов, так что такой проблемы там и не возникло. Даже в вестготской Испании, единственном варварском государстве, истоки которого восходили к первой волне нашествий, дуалистические право и администрация прекратили свое существование в конце VII века, когда монархия в Толедо полностью отвергла римское наследие и подчинила все население видоизмененной готской системе.²⁸ С другой стороны, теперь произошло исчезновение и германского религиозного сепаратизма. Франки с крещением Хлодвига в конце V века после победы над аламанными приняли католицизм. Англосаксы постепенно были обращены в христианство римскими миссиями в VII веке. Вестготы в Испании отреклись от своего арианства с обращением Реккареда в 587 году. Ломбардское королевство приняло католицизм в 653 году. *Pari passu* с этими изменениями два класса землевладельцев — римский и германский — там, где они сосуществовали друг с другом, постепенно устанавливали родственные отношения и ассимилировались. Этот процесс сдерживался в Италии ломбардской исключительностью и византийским реваншизмом, которые исключали установление сколько-нибудь прочного мира на полуострове, и конфликт между которыми заложил основу для постоянного разделения на север и юг в более поздние эпохи. Но в Галлии этот процесс при меровингском правлении неуклонно прогрессировал, и к началу VII века он был в основном завершен — консолидировалась единая сельская аристократия, которая больше не была по своему менталитету ни сенаторской, ни дружинной. Подобное слияние римского и германского элементов в церкви заняло куда большее время: на протяжении большей части VI века практически все епископы в Галлии были римлянами, и полного этнического слияния в церковной иерархии не было до VIII века.²⁹

Но вытеснение простых дуалистических механизмов аккомодации к римским имперским формам само по себе не привело в более поздние Темные века к сколько-нибудь ясной и прочной новой

²⁸ О возможной социальной основе этого процесса см.: Thompson, *The Goths in Spain*, p. 216–217.

²⁹ Musset, *Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, p. 190.

политической формуле. Прежде всего, отказ от развитых традиций классической античности привел к регрессу в сложности и развитости государств-преемников, усугубленному с начала VII века последствиями исламской экспансии в Средиземноморье, которая положила конец торговле и привела к сельской изоляции Западной Европы. Возможно, климатические улучшения в VII веке, принесшие более теплую и сухую погоду в Европу, и начало демографического роста, начали благотворно сказываться на сельском хозяйстве.³⁰ Но в политической неразберихе той эпохи признаки такого прогресса были едва различимы. Чеканка золотой монеты исчезла после 650 года, что стало следствием постоянного дефицита в торговле с византийским Востоком, а также арабских завоеваний. Меровингская монархия оказалась неспособной сохранить контроль над чеканкой, которая стала рассредоточиваться и вырождаться. Государственное налогообложение в Галлии было предано забвению; дипломатия стала более жесткой и ограниченной; управление было примитивным и децентрализованным. Ломбардские государства в Италии, расколотые и ослабленные византийскими анклавами, оставались примитивными и находились в постоянной обороне. В этих условиях, возможно, главным позитивным достижением варварских государств было завоевание самой Германии до Везера меровингскими кампаниями в VI веке.³¹ Эти завоевания впервые включили родину переселенцев в один политический мир с бывшими имперскими областями и тем самым объединили две зоны, столкновение между которыми дало начало Средневековью, в единый территориальный и культурный порядок. Снижение институционального уровня городской цивилизации во франкской Галлии сопровождалось и сделало возможным ее относительное возвышение в баварской и алеманнской Германии. Но даже в этой области меровингское правление было необычайно грубым и бедным — ни грамотности, ни денег, ни христианства не было введено наместниками, посылавшимися править на том берегу Рейна. По своим экономическим, социальным и политическим

³⁰ Эта гипотеза выдвинута Дюби: *Duby, Guerriers et Paysans*, p. 17–19, 84–5. Но у нас нет достаточно данных, чтобы делать сколько-нибудь надежные выводы. Дюби вообще слонен предлагать более оптимистичное видение этой эпохи, чем другие историки. Так, исчезновение золотой монеты он считает признаком возрождения торговли, а мелкую серебряную монету — признаком более гибких и частых торговых сделок, что полностью противоречит традиционным представлениям о меровингской денежной системе.

³¹ *Musset, Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, p. 130–132.

структурам Западная Европа оставила позади шаткий дуализм первых десятилетий после завершения античной эпохи; произошел грубый процесс смешения, но результаты его все еще оставались неоформленными и разнородными. Ни простое соседство, ни грубое смешение не могли создать нового общего способа производства, способного вывести из тупика рабства и колоната, а вместе с ним и нового цельного общественного строя. Иными словами, этого можно было достичь только в результате подлинного *синтеза*. И лишь немногие признаки возвещали тогда о наступлении такого исхода. Наиболее примечательным было появление в пограничных областях между Галлией и Германией, очевидное уже в VI веке, полностью новых антропонимических и топонимических систем, соединявших германские и римские языковые элементы в организованные единицы, чуждые им обоим.³² Разговорный язык, вовсе не следуя постоянно за материальными изменениями, иногда может их предвосхищать.

3. В НАПРАВЛЕНИИ СИНТЕЗА

Историческим синтезом, который и произошел в конечном итоге, был, конечно, феодализм. Сам термин — *Synthese* — принадлежит Марксу, наряду с другими историками того времени.³³ Катастрофическое столкновение двух распадавшихся предшествовавших способов производства — первобытного и античного — в конечном итоге создало феодальный строй, который распространился по всей средневековой Европе. То, что западный феодализм был специфическим результатом сплава римского и германского наследий, было очевидно уже для мыслителей эпохи Возрождения, когда его происхождение впервые начало обсуждаться.³⁴ Современные споры по этому вопросу восходят к эпохе Просвещения и Монтескье, который заявил о германских истоках феодализма. С тех пор проблема точных

³² Musset, *Les Invasions. Les Vagues Germaniques*, p. 197.

³³ В основном изложении своего исторического метода Маркс говорит о результатах германских завоеваний как процессе «взаимодействия» (*Wechselwirkung*) и «соединения» (*Verschmelzung*), который породил новый «способ производства» (*Produktionsweise*), представлявший собой «синтез» (*Synthese*) двух его предшественников: Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 12, с. 723–724.

³⁴ О дебатах эпохи Возрождения см.: D. R. Kelley, 'De Origine Feudorum: The Beginnings of a Historical Problem', *Speculum*, XXXIX, April 1964, No. 2. p. 207–228; взгляды Монтескье см.: О духе законов, кн. XXX–XXXI.

«пропорций» в смеси романо-германских элементов, которая, в конечном счете, породила феодализм, распалая страсти среди смеявшихся друг друга поколений националистических историков. Фактически, даже сам характер описания конца античности зачастую менялся в зависимости от патриотизма описывающего. Для Допша, писавшего в Австрии после Первой мировой войны, крах Римской империи был просто кульминацией многовекового мирного поглощения ее германскими народами: он воспринимался жителями Запада как спокойное освобождение.. «Римский мир постепенно был завоеван изнутри германцами, которые мирно проникали в него на протяжении многих веков и осваивали его культуру, зачастую управляя им, так что устранение его политического господства было просто окончательным следствием продолжительного процесса перемен, вроде изменения номенклатуры предприятия, старое название которого давно перестало отражать то, кто является реальными директорами концерна... Германцы не были врагами, разрушившими или стершими с лица земли римскую культуру; напротив, они сохранили и развили ее».³⁵ Для Лота, писавшего во Франции приблизительно в то же время, напротив, конец античности был невообразимым крахом, гибелью самой цивилизации — германский закон был ответственен за «бесконечное, необузданное, бешеное насилие» и «непрочность собственности» последующей эпохи, «отвратительная развращенность» которой сделала ее «поистине проклятым периодом истории».³⁶ В Англии, где не было никакой конфронтации, а была просто цезура между римским и германским порядками, споры велись о норманнском завоевании, а Фримен и Раунд полемизировали об относительных достоинствах «англосаксонского» или «латинского» вклада в местный феодализм.³⁷ Тлеющие угли этих споров

³⁵ Alfons Dopsch, *Wirtschaftliche und Sociale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Grossen*, Vienna 1920–1923, Vol. I, p. 413.

³⁶ Ferdinand Lot, *La Fin du Monde Antique et le Début du Moyen Age*, Paris 1952 (reedition), p. 462, 469, 463. Лот завершил свою книгу в конце 1921 года.

³⁷ По Фримену, «норманнское завоевание было временным прекращением нашего национального существования. Но это было только временное прекращение. Поверхностному наблюдателю может показаться, что английский народ перестал существовать или стал рабом чужеземных правителей на своей же земле. Но за несколько поколений мы сами покорили наших завоевателей, и Англия вновь стала Англией». Edward A. Freeman, *The History of the Norman Conquest of England, Its Causes and Results*, Oxford 1867, Vol. I, p. 2. Панегирику англо-саксонскому наследию Фримана было противопоставлено немногим менее стра-

все еще вспыхивают сегодня; недавно на проведенной в России конференции этот вопрос вызвал жаркое обсуждение советских историков.³⁸ На самом деле, конечно, определение точных пропорций романских или германских элементов в чистом феодальном способе производства имеет намного меньшее значение, чем их распределение в различных социальных формациях, которые появились в средневековой Европе. Иными словами, как мы увидим, необходима *типология*, а не простая генеалогия европейского феодализма.

Изначальное происхождение определенных феодальных институтов в любом случае кажется слишком запутанным, принимая во внимание неоднозначность источников и параллелизм в развитии двух предшествующих социальных систем. Так, вассальная зависимость может уходить своими корнями либо в германский *comitatus*, либо в галло-римскую *clientela*—две формы аристократической дружины или свиты, которые существовали по обе стороны Рейна задолго до гибели империи, и которые обе, несомненно, внесли свой вклад в возникновение вассальной системы.³⁹ Бенефиции, с которым они,

стное превознесение Раундом норманнского нашествия. В 1066 году «продолжительное разъедающее воздействие мира сделало свое дело. Земля созрела для захватчика, и спаситель не замедлил явиться»; норманнское завоевание, в конечном счете, принесло в Англию «нечто большее, чем гласят сухие записи нашей скудной хроники». J. H. Round, *Feudal England*, London 1964 (reedition), p. 304–305, 247.

³⁸ См. большую дискуссию в: Средние века, вып. 31, 1968, по поводу доклада А. Д. Люблинской «Типология раннего феодализма в Западной Европе и проблема романо-германского синтеза» (с. 17–44). В ней приняли участие О. Л. Вайнштейн, М. Я. Сюзюмов, Ю. Л. Бессмертный, А. П. Каждан, М. Д. Лордкипанидзе, Е. В. Гутнова, С. М. Стам, М. Л. Абрамсон, Т. И. Десницкая, М. М. Фрейденберг и В. Т. Сиротенко. Отметим, в частности, тон выступлений Вайнштейна и Сюзюмова, отстаивавших—соответственно—варварский и имперский вклад в феодализм; последний—византист—выступал в явно антигерманском ключе. Вообще советские византисты, по-видимому, в силу профессиональных пристрастий склонны придавать большее значение античности в феодальном синтезе. Ответ Люблинской на это обсуждение был спокойным и взвешенным.

³⁹ Ср.: Dopsch, *Wirtschaftliche und Sociale Grundlagen*, II, p. 300–2, с М. Блок, *Феодальное общество*, М., 2003, с. 144–149. Промежуточными формами были галло-римские *bucellarii* или телохранители, франкские *antrustiones* (дворцовая стража) или *leudes* (военные слуги). О последних см.: Carl Stephenson, *Mediaeval Institutions*, Ithaca 1954, p. 225–227; автор считает *leudes* прямыми предками каролингских *vassi*.

в конечном счете, соединились, чтобы сформировать феодал, точно так же могут восходить к поздним римским церковным практикам и к германским племенным разделам земли.⁴⁰ С другой стороны, манор явно происходит из галло-римского *fundus* или *villa*, которые не имели никакого соответствия в варварском мире — крупные, обособленные имения, которые возделывались зависимыми крестьянами *coloni*, отдававшими часть урожая в натуральном виде крупным землевладельцам, явно были прообразом хозяйства домена.⁴¹ Общинные анклавы средневековой деревни, напротив, были в основном германским наследием, сохранившимся от первоначальных лесных систем при общей эволюции варварского крестьянства через аллодиальное к зависимому состоянию. Крепостничество, вероятно, происходит одновременно из классического статуса *colonus* и из медленного вырождения свободных германских крестьян путем квазипринудительной «коммендации» клановым воинам. Правовая и конституционная система, которая сложилась в эпоху Средневековья, также была гибридной. Народный суд и традиция формально взаимных обязательств между правителями и управляемыми в племенной общине оказали большое влияние на правовые структуры феодализма даже там, где, как во Франции, народных судов в собственном смысле слова не осталось. Сословная система, сложившаяся позднее в феодальных монархиях, многим была обязана, в частности, и этому. С другой стороны, римское наследие кодифицированного и письменного права также имело большое значение для правового синтеза Средневековья, а соборное наследие классической христианской церкви сыграло важную роль в развитии сословной системы.⁴² Составлявший вершину средневековой политики институт феодальной монархии первоначально представлял собой неустойчивую смесь германского военного вождя, полуизбираемого и с зачаточными гражданскими функциями, и римского имперского прави-

⁴⁰ Dopsch, *Wirtschaftliche und Sociale Grundlagen*, II, p. 331–336.

⁴¹ Dopsch, *Wirtschaftliche und Sociale Grundlagen*, I, p. 332–339. Этимология ключевых терминов европейского феодализма может пролить какой-то свет на их различные истоки. «Феодал» происходит от древнегерманского *vien*, слова для обозначения стада. «Вассал» происходит от кельтского *kwas*, первоначально означавшего раба. С другой стороны, «деревня» (*'village'*) происходит от римской *villa*, «крепостной» (*'serf'*) — от *servus*, а «манор» — от *mansus*.

⁴² Такое происхождение подчеркивается в: Hintze, 'Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung', in Otto Hintze, *Gesammelte Abhandlungen*, Vol. I, Leipzig 1941, p. 134–135.

теля, священного самодержца, наделенного безграничными полномочиями и обязанностями.

Базисный и надстроечный комплекс, который должен был после краха и неразберихи Темных веков образовать общую структуру феодальной тотальности в Европе, таким образом, имел глубоко двойственное происхождение. Но единственным институтом, который оставался, в сущности, неизменным на всем протяжении перехода от античности к средневековью, была христианская церковь. На деле она была важнейшим, хотя и слабым акведуком, через который содержимое культурных резервуаров классического мира перетекло теперь в новый мир феодальной Европы, где грамотность стала церковной. Странный исторический объект *par excellence*, особая темпоральность которого никогда не совпадала с простой последовательностью перехода от одной экономики или политики к другим, но которая при этом пересекалась со многими из них — и пережила их — в своем собственном ритме, церковь так и не получила теоретического осмысления в историческом материализме.⁴³ У нас нет возможности восполнить здесь этот недостаток. Но нужно сделать несколько кратких замечаний касательно ее роли в переходе от античности к феодализму, так как в большинстве исторических описаний этой эпохи она либо переоценивается, либо недооценивается. В эпоху поздней античности христианская церковь, как уже было показано, внесла значительный вклад в ослабление сопротивления римской имперской системы. И этому способствовали не деморализующие учения или внемирские ценности, как полагали историки эпохи Просвещения, а ее значительный мирской вес. Ибо обширный церковный аппарат, который она породила в поздней империи,

⁴³ Возникшая в послеплеменном этническом меньшинстве, одержавшая триумфальную победу в поздней античности, господствовавшая при феодализме, пришедшая в упадок и возродившаяся вновь при капитализме, римская церковь пережила все остальные институты — культурные, политические, юридические или лингвистические, — исторически сосуществовавшие с ней. Энгельс оставил несколько мыслей об этой долгой одиссее (Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 21, с. 313–316); но он ограничился простой фиксацией зависимости ее мутаций от общей истории способов производства. Ее собственная региональная автономия и ни с чем не сравнимая способность к приспособлению требуют серьезного изучения. Лукач полагал, что все дело было в относительном постоянстве отношения человека к природе, невидимой основе религиозного космоса. Но он оставил только случайные замечания по этому вопросу. См.: Г. Лукач, *История и классовое сознание*, М., 2003, с. 315.

был одной из главных составляющих паразитического давления, истощившего римскую экономику и общество. Ведь к уже существующему репрессивному бремени светского государства присоединилась вторая, дополнительная бюрократия. К VI веку епископов и духовенства в империи было намного больше, чем административных чиновников и функционеров государства, и они получали намного более высокое жалование.⁴⁴ Невыносимое бремя этого раздутого аппарата было главной причиной краха империи. Прозрачный тезис Гиббона, что христианство было одной из двух основных причин падения Римской империи, — яркое проявление идеализма Просвещения — таким образом, может быть пересмотрен сегодня в материалистическом ключе.

Тем не менее, именно в церкви появляются первые признаки освобождения техники и культуры от ограничений мира, основанного на рабстве. Необычайные достижения греко-римской цивилизации были собственностью небольшой правящей страты, полностью оторванной от производства. Ручной труд отождествлялся с рабством и *eo ipso* вырождался. В экономическом отношении рабовладельческий способ производства вел к техническому застою: в нем не было никаких стимулов к трудосберегающим улучшениям.

Мы уже видели, что на всем протяжении истории Римской империи сохранялась александрийская технология — было сделано не много серьезных изобретений, и ни одно из них не получило широкого применения. С другой стороны, в культурном отношении рабство сделало возможной зыбкую гармонию человека и мира природы, которой были отмечены искусство и философия классической древности — бездумное освобождение от труда было одной из предпосылок безмятежного отсутствия противоречий с природой. Тяжкий труд материального преобразования или даже руководства этим преобразованием, являющийся субстратом общества, по сути, был исключен из сферы его культуры. Но блистательное интеллектуальное и культурное наследие Римской империи не только сопровождалось техническим застоем: оно еще и изначально ограничивалось узкой прослойкой правящих классов метрополии и провинций. Наиболее показательным примером его вертикальной ограниченности служит то, что значительная масса населения в языческой империи не знала латыни. Язык управления и сама грамотность были монополией небольшой элиты. И именно возвышение христианской церкви впервые сигнализировало о подрыве и изменении этого положения ве-

⁴⁴ Джонс, *Гибель античного мира*, с. 375–376, 533.

щей. Ибо христианство разорвало союз между человеком и природой, духом и миром плоти, потенциально развернув отношения между ними в двух противоположных, болезненных направлениях: аскетизма и активизма.⁴⁵ В то же время победа церкви в поздней империи сама по себе не привела к немедленному изменению традиционного отношения к технологии или к рабству. Амброзий Миланский выразил новое официальное мнение, объявив даже чисто теоретические науки, вроде астрономии и геометрии, нечестивыми: «Нам неизвестны тайны императора, и мы еще притязаем на знание тайн Господа».⁴⁶ Точно так же отцы церкви от Павла до Иеремии единодушно принимали рабство, просто советуя рабам подчиняться своим господам, а господам — быть справедливыми к своим рабам — в конце концов, в этом мире и не может быть подлинной свободы.⁴⁷ На деле церковь в эти века зачастую сама была крупным институциональным рабовладельцем, а ее епископы могли иногда отстаивать свои законные

⁴⁵ Этот разрыв, конечно, был свойственен не только новой религии, но распространялся также на традиционное язычество. Это отмечает Браун: «После поколений внешне удовлетворительной публичной деятельности, все выглядело так, словно поток, гладко перетекавший из внутреннего мира человека в мир внешний, прервался. Тепло испарилось из знакомой среды... Классическая маска больше не подходила огромному и непостижимому ядру мира». Brown, *The World of Late Antiquity*, p. 51–52. Но, как показывает сам Браун, наиболее сильным языческим ответом на него был неоплатонизм, последняя доктрина внутреннего примирения между человеком и природой, первая теория чувственной красоты, заново открытая и освоенная в другую эпоху Возрождением.

⁴⁶ E. A. Thompson, *A Roman Reformer and Inventor*, Oxford 1952, p. 44–45.

⁴⁷ Энгельс язвительно замечал, что: «Христианство совершенно не повинно в постепенном отмирании античного рабства. Оно в течение целых столетий уживалось в Римской империи с рабством и впоследствии никогда не препятствовало работоторговле у христиан»; см.: Маркс, Энгельс, Соч., т. 21, с. 149. Это суждение отдает излишней безапелляционностью, как можно увидеть из более тонкого анализа отношения церкви к рабству у Блока: Bloch, 'Comment et Pourquoi Finit l'Esclavage Antique?' (особ. p. 37–41). Но основные выводы Блока не слишком отличаются от выводов Энгельса, несмотря на необходимые уточнения, которые он добавляет к ним. Более свежий и подтверждающий такую точку зрения анализ отношения раннего христианства к рабству см.: Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, p. 149–162; A. Hadjinicolaou-Marava, *Recherches sur la Vie des Esclaves dans le Monde Byzantin*, Athens 1950, p. 13–18.

права на беглых рабов даже с большим, чем обычное, карательным рвением.⁴⁸ Но на окраинах самого церковного аппарата рост монашества указывал в другом возможном направлении. Египетское крестьянство имело традицию уединенного проживания в пустыне или *анахорезиса* как формы протеста против сбора налогов и другого социального зла; в конце III века н.э. она была преобразована Антонием в аскетическое религиозное анахоретство. Затем в начале IV века в возделываемых областях близ Нила Пахомием создается общинное монашество, в котором сельскохозяйственный труд и образование были также обязательны, как молитвы и пост,⁴⁹ а в 370-х годах Василий впервые связал аскетизм, ручной труд и интеллектуальное наставление в едином монашеском уставе. Но хотя это развитие можно ретроспективно рассматривать как один из первых признаков медленного преобразования социального отношения к труду, рост монашества в поздней Римской империи, вероятно, только усугубил экономический паразитизм церкви, частично лишив производство трудовых ресурсов. И потом оно не играло особенно тониизирующей роли в византийской экономике, где восточное монашество вскоре стало, в лучшем случае, просто созерцательным, а в худшем — бесполезным и обскурантистским. С другой стороны, перенесенные на Запад и заново озвученные Бенедиктом Нурсийским из темных глубин VI столетия, монашеские принципы, начиная с поздних Темных веков, оказались организационно действенными и идеологически влиятельными. Дело в том, что в западных монашеских орденах интеллектуальный и ручной труд сочетались в служении Богу. Тяжелый труд в сельском хозяйстве обрел достоинство божественного служения и производился грамотными монахами: *laborare est orare*. Вместе с этим, несомненно, пало одно из культурных препятствий техническому изобретению и прогрессу. Было бы ошибкой связывать эту перемену с каким-то самодостаточным влиянием церкви⁵⁰ — различного развития событий

⁴⁸ См., напр.: Thompson, *The Goths in Spain*, p. 305–308.

⁴⁹ D.J. Chitty, *The Desert a City*, Oxford 1966, p. 20–21, 27. Прискорбно, что, вероятно, единственное полноценное исследование раннего монашества оказалось столь последовательно благочестивым по своему подходу. Замечания Джонса по поводу разнородных сведений о монашестве в эпоху поздней античности точны и проникательны: Джонс, *Гибель античного мира*, с. 374–375.

⁵⁰ В этом состоит основной недостаток статьи: Lynn White, 'What Accelerated Technological Progress in the Western Middle Ages?', in A.C. Crombie (ed.), *Scientific Change*, London 1963, p. 271–291. Это — смелое исследование последствий монашества, в некоторых отношениях превосходящее «Средневековую

на Востоке и Западе достаточно, чтобы прояснить, что в конечном итоге весь комплекс социальных отношений, а не только религиозный институт определил экономическую и культурную роль монашества. Его производственная карьера могла начаться только после того, как распад классического рабства освободил элементы для иной динамики, достигнутой с формированием феодализма. И в этом трудном переходе поражает как раз гибкость церкви, а не ее ригоризм.

Но в то же самое время церковь, несомненно, несла более прямую ответственность за другое громадное постепенное преобразование, произошедшее в последние века империи. Сама вульгаризация и разложение классической культуры, осуждавшиеся Гиббоном, на самом деле были частью огромного процесса ее ассимиляции и адаптации к более широкому населению, которому суждено было одновременно и погубить и спасти ее в условиях краха ее традиционной инфраструктуры. Наиболее поразительное проявление этой передачи культуры опять-таки связано с языком. Вплоть до III века крестьяне Галлии или Испании говорили на своих кельтских языках, не проникаемых для культуры классического правящего класса, и любое германское завоевание этих провинций в это время имело бы совершенно иные последствия для более поздней европейской истории. Но с христианизацией империи в IV–V веках епископы и духовенство западных провинций, обратившие в христианскую веру многочисленное сельское население, глубоко латинизировали его речь.⁵¹

технологии и социальные изменения» этого автора, поскольку техника в нем не фетишизируется в исторически самостоятельную силу, а, по крайней мере, связывается с социальными институтами. Утверждение Уайта о важности идеологического разодушевления природы христианством в качестве предпосылки последующей технологической трансформации кажется соблазнительным, но в нем упускается тот факт, что еще большее «разколдовывание мира», произошедшее вскоре после этого в исламе, не оказало заметного влияния на мусульманскую технологию. Значение монашества как средства размышления классической трудовой системы не следует переоценивать.

⁵¹ Brown, *The World of Late Antiquity*, p. 130. Эта работа в каком-то смысле является лучшим за многие годы осмыслением конца классической эпохи. Одной из основных тем в ней является живая и творческая передача классической культуры христианством, которое создало типичное искусство поздней античности, низшим сословиям в последующие столетия. Понижение социальной и интеллектуальной планки было целительным испытанием, которое спасло ее. Примечательно сходство этой точки зрения, наиболее убедительно изложенной Брауном, с известным представлением Грамши об отношениях

В результате этой популяризации появились романские языки, одно из основных связующих звеньев между античностью и средневековьем. Чтобы оценить важность этого достижения, достаточно представить себе последствия германского завоевания этих западных провинций, если бы они не испытали до этого серьезной латинизации.

Это главное достижение ранней церкви указывает на ее истинные место и роль в переходе к феодализму. Ее самостоятельную действенность следует искать не в области экономических отношений или социальных структур, где ее иногда по ошибке искали, а в культурной сфере над ними — во всей ее и ограниченности, и необъятности. Цивилизация классической древности отличалась развитием крайне изоциренных и сложных надстроек над сравнительно неизменным грубым и простым базисом; в греко-римском мире всегда существовало поразительное несоответствие между величественным интеллектуальным и политическим небосводом и ограниченной экономической почвой, лежащей под ним. И когда наступил его окончательный крах, было совершено не очевидно, что его надстроечное наследие, полностью оторванное теперь от породивших его социальных реалий, все же сохранится, пусть и в измененном виде. Для этого нужен был особый носитель, достаточно отдаленный от классических институтов античности, хотя и сформированный в них, и потому способный избежать полного краха для передачи таинственных посланий из прошлого менее развитому будущему.

Эта роль объективно и выполнялась церковью. В некоторых ключевых отношениях надстроечная цивилизация античности сохраняла за собой превосходство над цивилизацией феодализма на протяжении целого тысячелетия — вплоть до эпохи, которая сознательно объявила себя ее Возрождением, указав тем самым на произошедший в промежутке откат. Условием сохранения ее влияния в хаотичную и примитивную эпоху Темных веков была прочность церкви. Ни один другой динамичный переход от одного способа производства к другому не сопровождался подобными сложными «перекосами» в развитии надстройки; равным образом ни при одном другом не было сопоставимого института, соединявшего основанные на разных способах производства общества.

между Возрождением и Реформацией. Грамши полагал, что культурный блеск Возрождения, утонченность аристократической элиты, неизбежно должны были быть огрублены и размыты в обскурантизме Реформации, чтобы прийти до масс, а затем, в конечном итоге, возродиться на более широкой и свободной основе. Gramsci, *Il Materialismo Storico*, Turin 1966, p. 85.

Таким образом, церковь была необходимым мостом между двумя эпохами при «катастрофическом», а не «кумулятивном» переходе от одного способа производства к другому (структура которого неизбежно *in toto* отличалась от перехода от феодализма к капитализму). Примечательно, что она была официальным наставником первой систематической попытки «обновления» империи на Западе, каролингской монархии. С каролингским государством и начинается история феодализма в собственном смысле слова. Ибо эти огромные идеологические и административные усилия по «обновлению» имперской системы старого мира на самом деле, как это часто было в истории, как раз наоборот, содержали в себе и скрывали неосознанное закладывание основ новой системы. Именно в каролингскую эпоху были предприняты основные шаги в формировании феодализма.

Но впечатляющая экспансия новой франкской династии давала лишь слабые намеки на то, какое наследие она оставит Европе. Ее главной темой было политическое и военное объединение Запада. Победа Карла Мартелла над арабами в битве при Пуатье в 733 году остановило продвижение ислама, который только что поглотил государство вестготов в Испании. Затем в течение каких-то тридцати лет Карл Великий захватил ломбардскую Италию, завоевал Саксонию и Фрисландию, а также поглотил Каталонию. Тем самым он стал единственным правителем христианского мира за пределами Византии, если не считать недоступного побережья Астурии. В 800 году он принял давно забытый титул императора Запада. Каролингская экспансия была не просто приращением территорий. Ее имперские притязания сопровождалась реальным административным и культурным возрождением на всем пространстве континентального Запада. Чеканка монеты с восстановлением централизованного контроля подверглась реформированию и стандартизации. В тесной координации с церковью каролингская монархия способствовала восстановлению литературы, философии, искусства и образования. В языческие земли за пределами империи направлялись религиозные миссии. Новая широкая зона фронта в Германии, расширившаяся с покорением саксонских племен, впервые стала объектом пристального внимания и последовательной христианизации — программа, которой способствовал перевод каролингского двора на восток, в Ахен, посередине между Луарой и Эльбой. Кроме того, на все земли от Каталонии до Шлезвига и от Нормандии до Штирии была наложена сложная и централизованная административная сеть. Ее основными единицами были графства, созданные на основе старых римских *civitates*. Для управления этими областями графами назна-

чались доверенные представители знати, обладавшие военными и судебными полномочиями с ясным и четким делегированием государственной власти, которая всегда могла быть отозвана императором. Во всей империи было, наверное, 250–350 таких должностей; их носителям не выплачивалось никакого жалования, но они получали долю местных королевских доходов и земельные пожалования в графстве.⁵² Графские карьеры не ограничивались какой-то одной областью — способного представителя знати могли направлять в различные области, хотя на практике отзывы с должности или переводы случались нечасто. Браки среди знати и перемещение семей землевладельцев из разных областей империи создали определенную социальную основу для «надэтнической» аристократии, придерживавшейся имперской идеологии.⁵³ Одновременно над региональной системой графств возвышалась менее крупная центральная группа религиозных и светских магнатов, привлекавшихся в основном из Лотарингии и Эльзаса и нередко близких к личному окружению самого императора. Они обеспечивали *missi dominici*, мобильный резерв непосредственных имперских агентов, направлявшихся полномочными представителями для разрешения особенно сложных вопросов в отдаленных провинциях. *Missi* стали регулярным институтом правления Карла Великого после 802 года. Обычно направляемые парой, они все чаще набирались из числа епископов и аббатов, дабы оградить их от местного давления на их миссии. Именно они в принципе обеспечивали действительную интеграцию обширной сети графств. В стремлении исправить традиции откровенной безграмотности, унаследованной от Меровингов, возросло использование письменных документов.⁵⁴ Но на практике это был механизм, работа которого, в отсутствие сколько-нибудь серьезной придворной бюрократии, способной обеспечить безличную интеграцию системы, всегда была крайне медленной и неповоротливой и страдала от множества изъянов и проволочек. Тем не менее, принимая во внимание тогдашнюю обстановку, охват и масштаб каролингских административных идеалов был серьезным достижением.

Но реальные и потенциальные новшества этой эпохи состояли в другом — в постепенном появлении фундаментальных институтов феодализма *под* аппаратом имперского правления. Меровингской Галлии были известны и присяга личной верности правящему мо-

⁵² F. L. Ganshof, *The Carolingians and the Frankish monarchy*, London 1971, p. 91.

⁵³ H. Fichtenau, *The Carolingian Empire*, Oxford 1957, p. 110–113.

⁵⁴ Ganshof, *The Carolingians and the Frankish monarchy*, p. 125–135.

нарху, и предоставление королевских земель приближенным представителям знати. Но они так никогда и не слились в единую и значимую систему. Меровингские правители обычно предоставляли имения своим верным слугам напрямую, используя для таких дарений церковный термин «бенефиция». Позднее многие имения, предоставлявшиеся таким образом, были конфискованы у церкви арнульфingами для получения дополнительных войск для своих армий;⁵⁵ хотя церковь и получила компенсацию с введением Пипином III десятины, единственного подобия всеобщего налога во франкском государстве. Но именно в эпоху Карла Великого произошел важнейший синтез между земельными дарениями и обязательствами служения. В конце VIII века происходило постепенное сплавление «вассалитета» (обещания личной верности) и «бенефиции» (пожалования земель), а в IX веке «бенефиция», в свою очередь, стала все больше срачиваться с «честью» (должностью и юрисдикцией).⁵⁶ Пожалования земель правителями перестали служить дарами, превращаясь в условные держания, предоставлявшиеся в обмен на клятву в верности и службу; схожие юридические изменения касались и нижестоящих административных должностей. В сельской местности теперь сложился класс *vassi dominici*, непосредственных вассалов императора, которые получили свои бенефиции от самого Карла Великого, сформировав местный землевладельческий класс, разбросанный по графствам империи. Именно эти королевские *vassi*, которые каждый год призывались для службы в постоянных зарубежных кампаниях Карла Великого, составляли ядро каролингской армии. Но система распространилась далеко за пределы верности непосредственно императору. Другие вассалы были держателями бенефиций князей, которые сами были вассалами вышестоящего правителя. В то же время правовой «иммунитет», первоначально предоставленный церкви (юридические изъятия из действия германских «правд», восходящие к началу Темных веков), стал распространяться и на воинов-мирян. Поэтому вассалы, наделенные таким иммунитетом, были защищены от вмешательства графа в их владения. Конечным итогом сходящихся, ведущих к одному результату, процессов было появление «феода» как землевладения, сопряженного с соответствующими юридическими и политическими полномочиями, пожалованного в обмен на военную службу. Развитие примерно в то же время тяжеловоору-

⁵⁵ D. Bullough, *The Age of Charlemagne*, London 1965, p. 35–36.

⁵⁶ L. Halphen, *Charlemagne et l'Empire Carolingien*, Paris 1949, p. 198–206, 486–493; Boutruche, *Seigneurie et Féodalité*, I, p. 150–159.

женной кавалерии способствовало консолидации новых институциональных связей, хотя и не было причиной их появления. Потребовалось еще столетие, чтобы на Западе сформировалась и укоренилась полноценная система феодальных владений; но ее первое ядро несомненно было различимо уже при Карле Великом.

Между тем постоянные войны королевства ложились все более тяжким бременем на массу сельского населения. Условиями существования свободных воинов-земледельцев в традиционном германском обществе были подсеčno-огневое земледелие и война, которая была локальной и сезонной. Как только произошла стабилизация сельских поселений, а военные кампании стали более продолжительными и требующими перемещения на дальние расстояния, материальная основа социального единства войны и земледелия неизбежно была разрушена. Война стала прерогативой конной знати, тогда как оседлое крестьянство трудилось у себя дома, поддерживая постоянный ритм земледелия, не имея оружия и неся на своих плечах бремя снабжения королевских армий.⁵⁷ В результате произошло общее ухудшение положения массы крестьянского населения. В этот период сформировалась также типичная феодальная единица производства, обрабатываемая зависимыми крестьянами. Каролингская империя практически была громадным замкнутым внутриконтинентальным пространством и, несмотря на свои средиземноморские и североморские рубежи, вела минимальную внешнюю торговлю и имела очень вялое денежное обращение. И экономическим ответом на изоляцию было развитие манориальной системы. *Villa* в государстве Карла Великого уже предвосхитила структуру манора раннего средневековья — большое автаркическое имение, состоящее из личного хозяйства собственника и множества мелких крестьянских наделов. Размер этих владений знати или церкви зачастую был очень значительным — порядка 2000–4000 акров. Урожаи оставались крайне низкими; при таких примитивных методах возделывания даже отношение 1:1 не было редкостью.⁵⁸ Земли, входящие в личное хозяйство сеньора, *mansus indominicatus*, составляли обычно примерно четверть всей территории; остальные земли обычно возделывались *servi* или *mancipia*, проживавшими на небольших «мансах».

Они составляли значительную часть зависимой рабочей силы в деревне и хотя юридически они продолжали определяться римским

⁵⁷ См. пронищательные замечания Дюби: Duby, *Guerriers et Paysans*, p. 55.

⁵⁸ J. Boussard, *The Civilisation of Charlemagne*, London 1968, p. 57–60; Duby, *Guerriers et Paysans*, p. 38.

словом, использовавшимся для обозначения «раба», их положение теперь на деле было ближе к положению будущего средневекового «крепостного — серва» — перемена, отмеченная семантическим сдвигом в употреблении слова *servus* в VIII веке. *Ergastulum* исчез. Каролингские *mancipia*, как правило, были крестьянскими семьями, связанными с землей, выплачивавшими своим господам натуральный оброк и отработавшими барщину; эти повинности, по-видимому, были больше, чем у старых галло-римских колонов. В крупных каролингских имениях могли также быть арендаторы из числа свободных крестьян (*mances ingenuiles*), которые также обязаны были платить оброк и отработывать барщину, но при этом не были крепостными, но такие крестьяне встречались намного реже.⁵⁹ Часто в обработке хозяйской земли *mancipia* помогали наемные работники и рабы, которые никуда не исчезли. Принимая во внимание неоднозначную терминологию того времени, невозможно сколько-нибудь точно установить количество реальной рабской рабочей силы в каролингской Европе; но, по некоторым оценкам, она составляла 10–20% сельского населения.⁶⁰ Система *villa*, конечно, не означала, что земельная собственность стала исключительно аристократической. Небольшие аллодиальные держания, все еще существовавшие между большими пространствами поместий, находились в собственности свободных крестьян — *pagenses* или *mediocres* — и обрабатывались ими. Их относительную численность еще предстоит определить, хотя ясно, что в начале правления самого Карла Великого значительная часть крестьян еще не была закрепощена. Но с этого времени началось закрепление основных производственных отношений в деревне.

Таким образом, ко времени смерти Карла Великого под навесом псевдоримской централизованной империи уже существовали основные институты феодализма. На самом деле, вскоре стало очевидно, что быстрое распространение бенефиций и их растущее наследование вели к подрыву всего громоздкого каролингского государственного аппарата, честолюбивая экспансия которого, принимая во внимание низкий уровень развития производительных сил в VIII–IX веках, никогда не отвечала его реальным способностям административной интеграции. Внутреннее единство империи, с династиче-

⁵⁹ R.-H. Bautier, *The Economic Development of Mediaeval Europe*, London 1971, p. 44–45.

⁶⁰ Boutruche, *Seigneurie et Féodalité*, I, p. 130–131; см. также: Duby, *Guerriers et Paysans*, p. 100–103. Прекрасный анализ общего перехода в каролингской Франции от рабства к крепостничеству как правовому статусу см. в: C. Verlinden, *L'Esclavage dans l'Europe Médiévale*, I, p. 733–747

скими гражданскими войнами и растущей регионализацией класса магнатов, который некогда спланировал ее, вскоре стало распадаться. В итоге произошло неустойчивое разделение Запада на три части. Дикие и неожиданные нападения извне, со всех сторон, с моря и по суше, викингов, сарацинов и мадьяров разрушили последние остатки параимперской системы графского правления. Для того, чтобы противостоять этим нападениям, не было никакой регулярной армии или флота; франкская кавалерия была слишком медленной и неповоротливой, чтобы ее можно было быстро мобилизовать, а идеологический цвет каролингской аристократии погиб в гражданских войнах. Централизованная политическая структура, завещанная Карлом Великим, распалась. К 850 году почти везде бенефиции стали наследственными; к 870 году исчезли последние *missi dominici*; к 880-м годам *vassi dominici* перешли под власть местных правителей; а к 890-м годам и графы стали на деле наследственными региональными правителями.⁶¹ И в последние десятилетия IX века, когда шайки викингов и мадьяров разорили земли Западной Европы, термин *feudum* впервые начал использоваться в средневековом смысле «феода». Тогда же сельская местность, например, Франции была пересечена частными замками и укреплениями, возводившимися сельскими господами безо всякого спроса императора для противостояния новым нашествиям варваров и закрепления их местной власти. Новый, усеянный замками ландшафт был одновременно и защитой, и тюрьмой для крестьян. Крестьянство, которое становилось все более зависимым уже в последние дефляционные и военные годы правления Карла Великого, теперь стало окончательно превращаться в единую массу крепостных. Укрепление местных графов и землевладельцев в провинциях благодаря складывавшейся системе феодальных владений и консолидации их манориальных имений и власти над крестьянством создало основу феодализма, постепенно установившегося по всей Европе в последующие два столетия.

⁶¹ Boussard, *The Civilisation of Charlemagne*, p. 227–229; L. Musset, *Les Invasions. Le Second Assaut contre l'Europe Chrétienne*, Paris 1965, p. 158–165.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

1. ФЕОДАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Феодалный способ производства, возникший в Западной Европе, отличался сложным единством. В традиционных его определениях это зачастую находило лишь частичное выражение, вследствие чего описание какой-либо динамики феодалного развития оказывалось непростым делом. Это был способ производства, в котором решающую роль играли земля и натуральное хозяйство, а труд и продукты труда не были товарами. Непосредственный производитель — крестьянин — был связан со средствами производства — землей — особым социальным отношением. Юридическое определение крепостной зависимости — *glebae adscripti* или «прикрепленные к земле» буквально передавало это отношение: крепостные обладали юридически ограниченной мобильностью.¹ Крестьяне, занимавшие землю и обрабатывавшие ее, не были ее владельцами. Земельная собственность находилась в руках класса феодалов, изымавших у крестьян излишки при помощи политико-правовых отношений принуждения. Это внеэкономическое принуждение, принимавшее форму барщины и натурального или денежного оброка, выплачиваемых крестьянином определенному господину, осуществлялось как на манориальных землях, входящих в личное хозяйство господина, так и на виргатах или наделах, на которых вели свое хозяйство крестьяне. Его неизбежным следствием было юридическое слияние экономической эксплуатации с политической властью. Крестьянин подчинялся власти своего господина. В то же время права собственности этого господина на его землю обычно были условными — они предоставлялись ему

¹ Хронологически это правовое определение появилось гораздо позднее явления, которое оно описывало. Оно было изобретено юристами, работавшими в традиции римского права, в XI–XII веках и популяризовано в XIV веке. См.: Marc Bloch, *Les Caractères Originaux de l'Histoire Rurale Française*, Paris 1952, p. 89–90. Мы еще не раз столкнемся с примерами такой задержки в юридической кодификации экономических и социальных отношений.

вышестоящим знатным лицом (или знатными лицами), которому он был обязан служить, предоставляя войско во время войны. Иными словами, его имения были условными держаниями. Сеньор, в свою очередь, нередко сам был вассалом вышестоящего феодала,² и цепочка таких условных держаний, связанных с военной службой, тянулась до самой вершины феодальной иерархии — в большинстве случаев, до монарха, который, в принципе, обладал высшими правами на всю землю. Типичными промежуточными ступенями этой феодальной иерархии в эпоху раннего средневековья — между простым манором и сюзеренной монархией — были кастеллянства, баронства, графства или княжества. Вследствие такой системы политический суверенитет никогда не был сосредоточен в едином центре. Функции государства распределялись сверху вниз по вертикали, на каждом уровне которой, с другой стороны, политические и экономические отношения сливались воедино. Эта парцелляция суверенитета лежала в основе всего феодального способа производства.

Отсюда вытекали три структурные особенности западного феодализма, каждая из которых имела фундаментальное значение для его развития. Во-первых, сохранение общинных деревенских земель и крестьянских аллодов от дофеодальных способов производства, хотя и не порождалось самим феодализмом, было вполне с ним совместимо. Феодальное разделение суверенитета на обособленные зоны с пересекавшимися границами при отсутствии общезначимого центра юрисдикции всегда позволяло существовать в образующихся пустотах разнообразным «аллогенным» корпорациям. Так, хотя феодальный класс по возможности пытался проводить в жизнь правило *nulle terre sans seigneur* (нет земли без сеньора), на деле достичь этого не удалось ни в одной феодальной общественной формации: общинные земли — пастбища, луга и леса — и рассеянные аллоды всегда оставались важным сектором крестьянской автономии и сопротивления, что имело серьезные последствия для всего сельскохозяйственного производства.³ Более того, в самой манориальной системе

² Присяга на верность сеньору технически принимала форму вассального обязательства, преобладающего над всеми остальными обязательствами, которые могли иметься у вассала перед множеством других господ. На деле же сеньорами вскоре стали считаться все вышестоящие феодалы, а присяга на верность утратила свое первоначальное и специфическое значение. См.: Блок, *Феодальное общество*, с. 210–214.

³ Энгельс всегда справедливо отмечал социальные последствия существования сельских общин, объединяемых общинными землями и трехпольной системой,

скалярная структура собственности отражалась в характерном делении феодальной собственности на земли, непосредственно входящие в хозяйство господина, находящиеся под его прямым контролем и возделываемые его вилланами, и на крестьянские наделы, от которых он получал дополнительные излишки, но где организация и контроль над производством находились в руках самих вилланов.⁴ Таким образом, не было никакой простой горизонтальной концентрации двух основных классов сельского хозяйства в единой гомогенной форме собственности. Производственные отношения были опосредованы этим двойственным земельным устройством манора. Кроме того, зачастую существовало также противоречие между подсудностью крепостных манориальному судопроизводству своего господина, и сеньоральной юрисдикцией территориального правителя. Маноры обычно не совпадали с отдельными деревнями, а были распределены среди множества деревень; поэтому во всякую данную деревню могло бы быть вплетено множество различных манориальных владений. Над этой юридической неразберихой обычно возвышалось *haute justice* (высокое правосудие) территориальных сеньоров, юрисдикция которых была географической, а не связан-

для положения средневекового крестьянства. Именно они, замечал он в «Происхождении семьи, частной собственности и государства», дали «угнетенному классу, крестьянам, даже в условиях жесточайших крепостнических порядков средневековья, локальную сплоченность и средство сопротивления, чего в готовом виде не могли найти ни античные рабы, ни современные пролетарии». Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 21, с. 155. Опираясь на работы немецкого историка Маурера, Энгельс ошибочно полагал, что эти общины, восходящие в своих истоках к самому началу Темных веков, были «общинами-марками»; на самом деле, последние были новшеством позднего средневековья, впервые появившимся в XIV веке. Но это заблуждение не отменяет важности его основной идеи.

⁴ Средневековые маноры различались по структуре в соответствии с удельным весом этих двух их составляющих. С одной стороны, существовали имения (их было не слишком много), где земля целиком входила в господское хозяйство (например, хозяйства цистерцианских монастырей, обрабатываемые «мирскими братьями»); а с другой — существовало определенное количество имений, полностью отданных крестьянам. Но наиболее распространенной формой всегда было сочетание — в различных пропорциях — собственного хозяйства господина и крестьянских наделов — «это деление манора и получаемых с него доходов на две составные части было характерной чертой типичного манора». М. М. Postan, *The Mediaeval Economy and Society*, London 1972, p. 89–94.

ной с определенным именем.⁵ Таким образом, крестьянский класс, у которого в этой системе изымались излишки, обитал в социальном мире пересекающихся притязаний и властей, где само многообразие «инстанций» эксплуатации создавало скрытые пустоты и несообразности, невозможные при более единой правовой и экономической системе. Сосуществование общинных земель, аллодов и виргат с собственными хозяйствами феодалов лежало в основе феодального способа производства в Западной Европе и сыграло решающую роль в его развитии.

Во-вторых, что еще более важно, феодальная парцелляция суверенитета в Западной Европе породила феномен средневекового города. И опять-таки генезис городского товарного производства не следует связывать с феодализмом как таковым: оно, конечно, появилось раньше него. Но феодальный способ производства был *первым*, который сделал возможным его *самостоятельное развитие* при натуральном сельском хозяйстве. Тот факт, что самые крупные средневековые города по своему масштабу никогда не могли сравниться с городами античности или азиатских империй, зачастую мешал увидеть, что они играли в общественной формации куда более передовую роль. В Римской империи с ее крайне сложной городской цивилизацией города подчинялись власти знатных землевладельцев, которые жили в них, но имели источники дохода за их пределами; в Китае обширные провинциальные агломерации контролировались бюрократами-мандаринами, проживавшими в особом районе, отделенном от всей торговой деятельности. Образцовые города средневековой Европы, которые занимались торговлей и производством, напротив, были самоуправляемыми общинами, обладавшими корпоративной политической и военной независимостью от знати и церкви. Маркс прекрасно видел и выразил это отличие: «История классической древности — это история городов, но городов, основанных на земельной собственности и земледелии; история Азии — это своего рода нерасчлененное единство города и деревни (подлинно крупные города могут рассматриваться здесь просто как государевы станы, как нарост на экономическом строе в собственном смысле».

⁵ Прекрасное описание основных черт этой системы см. в: В. Н. Slicher Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, London 1963, p. 46–51. Там, где территориальной власти феодального господина не существовало, как, например, в большей части Англии, наличие множества маноров в одной деревне предоставляло крестьянской общине значительную свободу самоуправления; см.: Postan, *The Mediaeval Economy and Society*, p. 117.

ле). В средние века (германская эпоха) деревня как таковая является отправной точкой истории, дальнейшее развитие которой протекает затем в форме противоположности города и деревни. Новейшая история есть проникновение городских отношений в деревню, тогда как в древнем мире, наоборот, имело место проникновение деревенских отношений в город». ⁶ Таким образом, *динамическое противостояние* города и деревни было возможно только при феодальном способе производства: противостояние городской экономики, основанной на растущем товарном обмене, контролируемой торговцами и организованной в цеха и корпорации, и сельского хозяйства, основанного на натуральном обмене, контролируемого знатью и организованного в маноры и крестьянские наделы с общинными и индивидуальными крестьянскими анклавами. Не стоит и говорить, что последнее имело огромный перевес — феодальный способ производства, бесспорно, был аграрным. Но его законы развития, как будет видно, определялись сложным единством его различных областей, а не простым преобладанием манора.

В-третьих, имела место определенная двусмысленность и неустойчивость на вершине всей иерархии феодальных зависимостей. «Вершина» цепи в некоторых важных отношениях была ее самым слабым звеном. В принципе, высший уровень феодальной иерархии на всякой данной территории Западной Европы отличался от нижестоящих подчиненных уровней власти не по своему типу, а лишь по степени. Иными словами, монарх был феодальным сюзереном своих вассалов, с которыми он был связан взаимными узами верности, а не высшим сюзереном, стоящим над своими подданными. Его экономические ресурсы практически полностью заключались в его личных феодальных владениях, и его власть над вассалами фактически осуществлялась только, когда он призывал их на войну. Он не имел прямого политического доступа к населению в целом, поскольку его юрисдикция над ним была опосредована бесчисленным множеством слоев субинфеодаций. На самом деле господином он был только в своих собственных владениях, а во всех остальных он был по большей части церемониальной фигурой. Но чистая модель такой политики, в которой политическая власть стратифицировалась по нисходящей таким образом, что ее вершина не сохраняла за собой никакой качественно особой или безраздельной власти, не существовала в средневековой Европе никогда и нигде. ⁷ Дело в том, что отсутст-

⁶ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 46, ч. 1, с. 470.

⁷ Государство крестоносцев в Леванте зачастую считают наиболее близким к иде-

вие реального интеграционного механизма наверху системы, предполагаемое этим типом политики, представляло постоянную угрозу ее стабильности и выживанию. Полная фрагментация суверенитета была несовместима с классовым единством самой знати, поскольку потенциальная анархия, предполагаемая ею, неизбежно подрывала весь способ производства, на котором покоились ее привилегии. Таким образом, феодализм раздирало противоречие между имманентной ему тенденцией к разложению суверенитета и острой потребностью в верховной власти, которая могла бы практически восстановить этот суверенитет. Поэтому феодальная *монархия* никогда не сводилась к королевскому сюзеренитету: она всегда существовала в какой-то степени в идеологической и юридической области по ту сторону вассальных отношений, которые не полностью распространялись выше уровня баронов или графов, и обладала правами, на которые последние не вправе были рассчитывать. В то же время действительной королевской власти всегда приходилось утверждаться и распространяться вопреки стихийному сопротивлению феодального политического устройства в постоянной борьбе за установление «публичной» власти за пределами компактной сети частных юрисдикций. Феодальный способ производства на Западе, таким образом, в самой своей структуре изначально характеризовался динамической напряженностью и противоречием в центробежном государстве, которое он органически производил и воспроизводил.

Такая политическая система неизбежно исключала сколько-нибудь широкую бюрократию и функционально разделенное классовое правление по образцу нового времени. С одной стороны, парцелляция суверенитета в раннесредневековой Европе привела к установлению совершенно особого идеологического порядка. Церковь,

альному феодальному устройству. Заморские конструкции европейского феодализма создавались *ex nihilo* в чужеродном окружении и потому принимали необычайно систематическую юридическую форму. Энгельс, среди прочих, отмечал такое своеобразие: «Разве феодализм когда-либо соответствовал своему понятию? Возникший в Западнофранкском королевстве, развитый дальше в Нормандии норвежскими завоевателями, усовершенствованный французскими норманнами в Англии и Южной Италии, он более всего приблизился к своему понятию в эфемерном Иерусалимском королевстве, которое оставило после себя в “Иерусалимских ассизах” наиболее классическое выражение феодального порядка» (К. Маркс, Ф. Энгельс, *Соч.*, т. 39, с. 356). Но на практике реалии даже государства крестоносцев никогда не соответствовали юридической кодификации его баронских юристов.

которая в эпоху поздней античности всегда была непосредственно включена в машину имперского государства и подчинялась ей, теперь стала совершенно независимым институтом внутри феодальной политики. Будучи единственным источником религиозного авторитета, она обладала огромной властью над верованиями и ценностями масс; но ее церковная организация отличалась от организации светской знати или монархии. Благодаря рассеянному принуждению, присущему складывавшемуся западному феодализму, церковь при необходимости могла защищать свои корпоративные интересы с помощью оружия и опираясь на непосредственно контролируемые ей земли. Институциональные конфликты между светскими и религиозными феодалами были внутренне присущи средневековой эпохе: их следствием был раскол в структуре феодальной легитимности, которому суждено было иметь громадные культурные последствия для позднейшего интеллектуального развития. С другой стороны, светское правительство само приняло новую — более узкую — форму. Оно стало отождествляться в основном с осуществлением «правосудия», которое при феодализме играло совершенно иную функциональную роль, чем при сегодняшнем капитализме. Суд был *основной* модальностью политической власти, что определялось самой природой феодального политического устройства. Ибо чистая феодальная иерархия, как мы видели, полностью исключала всякую «исполнительную» составляющую в современном смысле постоянного административного аппарата государства, занимающегося исполнением законов — парцелляция суверенитета делала его ненужным и невозможным. В то же время не было никакого пространства и для нормальных «законодательных» органов позднейшего типа, так как феодальный порядок не имел никакого общего представления о политическом обновлении путем создания *новых* законов. Королевские правители выполняли свои функции, сохраняя старые законы, а не изобретая новые. Таким образом, политическая власть на какое-то время стала отождествляться исключительно с «судебной» функцией толкования и применения существующих законов. Кроме того, в отсутствие какой-либо публичной бюрократии, в судопроизводстве неизбежно входило и местное управление и принуждение — обеспечение порядка, наложение штрафов, взыскание пошлин и исполнение решений. Поэтому всегда нужно помнить, что средневековый «суд» в действительности включал намного более широкую область действий, чем современный суд, так как структурно он занимал куда более важное положение во всей политической системе. Под «судом» обычно понималась власть вообще.

2. ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМАЦИЙ

Итак, мы рассмотрели генезис феодализма в Западной Европе как синтез элементов, возникший вследствие одновременного распада первобытнообщинного и рабовладельческого способов производства; а затем мы выделили собственно конститутивную структуру развитого феодального способа производства на Западе. Теперь нужно вкратце показать, как внутренняя природа этого синтеза создала пеструю типологию общественных формаций в эпоху Средневековья. Дело в том, что описанный способ производства в «чистом виде» в Европе никогда не существовал, как — позднее — в «чистом виде» никогда не существовал и капиталистический способ производства. Конкретные *общественные формации* средневековой Европы всегда были сложными системами, в которых другие способы производства сохранялись и переплетались с собственно феодализмом; рабы, например, существовали на всем протяжении Средневековья, а свободные крестьяне в Темные века так и не исчезли окончательно. Поэтому важно рассмотреть, пусть и бегло, пеструю карту западного феодализма, как она сформировалась с IX века. Советские историки Люблинская, Гутнова и Удальцова очень точно выделили три типа феодализма, соответствующие трем европейским регионам.⁸ Ключевым регионом европейского феодализма был регион, в котором имел место «сбалансированный синтез» романских и германских элементов — это, прежде всего, Северная Франция и примыкающие к ней зоны, родина Каролингской империи.⁹ К югу от этой области, в Провансе, Италии и Испании, распад и рекомбинация варварских и античных способов производства произошли при доминировании

⁸ А. Д. Люблинская, 'Типология раннего феодализма в Западной Европе и проблема романо-германского синтеза,' *Средние века*, вып. 31, 1968, с. 9–17; З. В. Удальцова и Е. В. Гутнова, *Генезис феодализма в странах Европы*, М., 1970 (Доклад на XIII Международном конгрессе исторических наук). Проблема типологии раньше была вкратце поставлена Поршневым в его книге «Феодализм и народные массы» (с. 507–518). Статья Удальцовой и Гутновой точна и вдумчива, хотя отдельные выводы в ней вызывают возражения. Авторы говорят о византийском государстве раннего Средневековья как об одной из разновидностей феодализма с уверенностью, которую едва ли можно разделить.

⁹ Недавнюю попытку выделить пять региональных подтипов в феодализме, сложившемся в послеварварской Галлии, см.: А. Я. Шевеленко, 'К типологии генезиса феодализма,' *Вопросы истории*, 1971, № 1, с. 97–107.

наследия античности. К северу и востоку от нее, в Германии, Скандинавии и Англии, куда так и не дошло римское правление или где оно пустило лишь слабые корни, напротив, более медленный переход к феодализму происходил с преобладанием местного варварского наследия. «Сбалансированный» синтез породил феодализм наиболее быстро и полно и создал его классическую форму, которая, в свою очередь, оказала большое влияние на отдаленные зоны с менее выраженной феодальной системой.¹⁰ Именно здесь впервые появилось крепостничество, развилась манориальная система, сеньоральный суд играл наибольшую роль, а иерархические субинфеодации были наиболее распространенными. Северный и южный подтипы, в свою очередь, симметрично отличались сохранением в них наследия предшествующих способов производства. В Скандинавии, Германии и англосаксонской Англии аллодиальное крестьянство с сильными общинными институтами сохранилось и после установления стабильной иерархической дифференциации в сельском обществе, роста зависимости и превращения родовых воинов в землевладельческую аристократию. В Саксонии крепостничество не было введено до XII–XIII веков; а в Швеции ему так никогда и не удалось по-настоящему закрепиться. С другой стороны, в Италии и прилегающих регионах городская цивилизация поздней античности никогда полностью не исчезла, и с X века здесь расцвела муниципальная политическая организация в сочетании с церковной властью, где церковь заняла место старой сенаторской аристократии. При этом римские юридические понятия собственности как свободной, наследуемой и отчуждаемой с самого начала модифицировали феодальные нормы землевладения.¹¹ Таким образом, карта раннего европейского феода-

¹⁰ В Европе распространение феодальных отношений во всех крупных регионах всегда было топографически неравномерным. Горные зоны повсеместно сопротивлялись манориальной организации, установление которой в скалистых и бесплодных нагорьях было делом непростым, а поддержание — невыгодным. Поэтому в горах обычно сохранялись очаги бедных, но независимых крестьянских общин, в экономическом и культурном отношении более отсталых по сравнению с сеньорализованными равнинами, но нередко способных с оружием в руках отстаивать свой суровый оплот.

¹¹ Германские аллоды всегда отличались от римской собственности, поскольку, будучи переходной формой между общинным и индивидуальным землевладением в деревне, они были типом частной собственности, все еще связанным с традиционными обязательствами и обращением земель в общине, Аллоды не были свободно отчуждаемыми.

лизма, по сути, включала три зоны, простирающиеся с севера на юг и более или менее разграниченные друг от друга разной плотностью аллодов, феодалов и городов.

На этом фоне можно описать некоторые основные различия между основными общественными формациями Западной Европы того времени, которые зачастую имели важные скрытые последствия. Во всех случаях нас будет интересовать форма производственных отношений в деревне, распространенность городских анклавов и — особенно — тип политического государства, появившегося в раннем Средневековье. Этот последний вопрос неизбежно потребует рассмотрения истоков и судьбы монархии в различных странах Западной Европы.

На Франции, как главной родине европейского феодализма, можно долго не задерживаться. В действительности, Северная Франция всегда была ближе к архетипу феодальной системы по сравнению с любой другой частью Европы. Крах Каролингской империи в IX веке сопровождался неразберихой междоусобных войн и норвежскими вторжениями. Среди общей анархии и неопределенности и в обстановке, которая ускорила рост зависимости крестьянства, постоянно сталкивавшегося с угрозой разграбления викингами или мусульманами, здесь произошла всеобщая фрагментация и локализация власти знати, сосредоточившейся теперь в отдельных укрепленных местах и замках по всей стране.¹² Таким образом, феодальная власть в эту мрачную эпоху оказалась особенно приближенной к земле. Суровые сеньориальные суды над закрепощенными крестьянскими массами, утратившими собственные народные суды, распространились почти повсеместно; хотя юг, на котором наследие античности оставило более глубокий отпечаток, был менее феодализован, и здесь было больше имений знати, находившихся в прямой собственности, а не в феодальной держании, и больше независимых крестьян.¹³

Более органичный характер северного феодализма обеспечил ему экономическую и политическую инициативу на всем протяжении

¹² Описание этого времени в первой части «Феодального общества» Блока по праву получило свою известность. О распространении замков см.: Bouttruche, *Seigneurie et Féodalité*, II, Paris 1970, p. 31–39.

¹³ Этой конфигурации сопутствовало большее сохранение рабства в южной Франции на протяжении Средних веков. О возрождении работорговли в XIII веке см.: Verlinden, *LEsclavage Médiéval*, I, p. 748–833. Как мы увидим позднее, корреляция между наличием рабов и незавершенностью закрепощения существовала и в других регионах феодальной Европы.

Средневековья. Но к концу X—началу XI века всесторонняя феодальная иерархия, выстроенная снизу вверх, нередко с множеством уровней субинфеодации была общей французской моделью. Эта вертикальная система дополнялась крайней территориальной раздробленностью. К концу X века в стране в целом существовало более 50 отдельных политических единиц. Шесть крупных властителей — герцоги или графы Фландрии, Нормандии, Франции, Бургундии, Аквитании и Тулузы — самостоятельно правили в провинциях. В конечном итоге именно герцогство Франции послужило ядром для строительства новой французской монархии.

Первоначально ограниченный слабым анклавом в области Лаона-Парижа, королевский дом Капетингов постепенно консолидировал свою территориальную базу и начал предъявлять все большие сюзеренные притязания на великие герцогства при помощи церкви, военной агрессии и матримониальных союзов. Первыми великими строителями его власти были Людовик VI и Сугерий, которые усмирили и объединили само герцогство Французское. Возвышение капетингской монархии в XII–XIII веках сопровождалось заметным экономическим ростом, широким освоением земель как в королевских владениях, так и во владениях герцогских и графских вассалов, и появлением процветающих городских общин, особенно на далеком севере. Правление Филиппа Августа в начале XIII века имело решающее значение для превращения монархии в реальную королевскую власть над герцогствами. Нормандия, Анжу, Мен, Турен и Артуа были присоединены к королевским владениям, размеры которых выросли втрое. Искусно осуществленное сплочение северных городов под эгидой монархии еще больше увеличило военную мощь Капетингов — именно городские войска и транспорт обеспечили победу французов над англо-фламандскими силами при Бувине в 1214 году, переломном моменте международной политической борьбы столетия. Преемник Филиппа Августа Людовик VIII успешно захватил значительную часть Лангедока и распространил власть Капетингов до Средиземноморья. Для управления землями, находящимися под прямым королевским контролем, был создан относительно большой и лояльный бюрократический аппарат *baillis* и *sénéchaux*. Но размеры этой бюрократии свидетельствовали не столько о внутренней силе французских королей, сколько о проблемах, с которыми сталкивалось всякое унитарное правление страной.¹⁴ Чреватое опасностями превращение не-

¹⁴ О капетингской административной системе см.: Charles Petit-Dutaillis, *Feudal Monarchy in England and France*, London 1936, p. 233–258.

давно приобретенных областей в уделы, которыми правили младшие представители династии Капетингов, было еще одним свидетельством внутренней сложности этой задачи. Одновременно существовала независимая власть провинциальных правителей, и происходило аналогичное укрепление ее административного аппарата. Таким образом, основным процессом во Франции оставалась постепенная «концентрическая централизация», в которой степень королевского контроля, осуществлявшегося из Парижа, все еще была крайне сомнительной. После побед Людовика IX и Филиппа Красивого эта внутренняя нестабильность стала совершенно очевидной. В продолжительных гражданских войнах последующих трех веков (Столетняя война, Религиозные войны) ткань французского феодального единства не раз угрожающе трещала по швам, хотя так и не разошлась окончательно.

В Англии, напротив, централизованный феодализм были привнесены извне норманнскими завоевателями и последовательно насажден сверху на компактной земле, составлявшей всего четверть Франции. Англосаксонская общественная формация, которая пала жертвой норманнского вторжения, была в Европе наиболее развитым примером потенциально «стихийного» перехода от германского общества к феодальной общественной формации, не испытавшей никакого прямого римского воздействия. С другой стороны, Англия, конечно, с IX века испытала серьезное воздействие скандинавских вторжений. Местные англосаксонские общества в VII–VIII веках медленно развивались в консолидированные социальные иерархии с зависимым крестьянством, но без политического объединения острова и без сколько-нибудь серьезного развития городов. Участвовавшие с 793 года норвежские и датские вторжения постепенно изменили темп и направленность этого развития. Скандинавская оккупация сначала половины Англии в IX веке, а затем и ее полное завоевание и включение в североморскую империю в начале XI века оказали двойственное воздействие на англосаксонское общество. Скандинавские поселения способствовали росту городов и основанию свободных крестьянских общин в областях их наибольшей концентрации. В то же время военное давление викингов вызвало на острове социальные процессы, в целом схожие с теми, что разворачивались в эпоху длинных викингских кораблей на континенте – постоянная неопределенность в деревне привела к росту коммендации и все большему вырождению крестьянства. В Англии экономическое наступление местных господ на сельское население сочеталось с королевскими налогами на оборонные нужды, вводившимися для англосаксонского

сопротивления или для откупа от датской агрессии, сборами *geld*, которые стали первым регулярным налогом, взимавшимся в Западной Европе в эпоху поздних Темных веков.¹⁵ К середине XI века скандинавское господство было сброшено, а недавно объединенное англосаксонское королевство восстановлено. Крестьянство к этому времени в основном состояло из полузависимых арендаторов, за исключением северо-восточных областей бывшего датского заселения, где более многочисленными были аллодиальные наделы «сокменов». Рабы нигде не исчезли и составляли около 10% рабочей силы; наиболее важную экономическую роль они играли в более отдаленных западных областях, где кельтское сопротивление англосаксонскому завоеванию было наиболее упорным, и где они составляли пятую часть населения или даже больше. В социальной структуре деревни господствовала местная аристократия из тэнов, которая эксплуатировала имения протоманориального типа.¹⁶ Монархия обладала относительно развитой и скоординированной административной организацией, с королевским налогообложением, денежной и судебной системами, действующими по всей стране. С другой стороны, не было введено никакой надежной системы династического наследования. Но самой серьезной внешней слабостью этого островного королевства было отсутствие структурной связи между землевладением и военной службой, которая составляла основу континентальной феодальной системы.¹⁷ Тэны были знатными пешими воинами,

¹⁵ Loyn, *Anglo-Saxon England and the Norman Conquest*, p. 139, 195–197, 305, 309–314.

¹⁶ Политическая власть этой знати подчеркивается, возможно, чересчур сильно, в работе: E. John, 'English Feudalism and the Structure of Anglo-Saxon Society', *Bulletin of the John Rylands Library*, 1963–1964. p. 14–41.

¹⁷ См.: Henry Loyn, *The Norman Conquest*, London 1965, p. 76–77; G. O. Sayles, *The Mediaeval Foundations of England*, London 1964, p. 210, 225. Однако, политический разрыв между англосаксонской и англо-норманнской общественными формациями преуменьшается в обеих работах. Удивительно, что Сайлс называет наследие Фримена источником вдохновения для современных исследований. Крайний расизм Фримена, конечно, побил все рекорды; африканцы были у него «отвратительными обезьянами», евреи и китайцы — «грязными чужаками»; тогда как норманны были тевтонскими родственниками саксов, «которые пришли в Галлию, чтобы покрыться французским лоском, а затем пришли в Англию, чтобы очиститься от него» (sic); подробнее об этом см.: M. E. Bratchel, *Edward Augustus Freeman and the Victorian Interpretation of the Norman Conquest*, Pfracombe 1969. Но этот расизм может молча игнорироваться, поскольку основная идея Фримена — загадочная «непрерывная драма» английской исто-

которые приезжали к месту битвы верхом, но сражались по старинке — спешившись. Англосаксонская армия, таким образом, состояла из хускерлов (военных слуг короля) и фирдов (народного ополчения). Она не могла сравниться с тяжелой норманнской кавалерией, ударной силой намного более развитого феодального общества на краю французского массива, где связь между условным владением и службой в кавалерии уже давным-давно стала основой общественного устройства. Сами норманны были, конечно, скандинавскими захватчиками, которые поселились в северной Франции и влились в ее общество только столетием ранее. Норманнское завоевание, результат неравномерного развития двух варварских обществ, столкнувшихся друг с другом после пересечения Ла-Манша, одно из которых прошло через «романо-германское» слияние, таким образом, породило в Англии «запоздалый» синтез двух сравнительно развитых общественных формаций. В результате возникло особое сочетание крайне централизованного государства и устойчиво сохраняющегося народного суда, которое служило отличительной особенностью средневековой Англии.

Сразу же после своей победы Вильгельм I произвел планомерную и систематичную раздачу примерно 5.000 феодальных владений для оккупации и покорения страны. Вопреки континентальным обычаям, субвассалы обязаны были присягать на верность не только своим непосредственным господам, но и самому монарху — главному дарителю всех земель. Норманнские короли, дабы укрепить свое государство, продолжили эксплуатировать дофеодальное наследие англосаксонской общественной формации. Фирдское ополчение иногда присоединялось к обычному феодальному войску и королевской дружине;¹⁸ и что еще более важно, традиционный налог на оборонные нужды *danegeld*, феномен, незнакомый ортодоксаль-

рии, отличная от исторической драмы европейского континента с его революционными разрывами, — до сих пор горячо принимается многими. Заветные идеологические мотивы неизменной «преемственности» с X до XX века повторяются с сомнамбулическим упорством в работах многих английских историков. Лойн завершает свою серьезную и полезную книгу типичным кредо: «В том, что касается институтов, преемственность составляет основную тему английской истории»: Loyn, *The Norman Conquest*, p. 195.

¹⁸ О военной системе после завоевания см.: J. O. Prestwich, 'Anglo-Norman Feudalism and the Problem of Continuity', *Past and Present*, No. 26, November 1963, p. 35-57. Это — полезная критика ограниченных и шовинистических мифов о преемственности. См. также: Warren Hollister, '1066: the Feudal Revolution',

ной системе получения доходов средневековой монархии, продолжал собираться в дополнение к доходам, получаемым от самих королевских владений (очень обширных), и феодальных поборов. Таким образом, англо-норманнское государство представляло собой самую сплоченную и прочную институциональную систему в Западной Европе того времени. Наиболее развитая манориальная система была установлена в основном на юге и в центре страны, где эффективность сеньориальной эксплуатации заметно возросла с ростом трудовых повинностей и серьезным ослаблением местного крестьянства. В других местах оставались значительные области с небольшими держаниями, не слишком сильно обремененными феодальными обязательствами, и сельским населением, которое избежало непосредственно крепостного статуса. Но тенденция к общему закреплению была очевидна. В последующие несколько столетий при норманнских и анжуйской династиях происходило постепенное сглаживание различий в правовом положении английского крестьянства и общее ухудшение этого положения, пока к XII веку *villani* и *native* не образовали единого крепостного класса. С другой стороны, принимая во внимание полное исчезновение в Англии римского права и отсутствие всякого неоимперского опыта каролингского типа, суды широв и сотен — первоначально места народных общинных судов — перешли из англосаксонской общественной формации в новый порядок. Но теперь, пусть и находясь под властью королевских назначенцев из числа баронов, они все же составляли систему «публичного» правосудия, относительно менее сурового к беднякам по сравнению с частными сеньориальными судами, распространенными в других местах.¹⁹ Должность шерифа после проведенных Генрихом II в XII веке чисток, призванных предотвратить эту угрозу, так и не стала наследственной; при этом сфера королевского судопроизводства была при этом же суверене расширена выездными судами. Городов было мало, и они не обладали сколько-нибудь значительной независимостью. В результате, возникло феодальное государство с незначительной субинфеодацией и высокой степенью административной гибкости и единства.

American Historical Review, Vol. LXXIII, No. 3, February 1968, p. 708–723, где дается краткий исторический обзор споров по этому вопросу.

¹⁹ Конечно, манориальные суды процветали, и реальная экономическая власть английских господ в эпоху Средневековья была ничуть не меньше, чем у их континентальных собратьев. Это отмечает Хилтон: R. H. Hilton, *A Mediaeval Society: The West Midlands at the End of the Twelfth Century*, London 1964, p. 127–141.

Опыт Германии был полностью противоположным. Там восточные франкские земли были в основном недавними завоеваниями Каролингской империи и находились за границами классической античности. Римский элемент в окончательном феодальном синтезе, соответственно, был намного более слабым и опосредованным новым влиянием каролингского государства на эти пограничные области. Так, если графская административная структура во Франции совпадала со старым римским *civitas* и накладывалась сверху на все более выраженную вассальную систему с крепостным крестьянством внизу, то первобытнообщинный характер германского сельского общества, все еще юридически построенного на квазиплеменной основе, исключал всякое прямое ее копирование. Графы, правившие от имени императора, имели неясные юрисдикции в слабо определенных регионах без какой-либо реальной власти над местными народными судами или надежной поддержки в крупных королевских владениях.²⁰ Во Франконии и Лотарингии, которые граничили с Северной Францией и входили в состав владений Меровингов, развилась протофеодальная аристократия и крепостническое сельское хозяйство. Но в куда более значительной части Германии — Баварии, Тюрингии, Швабии и Саксонии — все еще существовало свободное аллодиальное крестьянство и федеративная клановая знать, не организованная ни в какие вассальные сети. Германская знать традиционно была «непрерывной средой»,²¹ в которой ранговые различия не имели жесткого формального значения; монархия не наделялась здесь какой-то особой высшей ценностью. Каролингская имперская администрация насаждалась в общественной формации, в которой отсутствовали сложные иерархии зависимости, появившиеся во Франции; поэтому в этой более примитивной среде и память о ней сохранилась намного дольше. Кроме того, Германия меньше, чем Франция, страдала от новых нашествий варваров в IX–X веках: если Францию разоряли все трое захватчиков — викинги, мадьяры и сарацины, — то Германия имела дело только с венграми. Эти кочевники на востоке были в конечном итоге разбиты в сражении при Лехфельде, в то время как на западе Нормандия была уступлена ви-

²⁰ Sidney Painter, *The Rise of the Feudal Monarchies*, Ithaca 1954, p. 85.

²¹ *Die Herrschaftsformen gehen kontinuierlich ineinander über* (формы господства постоянно переходят одна в другую) — это меткое выражение принадлежит Вальтеру Шлезингеру: Walter Schlesinger, 'Herrschaft und Gefolgschaft in der germanisch-deutschen Verfassungsgeschichte', *Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*, Bd. I, Göttingen 1963, p. 32.

кигам. Таким образом, Германия избежала худших бедствий этой эпохи, как это показало и ее сравнительно быстрое оттоновское возрождение. Но каролингское политическое наследие, хотя и более сохранившееся здесь, не создавало сколько-нибудь прочной альтернативы компактной сеньориальной иерархии. Таким образом, с крахом династии в Германии в X веке поначалу наступил своеобразный политический вакуум. Вскоре в ней появились узурпаторские «родовые» герцогства племенного характера, которые в какой-то мере установили контроль над пятью основными областями страны: Баварией, Тюрингией, Швабией, Франконией и Саксонией. Опасность мадьярских вторжений побудила этих враждующих герцогов-магнатов выбрать формального короля-сюзерена. История германской монархии после этого во многом была историей неудачных попыток создания органической пирамиды феодальной верности на этой неподходящей основе. Наиболее сильное (и нефеодальное) из сожившихся герцогств — Саксония — дало первую династию, которая попыталась объединить страну. При поддержке церкви правители оттоновской Саксонии последовательно подчинили своих соперников и установили королевскую власть по всей Германии. Чтобы обезопасить свой западный фланг, Оттон I также принял императорскую мантию, которая перешла от Каролингов к слабому «срединному королевству» Лотарингии, включавшему Бургундию и Северную Италию. На востоке он перенес германские границы на славянские земли и установил сюзеренитет над Богемией и Польшей. Оттоновское «возрождение» было и идеологически, и административно поздним продолжением каролингской империи; в нем также наблюдалось классическое культурное возрождение и притязания на всеобщее господство. Но век его был еще короче.

Оттоновские успехи, в свою очередь, создали новые трудности и опасности для унитарного германского государства. Покорение герцогских магнатов саксонской династией на самом деле просто освободило нижестоящую страту знати, тем самым переместив проблему региональной анархии на более низкий уровень. Салическая династия, которая сменила саксонскую в XI столетии, пыталась справиться с широким аристократическим противодействием и неразберихой, создавая особый класс несвободных королевских *ministeriales*, которые образовали корпус лояльных кастелянов и управляющих, посаженных по всей стране. Это обращение к зависимым администраторам, получившим влиятельные политические должности, но не занимавшим соответствующего социального положения (они нередко владели именьями, но не имели вассальных привилегий и, следова-

тельно, возможности влиться к какую-либо феодальную иерархию), было признаком сохраняющейся слабости монархической функции в социальной формации, которая по-прежнему не имела никакой цельной системы феодальных отношений на деревенском уровне. Внешне салические правители сделали большой шаг в направлении централизованного имперского правления — раскольнические аристократические восстания в Саксонии были подавлены, была основана постоянная столица в Госларе, а королевские владения существенно расширились. Но в этот момент спор об инвеституре с папством прервал дальнейшую консолидацию королевской власти. Борьба Григория VII с Генрихом IV за контроль над назначениями епископов вызвала всеобщую гражданскую войну в Германии, поскольку местная знать воспользовалась возможностью выступить против императора при папском благословении. За полвека непрекращающейся борьбы в Германии произошли серьезные социальные изменения — в условиях жестоких грабежей, анархии и социального насилия германская аристократия уничтожила аллодиальную основу незнатного свободного населения, которое всегда преобладало в Саксонии и Тюрингии и играло заметную роль в Баварии и Швабии. С исчезновением публичных и народных судов крестьяне перешли в крепостное состояние, они стали выполнять феодальные повинности, а среди самой знати, в состав которой — в обстановке суматохи того времени и высокой «текучести» традиционных семей — теперь вошли еще и *ministerielles*, произошло закрепление и кодификация воинской повинности.²²

В конце концов, с большим опозданием — в XII веке — в Германии установился полноценный феодализм. Но если в Англии сама феодальная иерархия была введена норманнскими монархами, а во Франции она сложилась раньше монархии и затем сфокусировалась вокруг нее в процессе концентрической централизации, то здесь феодализм складывается *в противовес* монархической интеграции страны. Как только это произошло, политические последствия оказались необратимыми. Династия Гогенштауфенов, которая возникла после кристаллизации новой социальной структуры, стремилась построить обновленную имперскую власть на ее основе, признав опосредование юрисдикций и разветвленный вассалитет, который развился теперь в Германии. Фридрих I, по сути, взял на себя инициативу по организации новой феодальной иерархии, беспрецедентной по своей слож-

²² Классическое описание см.: Geoffrey Barraclough, *The Origins of Modern Germany*, Oxford 1962, p. 136–140.

ности и жесткости — *Heerschildordnung*, — и созданию княжеского класса из своих опорных вассалов, возвысив их над остальной знатью и возведя их в ранг *Reichsfürsten*.²³ Логика этой политики заключалась в превращении монархии в феодальный сюзеренитет в собственном смысле слова и отказе от всей традиции каролингского правления. Но ее необходимым дополнением было выделение достаточно больших королевских владений, предоставляющих императору самостоятельную финансовую основу, которая делала его сюзеренитет более действенным. Поскольку родовые имения Гогенштауфенов в Швабии совершенно не подходили для этого, а прямая агрессия против своих же германских князей была неразумна, Фридрих попытался превратить Северную Италию, которая всегда была чисто номинально имперским владением, в прочный внешний оплот королевской власти по ту сторону Альп. Но такое сочетание германского и итальянского суверенитета угрожало нанести смертельный удар по папской власти на полуострове, особенно после того, как за ее спиной Сицилия вошла в имперские владения при Генрихе VI. Возобновление в результате этого войны между империей и папством, в конце концов, исключило всякую возможность установления прочной имперской монархии в самой Германии. С Фридрихом II династия Гогенштауфенов существенно итальянизировалась по своему характеру и взглядам, тогда как Германия оказалась предоставленной своему баронскому устройству. После еще одного столетия войн окончательным итогом стала нейтрализация любой наследственной монархии в XIII веке, когда императорская власть окончательно стала выборной, а Германия превратилась в сложный архипелаг княжеств.

Если установление германского феодализма было отмечено и отсрочено сохранением племенных институтов, восходящих ко временам Тацита, то развитие феодализма в Италии пошло ускоренным, но значительно модифицированным путем вследствие сохранения здесь классических традиций. Отвоевание Византией большей части полуострова у остготов в VI веке, несмотря на материальные разрушения, которые оно за собой повлекло, помогло сохраниться этим традициям на критическом этапе Темных веков. Варварское заселение все же было относительно ограниченным. В результате Италия так и не утратила муниципальную городскую жизнь, которая была в ней во времена Римской империи. Крупные города вскоре вновь превратились в центры средиземноморской торговли, процветая в качестве портов и перевалочных пунктов задолго до любых других

²³ Barraclough, *The Origins of Modern Germany*, p. 175–177, 189–190.

городов в Европе. Церковь во многом стала социальной и политической преемницей старой сенаторской аристократии; епископы были типичными администраторами итальянских городов до XI века. Из-за преобладания романских элементов в феодальном синтезе этой зоны, где юридическое наследие Августа и Юстиниана, естественно, имело большое значение, отношения собственности здесь никогда не строились по строго феодальному образцу. Начиная с Темных веков сельское общество всегда оставалось крайне гетерогенным, сочетая в различных областях феодальные держания, свободные крестьянские владения, латифундии и городских землевладельцев. Маноры в собственном смысле слова встречались в основном в Ломбардии и на Севере, тогда как земельная собственность, с другой стороны, больше всего была сосредоточена на Юге, где классические латифундии, обрабатывавшиеся рабами, сохранились при византийском правлении до раннего Средневековья.²⁴ Небольшие крестьянские держания больше всего были распространены в гористом центре страны. Поэтому манориальная система в Италии всегда была намного слабее, чем к северу от Альп, а возвышение городских коммун произошло здесь раньше и было более значительным, чем где-либо в другом месте.

Первоначально в городах преобладала власть мелкой феодальной знати при их епископальных правителях. Но к концу XI века произошло сокращение сеньориальной юрисдикции в деревне, а спор об инвеституре предоставил купеческим сообществам в городах возможность сбросить церковную власть и установить коммунальное самоуправление в собственном смысле слова — сначала в виде выборной «консульской» системы, а затем в виде найма профессиональных внешних администраторов, *podestà* XIII века. С XII века эти коммуны господствовали во всей Северной Италии и постоянно предпринимали попытки завоевать сельскую округу, нападая на феодальные владения баронов и отменяя феодальный иммунитет, разрушая замки и подчиняя себе соседних господ. Цель этой агрессивной городской экспансии состояла в завоевании территориальных *contado*, которые позволяли городу собирать налоги, войска и зерно для увеличения своей собственной власти и процветания *vis-à-vis* его соперникам.²⁵ С распространением *contado* отношения в деревне претерпели корен-

²⁴ Philip Jones, 'The Agrarian Development of Mediaeval Italy', *Second International Conference of Economic History*, Paris 1965, p. 79.

²⁵ Об этой эволюции см.: Daniel Waley, *The Italian City-Republics*, London 1969, p. 12–21, 56–92.

ные изменения, поскольку города обычно вводили новые формы полукommerциализированной зависимости крестьянства, заметно отличавшиеся от крепостничества: к XIII веку в значительной части Северной и Центральной Италии обычным делом стала *mezzadria* или договорная издольщина. Развитие мануфактур в коммунах затем привело к росту социальной напряженности между торговцами и магнатами (правлящей стратой с сельской и городской собственностью) и ремесленными и профессиональными группами, организованными в гильдии и лишенными возможности принимать участие в управлении городом. В XIII веке политическое возвышение последних нашло любопытное отражение в создании *Capitano del Popolo*, с которыми *Podestà* зачастую приходилось делить власть на одной территории (что было, естественно, не так просто); сама эта должность поразительно напоминала классического римского трибуна.²⁶ Это хрупкое равновесие продлилось недолго. В следующем столетии ломбардские коммуны одна за другой пали под напором наследственных личных тираний, *signorie*, с тех пор власть сосредоточилась в руках авантюристов-автократов, большинство из которых составляли бывшие вассалы или *condottieri*. Тоскана двигалась в том же направлении в течение следующего столетия. Наиболее развитые области Италии стали шахматной доской соперничающих городов-государств, в которых промежуточная сельская местность, в отличие от всей остальной Европы, была присоединена к городам и никакой сельской феодальной пирамиды так и не возникло. Присутствие папства на полуострове, бдительно следящего за угрозой появления слишком сильного светского государства, конечно, служило еще одним серьезным препятствием для появления какой-либо полуостровной монархии.

Только в двух областях Италии была установлена полномасштабная феодальная политэкономическая система. Не случайно, что обе они были, в сущности, «продолжениями» наиболее органичного и сильного в Европе французского феодализма. Пьемонт, примыкавший к Савойе, был пограничной для Франции территорией по ту сторону Альп: в этом нагорье действительно развились сеньоральная иерархия и зависимое крестьянство, которые не испытали никакого влияния коммун на равнинах. Но в эту эпоху крайняя северо-западная часть полуострова была слишком маленькой и бедной, чтобы

²⁶ Max Weber, *Economy and Society*, New York 1968, Vol. III, p. 1308–1309; Daniel Waley, *The Italian City-Republics*, p. 182–197. Основной причиной появления институтов *popolo* были побои патрициата; см.: J. Lestocquoу, *Aux Origines de la Bourgeoisie*, Paris 1952, p. 189–193.

обладать в Италии каким-то весом. Куда более крупным было южное королевство Неаполя и Сицилии, которое было создано норманнами после их побед над византийцами и арабами в XI веке. В нем произошло распределение феодальных владений и сложилась настоящая баронская система с уделами и крепостничеством; монархия, которая правила этим южным повторением французского синтеза, вследствие длительных арабских и византийских влияний подкреплялась также ориентализированными представлениями о главенстве королевской власти. Это по-настоящему феодальное государство дало Фридриху II базу для его попыток завоевать и организовать всю Италию в единую средневековую монархию. По причинам, которые будут рассмотрены ниже, этот замысел потерпел провал. Разделение полуострова на две различные социальные системы сохранилось на долгие века.

В Испании всего два столетия отделяли вестготское завоевание от мусульманского. За это время смогли появиться только самые туманные комбинации германских и романских элементов. На деле на протяжении большей части этого периода после варварских переселений, как мы видели, имело место полное юридическое и административное разделение этих двух обществ. В этих условиях никакой развитый синтез не был возможен. Христианская Испания пала за столетие до того, как Карл Великий создал империю, которая послужила подлинным инкубатором европейского феодализма. Таким образом, вестготское наследие были полностью перечеркнуто исламским завоеванием, а сохранившейся христианской общине в Астурии пришлось вновь начинать практически с нуля. Поэтому определяющую роль в испанском феодализме сыграло не первоначальное столкновение и смешение варварских и имперских обществ, а особая историческая борьба Реконксты. Этот определяющий факт с самого начала отличал Испанию от остальных стран Западной Европы, породив множество черт, которые не имели соответствия в основных типах европейского феодализма. В этом отношении матрица испанского средневекового общества всегда была уникальной. Исключением из общего правила была Каталония, включенная в Каролингское королевство в IX веке и, следовательно, имела стандартный опыт *vassi dominici*, системы бенефиций и графского правления. В раннем Средневековье положение крестьян здесь, как и в тогдашней Франции, с особенно тяжелыми личными обязательствами и развитой сеньоральной системой, последовательно ухудшалось. Местным господам потребовалось двести лет — с середины XI столетия — для того, чтобы установить в Каталонии крепостниче-

ство.²⁷ С другой стороны, на Западе особые условия продолжительной борьбы против мавританского владычества дали начало двойственному развитию. С одной стороны, первоначальная «медленная Реконкиста» с северных окраин на юг создала обширные ничейные земли — *presuras* — между христианским и мусульманским государствами, которые, в общей обстановке нехватки рабочих рук, были колонизированы свободными крестьянами. Эти *presuras* также ослабили сеньоральную юрисдикцию в христианских землях, так как незанятые земли служили потенциальным пристанищем для беглецов.²⁸ Свободные крестьянские общины нередко коллективно искали защиты у феодалов, так называемые *behetrias*. В подобных широких и неустойчивых общественных формациях при непрекращающихся набегах с обеих сторон через смещающиеся линии религиозной демаркации не было возможностей для оформления полноценной феодальной иерархии. Более того, религиозный характер пограничных войн означал, что порабощение пленников сохранилось в Испании в качестве регулярной социальной практики намного дольше, чем в остальной Западной Европе. Доступность мусульманского рабского труда, таким образом, сдерживала консолидацию христианского класса крепостных на Пиренейском полуострове (обратная корреляция между двумя трудовыми системами, как мы увидим, служит общим правилом в средневековую эпоху). С XI века происходило значительное расширение сеньоральных имений и крупных владений в Кастилии и Леоне.²⁹ Количество кастильских *solariegos* или вилланов было совсем не маленьким, но они никогда не составляли большинства сельского населения. Расширение границ Арагона было сравнительно менее значительным, а крепостничество, соответственно, было более заметным в его внутренних горных областях.

Монархи христианских королевств X–XI веков были обязаны своей исключительной властью своим верховным военным функциям в постоянном крестовом походе на юг и небольшому размеру своих государств, а не какому-то очень четко артикулированному феодальному сюзеренитету или консолидированным королевским владениям.³⁰ Личный вассалитет, земельные бенефиции и сеньоральная

²⁷ J. Vicens Vives, *Historia de los Remensas en el Siglo XV*, Barcelona 1945, p. 26–37.

²⁸ J. Vicens Vives, *Manual de Historia Economica de España*, Barcelona 1959, p. 120–123.

²⁹ Luis De Valdeavellano, *Historia de España*, Madrid 1955, I/II, p. 293–304.

³⁰ C. Sanchez-Albornoz, *Estudios sobre Las Instituciones Medievales Españoles*, Mexico 1965, p. 797–799.

юрисдикция существовали, но оставались обособленными элементами, которые не образовали еще единой феодальной системы в собственном смысле слова. Местный класс *caballeros villanos* — рядовых рыцарей — парадоксальным образом проживал в городах и служил в кавалерии при продвижении на юг, получая взамен муниципальные и фискальные привилегии.³¹ В XII веке французское феодальное влияние на кастильские двор и церковь привело к росту числа *senorios* или территориальных владений, хотя они и не стали такими самостоятельными, как их образцы по ту сторону Пиренеев. Цистерцианские инициативы точно так же повлияли на создание трех крупных военно-монашеских орденов — Сантьяго, Калатрава и Алькантара, — которые с тех пор играли ключевую роль в Кастилии.

Этот аномальный комплекс институтов просуществовал вплоть до конца XII столетия, когда Реконкиста постепенно дошла до Тахо. Затем в XIII веке практически весь юг внезапно и неожиданно пал под напором «быстрой Реконкисты». Андалузия была поглощена за 30 лет. С такими огромными территориальными приобретениями произошло полное переворачивание всего процесса колонизации, а на юге сложилось земельное устройство, совершенно противоположное тому, что выросло на севере. Победоносные кампании в значительной степени организовывались и проводились военными сословиями Кастилии, особая структура которых копировала в деле распространения веры структуры их исламского врага. Эти воинские братства захватили обширные владения и установили над ними сеньориальную юрисдикцию; именно из числа военных капитанов того времени появилось большинство представителей класса грандов, который затем преобладал в испанском феодализме. Мусульманские ремесленники вскоре были изгнаны из городов в уцелевший исламский эмират Гранады — удар, который также поразил мусульманское мелкое земледелие, традиционно связанное с андалузской городской экономикой. Последующее подавление мавританских крестьянских восстаний привело к обезлюдению земель. Таким образом, возникла острая нехватка рабочих рук, которая могла быть преодолена только с закрепощением рабочей силы на селе — условие, выполнить которое было совсем несложно, принимая во внимание приход войск знати к Средиземноморью. Созданию обширных лати-

³¹ Elena Lourie, 'A Society Organized for War: Medieval Spain', *Past and Present*, No. 35, December 1966, p. 55–66. В этой статье содержится прекрасное краткое изложение некоторых основных направлений испанской историографии средних веков.

фундий в Андалусии способствовало также широкое превращение пахотных земель в пастбища для овец, разводившихся для получения шерсти. В этой безрадостной обстановке большинство пехотинцев, получивших небольшие фермы на юге, продали их крупным землевладельцам и вернулись обратно на север.³² Новое южное устройство теперь отразилось и на Кастилии: чтобы предотвратить утечку рабочей силы на земли более состоятельной андалузской аристократии, северный класс *hidalgo* ускорил закрепощение своего крестьянства, и к XIV веку на большей части испанских земель возник класс вилланов. Кастильская и Арагонская монархии, ни одна из которых не была полностью сложившимся институтом, все же пожинали богатые плоды этой феодализации своих военных аристократий. Произошло закрепление традиций военной верности вассалов королевскому командованию, была создана сильная, но при этом лояльная знать, а класс крестьян прикреплен к земле.

Португалия, на дальней атлантической окраине Пиренейского полуострова, была последней значительной феодальной монархией, которая появилась в Западной Европе. Северо-западная область римской Испании приняла свевов, единственный германский народ из первой конфедерации, перешедшей Рейн в 406 году, который обосновался на землях, первоначально им завоеванных. Свевы были завоеваны и поглощены Вестготским королевством в VI веке, оставив после себя на полуострове плотный пучок германских топонимов, тяжелый северный плуг и смутную память о первом католическом варварском правителе в Европе. После этого западные пограничные области Иберии имели историю, которая не слишком отличалась от истории остального полуострова, и, как и Испания, пережили мусульманское завоевание и последующее закрепление христиан на горных рубежах. Их независимая история возобновилась, когда Португалия — в то время скромный участок земли между Миньо и Дору — была пожалована в 1093 году в качестве удела Кастилии-Леона наследнику герцога Бургундского. Пятьдесят лет спустя его внук основал португальскую монархию. В этой отдаленной пограничной области испанский образец развития во многом был повторен в преувеличенном виде. Реконкиста юга заняла намного меньше времени, чем в Испании, и потому привела к еще большему возрастанию роли королевской власти. Страна была освобождена от мусульманской оккупации с захватом Алгарве в 1239 году, за два столетия до падения Гранады. Во многом в результате этого не возникло никакой формализованной

³² G. Jackson, *The Making of Mediaeval Spain*, London 1972, p. 86–88.

внутрисенъоральной иерархии, а сепаратизм знати был слаб. Субвасалитет ограничивался несколькими влиятельными магнатами, наподобие дома Браганса. Немногочисленная группа *cavaleiros-vilãos* образовала относительно процветающую сельскую элиту с бессрочными держаниями. Небольшая крестьянская собственность, за исключением дальнего севера, была минимальной из-за отсутствия «медленной» фазы Реконкисты, сопоставимой с той, что имела место в Кастилии и Леоне. Значительную часть сельского населения составляли крестьяне-арендаторы, выплачивающие ренту в крупных поместьях со сравнительно небольшой собственно господской землей. Фискальные и оброчные платежи могли составлять до 70% урожая непосредственного производителя; при этом отработки, хотя и не были распространены повсеместно, могли отнимать 1–3 дня в неделю.³³ С другой стороны, прикрепление к земле исчезло уже в XIII веке, отчасти благодаря большому количеству пленных мусульман на юге; при этом заметно выросла морская торговля с Англией и Францией. В то же время военно-религиозные ордены в социальном устройстве средневековой Португалии играли еще более важную роль, чем в Испании. Распределение земельной собственности среди правящего класса, вероятно, было уникальным в Западной Европе: вплоть до восстания Ависа в 1383 году ежегодный доход монархии был приблизительно равен доходам церкви, а вместе они в 4–8 раз превышали совокупные доходы знати.³⁴ Эта крайняя централизация феодальной собственности была ярким свидетельством своеобразия португальской общественной формации. В сочетании с отсутствием оформленного крепостничества и ростом прибрежной торговли с XIII века, это с самого начала определило особое будущее Португалии.

3. ДАЛЬНИЙ СЕВЕР

Особый характер и направленность развития скандинавских общественных формаций начиная с Темных веков представляют для исторического материализма завораживающую проблему и необходимое *средство проверки* всякой общей марксистской типологии европейского регионального развития, которым слишком часто пренебрегают.³⁵

³³ А. Н. de Oliveira Marques, *A Sociedade Medieval Portuguesa*, Lisbon 1964, p. 143–144.

³⁴ Armando Castro, *Portugal na Europa do seu Tempo*, Lisbon 1970, p. 135–138.

³⁵ Однажды Хекшер сделал ставшее знаменитым замечание, что «страны второго ранга» не вправе рассчитывать на то, что их историю вообще будут изучать

У нас нет возможности рассмотреть здесь этот сложный и недостаточно изученный вопрос. Но краткий обзор раннего развития этой области важен для понимания ключевой роли, которую позднее сыграла Швеция в истории Европы раннего Нового времени.

В начале достаточно сказать, что *фундаментальной* исторической детерминантой скандинавского «своеобразия» была особая природа социальной структуры викингов, которая изначально отделяла всю эту зону от остальной части континента. Скандинавия, конечно, лежала целиком за пределами римского мира. Никакая близость с легионерами и торговцами *limes* не нарушила и не ускорила темп жизни ее племенного населения в столетия *fax romana*. Хотя в большой волне варварских нашествий в IV–V веках участвовало немало изначально скандинавских народов, особенно готы и бургунды,³⁶ но до своего проникновения в империю они давно уже обосновались среди остального германского населения по ту сторону Балтики. Сама Скандинавия осталась почти незатронутой великой драмой краха античности. В результате, ко времени поздних Темных веков, после трех столетий франкского и ломбардского правления и соответствующего социального развития и синтеза, заложившего основы полноценного феодализма, первобытное внутреннее устройство общественных формаций Дальнего Севера, схожее с внутренним устройством германских племен тацитовской эпохи, осталось почти неизменным — вооруженное крестьянство (*bondi*), свободный совет воинов-земледельцев (*thing*), ведущий класс клановой знати (во главе с *jarls*), дружинная система (*hirdh*) для совершения набегов и непрочное, по-

за их пределами. Утверждая, что «всякое историческое исследование должно вести либо к открытию общих законов, либо к пониманию механизмов общей эволюции», он делал вывод, что развитие таких стран, как Швеция, имело смысл лишь в той степени, в какой оно предвосхищало общее международное развитие или соответствовало ему. Остальным вполне можно было пренебречь: «не надо усложнять задачи науки без необходимости» (E. Hecksher, 'Un Grand Chapitre de l'Histoire du Fer: Le Monopole Suédois', *Annales* No. 14, March 1932, p. 127). На самом деле задачи исторической науки нельзя считать выполненными, если она пренебрегает регионом, который вступает в противоречие с ее признанными категориями. Скандинавское развитие — это не просто каталог особенностей, которые можно свободно прибавить к бесконечному перечню социальных форм. Напротив, его отклонения от нормы позволяют извлекать определенные общие уроки для всякой интегральной теории европейского феодализма в эпоху Средневековья и раннего Нового времени.

³⁶ Вероятно, из Готланда и Борнхольма соответственно.

лувыборное королевское правление.³⁷ К VIII веку эти зачаточные скандинавские общества, в свою очередь, стали одним из варварских фронтиров «возрожденной» Каролингской империи, когда она перешла через Северную Германию в Саксонию, достигнув земель, примыкающих к современной Дании. За этим контактом последовало внезапное и разрушительное повторение нашествий варваров, которые некогда устремлялись на юг, нападая на Римскую империю. С VIII по XI век шайки викингов разорили Ирландию, Англию, Нидерланды и Францию, добравшись даже до Испании, Италии и Византии. Викинги-поселенцы колонизировали Исландию и Гренландию; воины и купцы — викинги также основали первое территориальное государство в России.

Эти нашествия зачастую представлялись «вторым наступлением» на христианскую Европу. На самом деле они имели *совершенно* иную структуру, нежели вторжения германских варваров, которые положили конец античности на Западе. Во-первых, они не были *Völkerwanderungen* в собственном смысле слова, потому что народы не совершали переселения по земле — это были *морские* вылазки, неизбежно гораздо более ограниченные по числу участников. Недавние исследования заметно снизили завышенные оценки, которые давались напуганными жертвами набегов викингов. Численность большинства разбойничьих шаек не превышала 300–400 человек, а в самую большую группу, совершившую набег на Англию в IX веке, входило менее 1000 человек.³⁸ Во-вторых, что особенно важно, экспансия викингов была явно *торговой* по своему характеру — целью ее морских экспедиций были не просто земли для заселения, но также деньги и товары. Они разграбили некоторые города на своем пути, но, в отличие от всех своих предшественников, они также основали и построили гораздо больше новых. Ведь города были узловыми точками в их торговле. Кроме того, основным предметом этой торговли были рабы, которые захватывались и свозились со всей Европы, но, в первую очередь, с кельтского запада и славянского востока. Однако нужно разграни-

³⁷ См. четкое недавнее описание на нескандинавском языке: Gwyn Jones, *A History of the Vikings*, Oxford 1968, p. 145–155. Кун утверждает, что *hirdh* был поздним англо-датским нововведением X–XI веков, впоследствии перенесенным обратно в Скандинавию, но этой точки зрения придерживается только он: Kuhn, 'Die Grenzen der germanischen Gefolgschaft', p. 43–47.

³⁸ P. H. Sawyer, *The Age of Vikings*, London 1961, p. 125. Это наиболее трезвое и строгое исследование всей темы, хотя в нем очень мало говорится о самой скандинавской социальной структуре.

чивать норвежскую, датскую и шведскую формы экспансии в эту эпоху — различия между ними были не просто региональными нюансами.³⁹ Норвежские викинги на крайнем западном фланге заморской экспансии, по-видимому, вынуждены были участвовать в ней из-за нехватки земли в своей гористой родине. Они обычно искали, помимо простой добычи, землю для заселения, независимо от того, насколько суровой была там окружающая среда — помимо набегов на Ирландию и Шотландию, они заселили промозглые Фарерские острова и открыли и колонизировали Исландию. Датские экспедиции в центре, завоевавшие и заселившие северо-восточную Англию и Нормандию, были намного более организованными нападениями, проводившимися под строгим квазикоролевским руководством, и создавали более компактные и иерархически организованные заморские общества, в которых награбленные сокровища и собранная дань (например, *danegeld*) тратились здесь же на создание стабильного территориального заселения. Шведские пиратские вылазки на крайнем восточном фланге, с другой стороны, преследовали преимущественно торговые цели — варяжское проникновение в Россию было нацелено не на заселение земель, а на установление контроля над речными торговыми путями в Византию и мусульманский Восток. Если типичные государства викингов, основанные в Атлантике (Оркнейские острова, Исландия или Гренландия) были оседлыми аграрными обществами, то варяжское государство на Руси было торговой империей, построенной в основном на продаже рабов исламскому миру первоначально через хазарский и болгарский каганаты, а позднее напрямую с центрального рынка самого Киева. Варяжская торговля на славянском востоке была настолько масштабной, что, как мы видели, она создала новое и прочное слово для обозначения рабства во всей Западной Европе. Ее значение было особенно велико для Швеции, поскольку последняя специализировалась именно на этой форме скандинавского грабежа. Но русская торговля рабами сама по себе была не более чем концентрированным региональным выражением общей и фундаментальной черты экспансии викингов. В самой Исландии, далеком антиподе Киева, владения *godar*, жреческой знати, изначально возделывались кельтскими рабами, захваченными и перевезенными из Ирландии. Масштаб и форма набегов викингов для захвата рабов по всей Европе все еще требуют надлежащего исторического изуче-

³⁹ См.: Lucien Musset, *Les Invasions: Le Second Assaut contre l'Europe Chrétienne (VIIe—XIe Siècles)*, Paris 1965, p. 115–118. Схожее, хотя и менее адекватное обсуждение, см.: Johannes Bronsted, *The Vikings*, London 1967, p. 31–36.

ния.⁴⁰ Но для нас важно подчеркнуть — ибо это делается очень редко — решающее воздействие широкого использования труда рабов в самой Скандинавии. Результатом этой грабительской внешней торговли — парадоксальным образом — оказалось *сохранение* большей части внутренней первобытной структуры общества викингов. Скандинавские общественные формации последними в Европе опирались на такое широкое и обычное использование труда рабов. «Раб служил краеугольным камнем в фундаменте, на котором строилась жизнь викингов у себя дома».⁴¹ Типичной чертой племенных обществ на начальном этапе социальной дифференциации, как мы видели, было господство военной аристократии, земли которой возделывались захваченными рабами. Именно присутствие этого *внешнего* принудительного труда делало возможным сосуществование знати с местным свободным крестьянством, организованным в агнатические роды. Прибавочный труд, необходимый для появления землевладельческой знати, еще нельзя было извлекать из обедневших родственников — таким образом, на этом этапе рабство обычно служит «предохранителем» от появления крепостничества. Общественные формации викингов, которые постоянно ввозили и пополняли численность чужеземных рабов (троллов), таким образом, не скатились к феодальной зависимости и принудительному труду крестьян. Они оставались необычайно сильными первобытными родовыми обществами, героическим примером которых может служить Исландия, находившаяся на дальней гиперборейской окраине средневековой Европы. Вплоть до XII века деревни скандинавских крестьян сохраняли социальное устройство, очень похожее на устройство германских народов I века. В судебной общине, которая управлялась по своим обычаям, ежегодно в соответствии с установленными нормами каждому домохозяйству выделялся участок земли.⁴² Общинные земли обычного типа — леса,

⁴⁰ E. I. Bromberg, 'Wales and the Mediaeval Slave Trade', *Speculum*, Vol. XVII, No. 2, April 1942, p. 263–269; в этой статье рассматриваются действия викингов в области Ирландского моря и выносятся несколько эмоциональные суждения о позиции христианской церкви в отношении торговли рабами в эпоху раннего Средневековья.

⁴¹ Jones, *A History of the Vikings*, p. 148. Наиболее полное описание скандинавского рабства см.: P. Foote and D. M. Wilson, *The Viking Achievement*, London 1970, p. 65–78. Эта работа справедливо подчеркивает решающее значение труда рабов для экономических и культурных достижений общества викингов: p. 78.

⁴² Lucien Musset, *Les Peuples Scandinaves au Moyen Age*, Paris 1951, p. 87–91. Для тех, кто не владеет скандинавскими языками, эта прекрасная работа по сей день оста-

луга и пастбища — совместно использовались деревенскими или соседскими общинами. Полная индивидуальная собственность признавалась только через 4–6 поколений владельцев и, как правило, ограничивалась собственностью знати. Рядовой земледелец *bondi* мог иметь трех рабов, знатный человек — возможно, порядка тридцати.⁴³ И тот, и другой участвовали в свободных родовых собраниях *thingar*, которые организовывались по возрастающей, начиная с «сотни» и выше. И хотя в них фактически доминировала местная власть, они все же представляли все сельское общество и, как и во времена Тацита, могли налагать вето на инициативы знати. Флотский сбор или *leding* для обслуживания военных судов выплачивался всеми свободными мужчинами. Королевские династии, ослабленные опасными и непрочными механизмами наследования, поставляли королей, чье вступление на престол должно было подтверждаться «избранием» провинциальным *thingom*. Таким образом, грабежи и обращение в рабство, производившиеся викингами за морем, позволили им сохранить сравнительную родовую свободу и юридическое равенство у себя дома.

После трех столетий заморских набегов и заселений динамика экспансии викингов в итоге подошла к концу с последним крупным норвежским нападением на Англию в 1066 году, когда Харальд Хардрада, в прошлом варяжский военачальник в Византии, потерпел поражение и погиб в битве при Стамфордском мосту. Символично, что плоды этой экспедиции пожали три недели спустя в битве при Гастингсе норманны, заморское датское общество, создавшее свои собственные новые военные и социальные структуры европейского феодализма.⁴⁴ Первые вторжения викингов в обстановке распада каролингской империи в IX веке ускорили кристал-

ется лучшим описанием средневековой Скандинавии. Мюссе добавляет, что даже в Норвегии и Исландии, где имело место рассеянное заселение и переносное скотоводство, расширенные «соседские» общины распределяли пахотные земли и имели общие пастбища. Крайне интересное рассмотрение скандинавского земельного держания *odd* и его многочисленных социальных коннотаций см.: A. Gurevich, 'Représentations et Attitudes à l'Égard de la Propriété pendant le Haut Moyen Age', *Annales ESC*, May-June 1972, p. 525–529. Термин «аллод» может быть этимологически связан с «одалом» посредством метатезы. Во всяком случае, пределы аллодиального владения можно увидеть — в крайней форме — в *одальном* владении викингов.

⁴³ Jones, *A History of the Vikings*, p. 148.

⁴⁴ И своим успешным феодальным вторжением с моря они были обязаны, конечно, своим скандинавским предкам.

лизацию феодализма. Теперь он окреп и вырос в полноценную институциональную систему, которая явно стала достаточно сильной, чтобы противостоять импровизированным и пережившим свое время набегам викингов. Отбившаяся от ладей Англия не устояла перед тяжелой конницей. Соотношение сил между Дальним Севером и остальной Западной Европой изменилось на противоположное — с этого времени уже западный феодализм стал оказывать постепенное и постоянное давление на Скандинавию и мало-помалу менял ее по своему образцу. Начнем с того, что прекращение заморской экспансии викингов само по себе неизбежно вело к радикальным переменам в самой Скандинавии. Это означало сокращение поставок рабов и вытекающий отсюда постепенный распад старых социальных структур.⁴⁵ И с исчезновением постоянного притока принудительного труда из-за рубежа социальная дифференциация могла происходить только путем последовательного подчинения земледельцев *bondi* местной знати и появления зависимых крестьян, возделывающих земли оседлой аристократии, социальная власть которой была теперь сухопутной, а не морской. Итогом этого процесса была постепенная стабилизация королевского правления и превращение региональных *jarlar* в провинциальных правителей, подчинивших себе работу местного *thing*. Постепенное введение христианства в Скандинавии, обращение в которое так и не завершилось до конца XII века, повсюду способствовало и подстегивало переход от традиционных полуплеменных обществ к монархическим государственным системам — норвежские языческие религии, составлявшие местную идеологию старого родового порядка, естественно, пали вместе с ним. Эти внутренние перемены проявились уже в XII веке. А в полной мере воздействие европейского феодализма на северных окраинах континента сказалось в XIII веке. Первым случаем победоносного использования тяжелой конницы стало сражение при Фотевики в 1134 году, когда германские наемные рыцари показали свою доблесть в Скании. Но только после того, как войско северогерманских правителей благодаря превосходству своей кавалерии разбило при Борнховеде в 1227 году датскую армию Вальдемара II, наиболее сильного скандинавского правителя Средневековья, военная организация феодализма со всеми ее социальными по-

⁴⁵ Рабство в конечном итоге исчезло в Исландии в XII, в Дании — в XIII и в Швеции — в XIV веке. Foote and Wilson, *The Viking Achievement*, p. 77–78.

следствиями была, наконец, пересажена на Север.⁴⁶ Шлезвиг стал первым по-настоящему феодальным владением, которое было пожаловано датской монархией в 1253 году. Вскоре последовали гербы, системы титулов и церемонии посвящения в рыцари. В 1279–1280 годах шведская аристократия получила юридическое освобождение от налогов (*fräsle*) в обмен на формальное обязательство рыцарской службы (*rusttjänst*) монарху. Таким образом, она стала отдельным юридическим классом по континентальному образцу, получавшим феодальные пожалования (*län*) от королей. Превращение местных аристократий в феодальную знать сопровождалось во всех скандинавских странах на протяжении вековой позднесредневековой депрессии последовательным ухудшением положения крестьянства. К 1350 году на долю свободных крестьян приходилось только две пятых норвежских земель.⁴⁷ В XIV веке шведская знать запретила бывшему классу *bondi* носить оружие и стремилась прикрепить его к земле, издавая законы, которые требовали от странствующих сельских жителей отработки трудовых повинностей.⁴⁸ *Thingar* были ограничены судебными функциями, а центральная политическая власть была сосредоточена в магнатском совете или *råd*, который обычно доминировал в средневековой политике этого периода. Сближение с континентальным образцом стало очевидным ко времени Кальмарской унии, которая в 1397 году формально объединила три скандинавских королевства в единое государство. Тем не менее скандинавский феодализм так и не успел из-за своего слишком позднего старта догнать континентальный. Он не смог полностью упразднить сильные сельские институты и традиции независимого крестьянства, которое еще не забыло о народных правах и собраниях земледельцев. Имелась еще одна важная детерминанта этой скандинавской исключительности — большая часть территорий была на протяжении всего позднего Средневековья и раннего Нового времени практически

⁴⁶ Erik Lönroth, 'The Baltic Countries', in *The Cambridge Economic History of Europe*, III, Cambridge 1963, p. 372.

⁴⁷ Foote and Wilson, *The Viking Achievement*, p. 88.

⁴⁸ Musset, *Les Peuples Scandinaves au Moyen Age*, p. 278–280. Слово *Fraise* означало «свободный человек» и первоначально представляло противоположность «рабу», когда оно обычно применялось к сельскохозяйственному классу *bondi*. Семантический сдвиг в слове к обозначению привилегий знати — в противопоставление к крестьянским обязанностям — отразил в себе всю социальную эволюцию позднесредневековой Скандинавии. См.: Foote and Wilson, *The Viking Achievement*, p. 126–127.

в безопасности от чужеземных вторжений; поэтому роль феодальных войн, которые везде вели к ограничению крестьянских свобод, была здесь значительно меньше, чем где-либо. Дания — особый случай, так как она располагалась на континенте и потому была значительно больше подвержена германским влияниям и вторжениям через пограничную область Шлезвиг-Гольштейна, в результате приблизившись в своем социальном устройстве к имперским землям. Но даже датское крестьянство не было полностью закрепощено до очень позднего времени — до XVII века — и вновь получило свободу столетие спустя. Норвегия, которая в конечном итоге попала под власть Копенгагена, управлялась датскоязычной аристократией, но при этом сохранила более традиционную сельскую структуру.

Но именно Швеция служила наиболее чистым примером общего типа скандинавских общественных формаций в позднесредневековую эпоху. На протяжении всего этого периода она была самой отсталой областью в регионе.⁴⁹ Это была последняя страна, которая сохранила рабство, существовавшее здесь практически до начала XIV века (оно было формально отменено только в 1325 году); последняя страна, которая была обращена в христианство; и последняя страна, которая пришла к единой монархии, которая оказалась более слабой, чем у соседей. Введенная в конце XIII века рыцарская служба, в отличие от Дании, не приобрела подавляющего значения как вследствие стратегической защищенности шведских широт, так и вследствие того, что местная топография — ковер лесов, озер и рек — никогда не подходила для тяжеловооруженной конницы. Поэтому производственные отношения в деревне так и не пережили полноценной феодализации. К концу Средневековья, несмотря на все посягательства аристократии, духовенства и монархии на крестьянские земли, шведское крестьянство все еще владело половиной возделываемых земель страны. Хотя позднее они были объявлены королевскими юристами *dominium directum* короля и запрещены к сдаче в аренду и разделу,⁵⁰ на самом деле они составляли широкий ал-

⁴⁹ Шведские земельные законы XIII–XIV веков показывают общество, все еще поразительно схожее во многих отношениях с тем, что было описано Тацитом в I веке; двумя главными отличиями были исчезновение племен и существование центральной государственной власти: K. Wührer, 'Die schwedischen Landschaftsrechte und Tacitus' Germania', *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts geschichte (Germ. Abteilung)*, LXXXIX, 1959, p. 1–52.

⁵⁰ Об этих запретах см.: Oscar Bjurling, 'Die ältere schwedische Landwirtschaftspolitik im Überblick', *Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrar-sojologie*, Jg 12, Hft 1,

лодиальный сектор, который должен был платить налоги королям, не имея более никаких иных обязательств и повинностей. Другая часть крестьян возделывала земли, принадлежащие монархии, церкви и знати, принося оброк и отработывая барщину соответствующим господам. Шведская знать провозгласила себя «королями над своими крестьянами» в конце XV века (1483 год) и в XVII веке объявила, что крестьяне как класс были *mediate subditi*,⁵¹ но реальное соотношение классовых сил на земле, опять-таки, сделало невозможным осуществление этих притязаний. Поэтому крепостничество в собственном смысле слова так никогда в Швеции и не установилось, а сеньориальный суд остался здесь практически неизвестным — суды были либо королевскими, либо народными. Манориальные кодексы (*gårdsrätt*) и тюрьмы приобрели большой вес лишь в краткое десятилетие в XVII веке. Поэтому не случайно, что, когда в начале Нового времени в Европе начали появляться парламенты, Швеция была единственной крупной страной, в которой в них было представлено крестьянство. Неполная феодализация производственных отношений в деревне, в свою очередь, неизбежно оказывала ограничивающее воздействие на политическую организацию знати. Система фео-дов, импортированная из Германии, никогда не отвечала в полной мере континентальному образцу. Скорее традиционные административные должности монархии, на которые назначались ведущие представители знати, теперь соединялись с феодами при региональной деволюции суверенитета; но эти *län* могли быть отозваны королевским правителем и не становились наследственной квазисобственностью знати, которой они были пожалованы.⁵² Но это отсутствие выраженной феодальной иерархии не означало особенно сильной монархии на ее вершине; напротив, как и везде в Европе этого времени, королевская верхушка политической системы была очень слабой. В позднесредневековой Швеции не происходило никакого возвышения феодальной монархии; скорее, в XIV–XV веках имело место возвращение к правлению совета (*råd*) магнатов, для которых Кальмарская уния, номинально возглавляемая датской династией в Копенгагене, служила удобной далекой ширмой.

1964, p. 39–41. Но в сравнительной перспективе они не отменили фундаментального значения мелкого крестьянского держания.

⁵¹ О знаменитом высказывании Пера Браге в этой связи см.: E. Hecksher, *An Economic History of Sweden*, Cambridge U. S. A. 1954, p. 118.

⁵² Michael Roberts, *The Early Vasas*, Cambridge 1968, p. 38; Lucien Musset, *Les Peuples Scandinaves au Moyen Age*, p. 165–167.

4. ФЕОДАЛЬНАЯ ДИНАМИКА

Феодализм в Европе, таким образом, возник в X веке, развился в XI веке и достиг своего расцвета в конце XII–XIII веках. Проследив некоторые из различных путей его введения в крупных западноевропейских странах, мы можем теперь рассмотреть общий экономический и социальный прогресс, который он означал.⁵³ К XIII веку европейский феодализм создал единую и развитую цивилизацию, которая была огромным шагом вперед по сравнению с примитивными и разрозненными обществами Темных веков. Свидетельства этого развития имеются в избытке. Первым и наиболее фундаментальным из них был порожденный феодализмом резкий рывок вперед в росте сельскохозяйственных излишков. Дело в том, что новые производственные отношения в деревне сделали возможным быстрый рост производительности в сельском хозяйстве. Техническими новшествами, служившими материальными инструментами этого развития, были,

⁵³ Одним из наиболее важных достижений медиевистики последних десятилетий стало глубокое понимание динамичности феодального способа производства. Еще сразу после окончания Второй мировой войны Морис Дobb в своих классических «Исследованиях развития капитализма» мог неоднократно говорить о «низком уровне техники», «плохой урожайности», «неэффективности феодализма как системы производства» и «застое в производительности труда того времени» (Maurice Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, London 1967, reedition, p. 36, 42–43). Несмотря на предостережения, содержащиеся в трудах Энгельса, такие представления, вероятно, были распространены среди марксистов этого времени; хотя надо отметить, что Родни Хилтон резко возражал против них, критикуя Дobbа за «склонность считать, что феодализм всегда и неизменно был отсталой экономической и социальной системой... На самом деле до конца XIII века феодализм в целом был растущей системой. В IX веке и даже раньше было произведено множество технических новшеств в производственных методах, что было большим шагом вперед по сравнению с методами классической античности. Начали возделываться обширные пространства лесов и болот, численность населения выросла, были построены новые города, во всех культурных центрах наблюдалась сильная и прогрессивная художественная и интеллектуальная жизнь» (*The Modern Quarterly*, Vol. 1, No. 3, 1947, p. 267–8). Сегодня большинство авторов — марксистов и немарксистов — согласились бы с общим утверждением Саутерна, когда он говорил о «скрытой революции этих веков». См. его замечания о значении этого периода европейского развития для мировой истории в книге: Southern, *The Making of the Middle Ages*, p. 12–13.

прежде всего, использование железного плуга для пахоты, упряжь для конской тяги, водяная мельница для получения механической силы, мергель для удобрения почвы и трехпольная система севооборота. Огромное значение этих изобретений, в создании и распространении которых важную роль сыграли и предшествующие идеологические преобразования, произведенные церковью, для средневекового сельского хозяйства не вызывает сомнения. Но их не следует изолировать и превращать в фетишизированные и определяющие переменные экономической истории эпохи.⁵⁴ Ведь очевидно, что простое существование этих технических новшеств вовсе не гарантировало их широкого применения. И действительно, между их первоначальным спорадическим появлением в Темные века и их конституированием в особую и преобладающую в Средневековье хозяйственную систему имел место разрыв в два-три столетия.⁵⁵ Ибо только формирование и консолидация новых *социальных производственных отношений* могли создать условия для их повсеместного применения. Они могли быть широко освоены только после кристаллизации в деревне развитого феодализма. Основную движущую силу сельскохозяйственного развития следует искать во внутренней динамике самого способа производства, а не в появлении новой технологии, которая была лишь одним из материальных выражений этой динамики. Мы уже видели, что феодальный способ производства определялся, среди прочего, скалярной *фрадацией* собственности, которая никогда не делилась на гомогенные и взаимозаменяемые единицы. Этот организующий принцип на уровне знати породил право отчуждения собственности и условное феодальное держание; в деревне он опре-

⁵⁴ Lynn White, *Mediaeval Technology and Social Change*, London 1963. В данном наиболее пространным исследовании технических нововведений феодальной эпохи как раз это и делается — мельница и плуг становятся здесь демиургами целых исторических эпох. Фетишизация этих артефактов у Уайт и ее обращение с источниками едко критикуется в работе: R. H. Hilton and P. H. Sawyer, 'Technical Determinism: the Stirrup and the Plough', *Past and Present*, No. 24, April 1963, p. 90–100.

⁵⁵ Дюби отмечает, что улучшенный плуг и упряжь все еще оставались редкостью среди европейского крестьянства в IX–X веках, и что конская тяга не имела широкого распространения до XII века: Duby, *Rural Economy and Country Life in the Mediaeval West*, p. 21. Крайняя осторожность Дюби контрастирует с вольностями Уайт. Различия в их датировках — это вопрос не просто хронологической точности, а каузального значения техники для развития феодального сельского хозяйства. Этот момент рассматривается выше.

делил разделение земли на собственно господские владения и крестьянские наделы, по отношению к которым господа также могли обладать разными правами. И именно это разделение собственно господских земель и крестьянских наделов в феодальном способе производства породило двойственную форму классовых противоречий между крестьянами и феодалами.

С одной стороны, феодал, естественно, стремился максимизировать и барщину на своих землях, и натуральный оброк с крестьянских наделов, находящихся за их пределами.⁵⁶ При этом уровень организации, достигнутый феодальной знатью в своих поместьях, нередко имел решающее значение для применения новых техник — наиболее очевидным примером этого, богато задокументированным Блоком, было введение водяной мельницы, которая, для того чтобы окупаться, нуждалась в определенном минимуме перерабатываемого зерна и потому породила одну из первых и наиболее долговечных сеньюриальных *banalités* или эксплуатационных монополий — местные крестьяне обязаны были приносить зерно для помола на мельнице господина.⁵⁷ Здесь феодал действительно был, по выражению Маркса, «руководителем и властелином процесса производства, а следовательно, и всего общественного жизненного процесса»⁵⁸ — то есть выполнял функцию, необходимую для сельскохозяйственного развития. В то же время это новшество, естественно, было введено для получения хозяином мельницы репрессивной выгоды за счет крепостных. Другие *banalités* носили чисто конфискационный характер, но большая часть их все же была связана с принудительным использованием более передовых средств производства, которые контро-

⁵⁶ Ван Бат утверждает, что соотношение между работой в господском хозяйстве и на наделах должно было составлять примерно 1 к 2, чтобы не слишком изнурять крепостных и тем самым не ставить под угрозу обработку господских земель, если не был доступен дополнительный наемный труд. Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 45–46. Однако восточноевропейский опыт, по-видимому, не подтверждает эту гипотезу, поскольку, как мы увидим далее, барщина здесь могла быть намного больше, чем на Западе.

⁵⁷ Блок рассматривает ее появление и значение последней в своей знаменитой статье: Bloch, 'The Advent and Triumph of the Water-Mill', in *Land and Work in Mediaeval Europe*, London 1967, p. 136–168. *Banalités* обычно вводились в X–XI веках после установления манориальной системы на следующем этапе закручивания гаек сеньорами.

⁵⁸ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 25, ч. II, с. 455. Замечание Маркса ретроспективно относится ко всей эпохе, предшествующей наступлению капитализма.

лировались знатью. *Banalités* вызывали у крестьян на всем протяжении Средневековья глубочайшую ненависть и их уничтожение всегда было первой целью крестьянских восстаний. Непосредственная роль господина в руководстве процессом производства и надзоре за ним, конечно, сокращалась с ростом излишков — с самого раннего времени за именными высшей знати, которая стала экономически паразитической, надзирали управляющие. Но ниже уровня магнатов мелкая знать и управляющие с целью получения максимального объема продукции обычно непосредственно контролировали использование земли и рабочей силы, причем социально-экономическое значение этой страты низшей знати в эпоху Средневековья устойчиво росло. Начиная с XI века аристократический класс в целом объединялся новыми схемами наследования, призванными защитить собственность знати от дробления, и у всех ее слоев росли запросы, связанные с комфортом и потреблением предметов роскоши, что служило мощным стимулом к росту поставок из деревни, а также появлению новых поборов, вроде *taille*, которая впервые начала взиматься с крестьян в конце XI века. Типичным свидетельством роли сеньоров в развитии феодального хозяйства того времени было распространение виноградарства в XII веке — вино было элитным напитком, а виноградники обычно были аристократическими предприятиями, использовавшими более квалифицированную рабочую силу и приносявшими более высокую прибыль, нежели зерновые культуры.⁵⁹ Вообще в манориальной системе в целом общая производительность на господских землях была, вероятно, заметно выше, чем на окружающих крестьянских наделах;⁶⁰ и это было связано не только с присвоением правящим классом лучших земель, но и со сравнительно большей экономической рациональностью их эксплуатации.

С другой стороны, массовые стимулы к средневековому сельскохозяйственному развитию имел как раз класс непосредственных производителей. Ведь феодальный способ производства, сложившийся в Западной Европе в жестких рамках манориальной системы, как правило, все же предоставлял крестьянству минимальные возможности для увеличения собственного урожая. Рядовому крестьянину приходилось отрабатывать барщину на землях сеньора — нередко до трех дней в неделю — и выполнять множество других повинностей; но он

⁵⁹ DUBY, *Guerriers et Paysans*, p. 266–7.

⁶⁰ M. Postan, 'England', *The Cambridge Economic History of Europe*, Vol. I, *The Agrarian Life of the Middle Ages*, p. 602; *The Mediaeval Economy and Society*, p. 124.

при этом мог попытаться увеличить урожайность своих наделов в остальные дни недели. Маркс заметил, что: «производительность остальных дней в неделю, которыми может располагать сам непосредственный производитель, есть величина переменная, которая необходимо развивается с ростом его опыта... Здесь дана возможность известного экономического развития».⁶¹ Оброк, который собирался сеньорами с крестьянских наделов, постепенно стал регулярным и стабильным, так что его обычные размеры могли быть изменены только в результате радикальных изменений в локальном соотношении сил между этими двумя классами.⁶² Тем самым результаты более высокой производительности труда могли теперь доставаться непосредственному производителю. Так, высокое Средневековье было отмечено устойчивым распространением зернового земледелия и ростом удельного веса пшеницы в посевах зерновых, что было, прежде всего, результатом труда крестьян, питавшихся в основном хлебом. Постепенно происходил переход к использованию для пахоты лошадей, более быстрых и более эффективных, хотя и более дорогих, по сравнению с использовавшимися ранее волами. По мере развития рассеянного сельского ремесленничества во все большем числе деревень стали появляться кузницы для местного производства железных орудий труда.⁶³ Это совершенствование техники вело к сокращению потребности в барщине в имениях знати и сделало возможным соответствующий рост вложений труда на самих крестьянских наделах. Но в то же самое время по мере роста численности населения в связи с развитием средневековой экономики происхо-

⁶¹ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 25, ч. I, 357.

⁶² R. H. Hilton, 'Peasant Movements in England before 1381', in *Essays in Economic History*, Vol. II, ed. E. M. Carus-Wilson, London 1962, p. 73–75. Маркс подчеркивал важность этой регулярности для целостности всего способа производства: «здесь, как и повсюду, господствующая часть общества заинтересована в том, чтобы возвести существующее положение в закон и те его ограничения, которые даны обычаем и традицией, фиксировать как законные ограничения. Это же, — оставляя все другое в стороне, — делается, впрочем, само собой, раз постоянное воспроизводство базиса существующего состояния, лежащих в основе этого состояния отношений, приобретает с течением времени урегулированную и упорядоченную форму, и эти регулярность и порядок сами суть необходимый момент всякого способа производства, коль скоро он должен приобрести общественную устойчивость и независимость от простого случая или произвола». Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 25, ч. II, с. 356.

⁶³ См.: Duby, *Guerriers et Paysans*, p. 213, 217–221.

дило устойчивое сокращение среднего размера крестьянских держаний в результате дробления с почти 100 акров в IX веке до 20–30 акров в XIII веке.⁶⁴ Обычно этот процесс приводил к росту социальной дифференциации в деревнях с главной разделительной линией, проходящей между семьями, которые имели плуги и лошадей, и семьями, которых их не имели; зарождающаяся страта «кулаков» обычно получала большинство благ от сельскохозяйственного прогресса в деревне и зачастую превращала самых бедных крестьян в зависимых работников, трудившихся на них. Но и богатые, и бедные крестьяне структурно противостояли господам, которые наживались на них, и постоянная рентная борьба между ними велась на всем протяжении феодальной эпохи (иногда перерастая и в открытую войну; хотя вообще в рассматриваемые столетия это было не так часто). Формы крестьянского сопротивления были необычайно многообразны: обращения в публичный суд (там, где он существовал, как в Англии) против непомерных сеньюральных притязаний, коллективный отказ выходить на барщину (протозабастовки), требования прямого сокращения ренты или уловки с взвешиванием урожая и замерами земли.⁶⁵ Феодалы – мирские или церковные, – в свою очередь, прибегали к юридической фабрикации новых повинностей и к прямому принудительному насилию для обеспечения роста ренты или отъема общинных или спорных земель. Борьба из-за ренты, таким образом, могла возникать на любом из полюсов феодальных отношений и обычно способствовала росту производительности на обеих сторонах.⁶⁶ И господа, и крестьяне объективно были вовлечены в кон-

⁶⁴ Rodney Hilton, *Bond Men Made Free*, London 1973, p. 28.

⁶⁵ Об этих различных формах борьбы, иногда скрытых, иногда явных, см.: R. H. Hilton, *A Mediaeval Society: The West Midlands*, p. 154–160; 'Peasant Movements in England before 1381', p. 76–90; 'The Transition from Feudalism to Capitalism', *Science and Society*, Fall 1953, p. 343–348; Witold Kula, *Théorie Economique du Système Féodale*, The Hague-Paris, 1970, p. 50–53, 146.

⁶⁶ Дюби, напротив, видит основную движущую силу в экономике этой эпохи только в крестьянстве. С его точки зрения, знать обеспечивала рост европейской экономики в период с 600 по 1000 год своим накоплением добычи и земель во время войны; крестьянство – в период с 1000 по 1200 своими достижениями в обработке земель в мирное время; а городская буржуазия – в период с 1200 года торговлей и производством в городах: Duby, *Guerriers et Paysans*, passim. Но несколько подозрительная симметрия этой схемы не подтверждается приводимыми им же свидетельствами. Весьма сомнительно, чтобы общее количество войн серьезно сократилось после 1000 года (как он сам признает

фликтный процесс, общие следствия которого двигали вперед все сельское хозяйство.

Одна область социального конфликта была особенно важна по своим последствиям для развития способа производства как такового. Поскольку общинные земли в деревне не были лучшими сельскохозяйственными землями, а огромные пространства были заняты девственными лесами, болотами или же представляли собой пустоши, споры по поводу земли, естественно, были эндемичными. Поэтому расчистка и освоение необработанных земель было наиболее плодотворным направлением экспансии сельского хозяйства в эпоху Средневековья и наиболее ярким выражением возросшей производительности феодального сельского хозяйства. И действительно, с 1000 по 1250 год развернулось широкое движение по освоению и колонизации новых земель. В этом широком процессе принимали участие и феодалы, и крестьяне. Крестьянские расчистки земель представляли собой постепенное расширение существующих границ пахотной земли за счет окружающих лесов или пастбищ. Освоение земель знатью обычно происходило позднее и в большем масштабе с привлечением огромных ресурсов для расчистки более трудных земель.⁶⁷ Но самое трудное освоение отдаленных пустошей было делом крупных монашеских орденов, прежде всего цистерцианцев, пограничные аббатства которых служили материальным свидетельством пользы католического антинатурализма. Продолжительность жизни монастыря была несопоставима с продолжительностью жизни барона, и монастырю не нужно было возмещать вложения труда, не-

в одном месте, р. 207); а активная роль феодалов в экономике XI–XII веков богато задокументирована самим Дюби. С другой стороны, трудно понять, почему в период до XI века главенствующая роль в экономике отводится военной деятельности знати, а не труду крестьян. На самом деле язык, используемый Дюби в его определении «главной движущей силы экономического развития», меняется на каждом этапе, (ср. явно противоречивые формулировки на р. 160 и 169 и на р. 200 и 237, где он последовательно связывает причинную роль то с войной и земледелием на фазе 1, то с мелкой знатью и крестьянами на фазе 2). Эти колебания отражают реальные аналитические трудности в блестящем исследовании Дюби. На самом деле, конечно, невозможно определить точные экономические соотношения субъективных ролей соперничающих классов того времени – именно объективная структура способа производства определяла их соответствующие – переменные – успехи в антагонистической социальной борьбе.

⁶⁷ См.: Duby, *Rural Economy and Country Life in the Mediaeval West*, p. 72–80.

обходимые для сложного освоения земель, обязательно в пределах жизни одного поколения. Поэтому превращением в пашни или пастбища самых отдаленных и трудных земель, для чего требовались долгосрочные экономические проекты, чаще всего занимались именно религиозные ордены. Но они же зачастую и особенно сильно угнетали крестьянство, так как религиозные общины были более «оседлыми», чем рыцари или бароны, нередко отправлявшиеся в далекие военные экспедиции. Противоречивые устремления и притязания, которые были результатом соперничества за новые области, таким образом, представляли собой еще одну форму классовой борьбы за землю. Иногда для того, чтобы привлечь рабочую силу для расчистки лесов или пустошей под пашню, знать освобождала крестьян из крепостного состояния; для крупных предприятий их представителям или *locatores* обычно приходилось обещать участникам этих расчисток особые феодальные поправки. В других случаях расчищенные крестьянами земли впоследствии, наоборот, захватывались и отчуждались знатю, а мелкие держатели этих участков даже делались крепостными.

Вообще в конце XII–XIII веках в сельском обществе Западной Европы можно было наблюдать глубоко противоречивое развитие. С одной стороны, земли, входящие в хозяйство знати и барщина на них в большинстве областей, за примечательным исключением Англии, сокращались. В имениях феодалов все чаще стали встречаться сезонные работники, получавшие заработную плату за выполнение обычных работ; а передача крестьянам господской земли в аренду при сокращении ее прямого использования господами существенно возросла. В некоторых областях, особенно в Северной Франции, крестьянские общины и деревни выкупали свою свободу у господ, которые желали получить деньги.⁶⁸ С другой стороны, в ту же эпоху наблюдалась новая волна закрепощения, которая лишала свободы прежде свободные социальные группы и с формулированием с конца XI века доктрины «прикрепления к земле» делала юридические определения несвободы более жесткими и точными. Свободные крестьянские владения, которые, в отличие от держаний крепостных, могли делиться при передаче по наследству, и одновременно подвергались давлению со стороны феодалов, теперь во многих регионах превращались в зависимые держания. Аллодиальные держания

⁶⁸ Такие выкупы обычно производились в областях, участвующих в рыночных отношениях, будь-то во Франции или Италии, деревнями, в которых доминировали богатые крестьяне: Hilton, *Bond Men Made Free*, p. 80–85.

в эту эпоху, когда происходило дальнейшее распространение системы феодальных владений, в целом сократились и пришли в упадок.⁶⁹ Эти противоречивые тенденции в сельском хозяйстве служили отражением неявной социальной борьбы за землю, которая и придавала эпохе ее экономическую жизненность. Именно эта скрытая, но непрестанная напряженность между правителями и народом, вооруженными хозяевами общества и подчиненными им непосредственными производителями, лежала в основе великого средневекового роста XII–XIII веков.

Результатом этого динамичного напряжения, присущего западной феодальной экономике, стал существенный рост общего производства. Приращение пахотных земель, конечно, невозможно количественно оценить в континентальном масштабе, поскольку из-за многообразия климатов и почв нельзя вывести какие-либо средние показатели, хотя и не приходится сомневаться, что почти везде оно было весьма значительным. Но рост урожаев получил хотя и осторожную, но все же более точную оценку историков. По расчетам Дюби, между IX и XIII веками средние урожаи зерновых выросли минимум с 2,5:1 до 4:1, а доля урожая, которой располагал производитель, удвоилась: «Существенная перемена в производительности, единственная в истории вплоть до прорыва XVIII–XIX веков, произошла в сельской местности Западной Европы между каролингским периодом и началом XIII века... Средневековое сельское хозяйство достигло в конце XIII века технического уровня, эквивалентного уровню тех лет, которые непосредственно предшествовали сельскохозяйственной революции».⁷⁰ Резкий рост производительных сил, в свою очередь, вызвал соответствующий демографический бум. С середины X по середину XIV века общая численность населения Западной Европы выросла более чем вдвое — с примерно 20.000.000 до 54.000.000 человек.⁷¹ Подсчитано, что средняя продолжительность жизни, состав-

⁶⁹ Boutruche, *Seigneurie et Féodalité*, II, p. 77–82, 102–104, 276–284.

⁷⁰ Duby, *Rural Economy and Country Life in the Mediaeval West*, p. 103–102. Эпохальное заявление Дюби кажется здесь преувеличенным — см. ниже в настоящей работе оценки урожаев в сельском хозяйстве после Средневековья у Ван Бата. Но сам его акцент на значительности средневекового роста вызвал всеобщую поддержку.

⁷¹ J. C. Russell, *Late Ancient and Mediaeval Populations*, Philadelphia 1958, p. 102–114. Население Франции, Британии, Германии и Скандинавии на самом деле, по-видимому, выросло за это время втрое; более низкие темпы роста в Италии и Испании снизили общие средние показатели.

лявшая в Римской империи 25 лет, к XIII веку в феодальной Англии возросла до 35 лет.⁷² И в этом растущем обществе после продолжительного спада в период Темных веков произошли возрождение торговли и возникновение и расцвет многочисленных городов как центров региональных рынков и мануфактурного производства.

Этот рост городских анклавов невозможно рассматривать в отрыве от их сельского окружения. В любом анализе высокого Средневековья неправильно жестко отделять город от села.⁷³ С одной стороны, большинство новых городов изначально либо непосредственно насаждались феодалами, либо пользовались их покровительством, поскольку феодалы, естественно, стремились овладеть местными рынками или получать доходы от торговли на дальние расстояния, собрав торговлю под своим крылом. С другой стороны, резкий рост цен на зерно с 1100 по 1300 год — примерно на 300% — создал благоприятную инфляционную почву для продажи городских товаров. Но, созданные и развитые в экономических целях, средневековые города вскоре приобрели относительную автономию, которая приняла зримую политическую форму. Первоначально находившиеся под властью представителей феодалов (Англия) или проживавшей в них мелкой знати (Италия), они затем вырастили свои специфически городские верхи, происходившие в основном из числа бывших феодальных посредников или преуспевающих торговцев и производителей.⁷⁴ Эти новые страты патрициев контролировали городскую экономику, в которой производство стало жестко регулироваться цехами, получившими распространение в последние десятилетия XII века. В этих корпорациях не было никакого отделения ремесленника-производителя от средств производства, и мелкие мастера образовывали плебейскую массу, подчиненную торгово-промышленной олигархии. Лишь во фламандских и итальянских городах имелся

⁷² R. S. Lopez, *The Birth of Europe*, London 1967, p. 398.

⁷³ Часто озвучиваемая точка зрения состоит в том, что, как пишет Постен, города этой эпохи были «нефеодальными островками в феодальных морях» (Postan, *The Mediaeval Economy and Society*, p. 212). Такое описание несовместимо с каким-либо компаративным анализом средневековых городов в рамках более широкой исторической типологии городского развития.

⁷⁴ О происхождении флорентийской, генуэзской и сиенской олигархий см.: J. Lestocquois, *Aux Origines de la Bourgeoisie: Les Villes de Flandre et de l'Italie sous le Gouvernement des Patriciens (Xle—XVe Siècles)*, Paris 1952, p. 45–51. Лучший общий анализ проблемы см.: A. B. Hibbert, 'The Origin of the Mediaeval Town Patriciate', *Past and Present*, No. 3, February 1953, p. 15–17.

значительный класс наемных городских работников, стоявший ниже этих ремесленников и обладавший особой идентичностью и интересами. Форма муниципального правления варьировалась в разных городах в зависимости от относительного веса в них «производственной» или «торговой» деятельности. Там, где центральное значение имела первая, цехи ремесленников в конечном итоге получали определенное участие в гражданской власти (Флоренция, Базель, Страсбург, Гент); а там, где решительно преобладала последняя, городские власти обычно состояли исключительно из торговцев (Венеция, Вена, Нюрнберг, Любек).⁷⁵ Крупные мануфактуры были сосредоточены в основном в двух плотно заселенных областях — Фландрии и Северной Италии. Шерстяные ткани были главным сектором роста, производительность в котором, по всей видимости, выросла более чем втрое с введением горизонтального ткацкого станка с педальным приводом. Но самую большую прибыль средневековый городской капитал получал, несомненно, от торговли на дальние расстояния и от ростовщичества. Принимая во внимание сохранявшееся (хотя и сократившееся) преобладание натурального хозяйства и все еще зачаточное состояние сети транспорта и коммуникаций в Европе, возможности дешевой покупки и дорогой продажи на несовершенных рынках были необычайно заманчивыми. Торговый капитал мог получать большую прибыль, просто выполняя посреднические функции между двумя регионами с разными потребительскими стоимостями.⁷⁶ Шампанские ярмарки, связывавшие Нижние земли с Италией с XII до начала XIV века, стали известным центром таких межрегиональных трансакций.

Кроме того, структурный *сплав* экономики и политики, который определял феодальный способ производства, не ограничивался одним только сеньюральным изъятием излишков сельскохозяйственной продукции. Внеэкономическое принуждение военно-политического характера точно так же свободно использовалось олигархиями патрициев, которые стали править средневековыми городами: вооруженные экспедиции для установления монополий, карательные набеги против конкурентов, военные кампании с целью навязывания разного рода поборов сельской округе. Кульминацией этого применения политического насилия для принудительного господства производства и обмена стал аннексионизм итальянских городов,

⁷⁵ См. замечания в: Guy Fourquin, *Histoire Economique de l'Occident Médiéval*, Paris 1909, p. 240–241.

⁷⁶ См.: Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 25, ч. II, с. 355–361.

с их жадным подчинением и выколачиванием продовольствия и трудовых повинностей из завоеванной сельской *contado*. Антисеньюоральный характер городских вылазок в Ломбардии или Тоскане не делал их антифеодальными в строгом смысле слова — это были, скорее, городские формы общего механизма изъятия излишков, типичного для той эпохи, направленные против сельских соперников. Тем не менее корпоративные городские общины, несомненно, представляли авангардную силу во всей средневековой экономике, поскольку они занимались исключительно товарным производством и опирались исключительно на денежный обмен. И сами громадные масштабы прибыли, получавшейся купцами в обстановке общей редкости денег в это время от их другого важнейшего занятия, свидетельствует о колоссальном прогрессивном значении этой их деятельности. Ведь максимальные доходы патрициям приносило банковское дело, которое позволяло получать астрономические проценты от грабительских ссуд правителям и знати, испытывавших нехватку наличных денег. «Ростовщичество живет как бы в порах производства, подобно тому как боги Эпикура жили в межмировых пространствах. Деньги получить тем труднее, чем меньше товарная форма является всеобщей формой продукта. Ростовщик не знает поэтому никаких иных границ, кроме дееспособности или способности к сопротивлению лиц, нуждающихся в деньгах».⁷⁷ Но «паразитический» характер этих операций не обязательно делал их экономически непроизводительными — плодотворные вливания средств в мануфактурное производство или транспорт часто истекали из полноводных рек ростовщичества. Возвращение золотой монеты в Европе в середине XIII века с одновременным началом чеканки януария и флорина в Генуе и Флоренции в 1252 году служило прекрасным символом коммерческой жизнеспособности городов.

Города также вернули феодальной Европе господство в окружающих морях — важнейший для ее роста дар. Городская экономика Средневековья всюду была неразрывно связана с морским транспортом и обменом; неслучайно два ее больших региональных центра в Северной и Южной Европе находились неподалеку от морского побережья. Первой предпосылкой возвышения итальянских городов было установление военно-морского господства в Западном Средиземноморье, которое было освобождено от мусульманских флотов в начале XI века. За этим последовали два других международных достижения — установление господства в Восточном Средиземноморье

⁷⁷ Там же, с. 148.

с победой первого крестового похода и открытие регулярных атлантических торговых путей из Средиземноморья к Ла-Маншу.⁷⁸ Именно морское владычество Генуи и Венеции гарантировало теперь Западной Европе поддержание постоянного активного торгового баланса с Азией, благодаря которому стало возможным возвращение к золоту. Масштаб богатства, накопленного в этих средиземноморских городах, можно оценить при помощи простого сравнения: в 1293 году морские налоги порта одной только Генуи в 3,5 раза превышали все королевские доходы во французской монархии.⁷⁹

Структурным условием этой городской мощи и процветания была, как мы видели, парцелляция суверенитета, свойственная феодальному способу производства в Европе. Это делало возможной *политическую* автономию городов и их освобождение от сеньориального или монархического контроля, что резко отличало Западную Европу от восточных государств той же эпохи с их намного большей концентрацией населения в столицах. Наиболее зрелой формой, которую принимала такая автономия, была *коммуна*, институт, напоминавший о непреодолимом разрыве между городом и деревней при всем их феодальном единстве. Коммуна представляла собой конфедерацию, основанную на обязательстве взаимной лояльности между равными: *conjuratio*.⁸⁰ Такая клятва в верности была аномалией в средневековом мире, так как, несмотря на взаимность феодальных вассально-ленных обязательств, они всегда представляли собой взаимные обязательства выше- и ниже стоящих на определенной иерархической лестнице. Городская *conjuratio*, основной договор коммуны и одно из наиболее близких действительных исторических соответствий формального «общественного договора», воплощала в себе совершенно новый принцип — общину равных. Естественно, знать, прелаты и монархи ненавидели и боялись ее. Для Гвиберта Ножан-

⁷⁸ О важности этих достижений см.: Bautier, *The Economic Development of Mediaeval Europe*, p. 96–100, 126–30.

⁷⁹ Lopez, *The Birth of Europe*, p. 260–261. Этот год был особым для Генуи: денежные поступления тогда вчетверо превысили поступления 1275 года и вдвое поступления 1334 года. Но возможность такого пика все равно поражает.

⁸⁰ Weber, *Economy and Society*, III, p. 1251–62. Отдельные замечания Вебера по поводу средневековых городов почти всегда точны и проницательны, но его общая теория не позволяет ему понять структурные причины их динамики. Он связывает городской капитализм Западной Европы с более поздним соперничеством между замкнутыми городами-государствами: М. Вебер, *История хозяйства*, М., 2001, с. 299.

ского в начале XII века *коммуна* была «новым и отвратительным словом». ⁸¹ На практике коммуна, конечно, ограничивалась узкой элитой в городах. Но хотя пример коммун вдохновлял союзы между городами в Северной Италии и в Рейнланде и даже рыцарские союзы в Германии, тем не менее в своих истоках этот новый институт восходил к самоуправлению автономных городов. Коммуна возникает тогда, когда ломбардские города свергли своих правителей-епископов и порвали цепь феодальной зависимости, в которую они раньше были интегрированы. Коммуны итальянского образца не получили распространения в Европе — они были привилегией лишь наиболее развитых экономических областей. Двумя другими местами, в которых они встречались, были Фландрия и (столетие спустя) Рейнланд. Но в обеих этих зонах они существовали благодаря хартиям самоуправления, полученным от феодальных сюзеренов; тогда как итальянские города сами раз и навсегда упразднили имперский сюзеренитет над Ломбардией в XII веке. Коммуны также играли важную роль на протяжении примерно столетия в вассальных областях за пределами королевских владений в Северной Франции, где их влияние гарантировало терпимое отношение со стороны монархии и к *bonnes villes* центра и юга. ⁸² С другой стороны, в Англии, где ведущая роль чужеземных торговых общин свидетельствовала об относительной слабости местного городского класса, города были слишком малы, чтобы получить экономический вес, необходимый для политического освобождения, за исключением Лондона, который, однако, как столица, оставался под прямым королевским контролем. ⁸³ Но по всей Западной Европе городские центры получили основные хартии и корпоративное муниципальное управление. В каждой стране средневековые города служили важнейшей экономической и культурной составляющей феодального порядка.

Именно на этой двойной основе впечатляющего прогресса в сельском хозяйстве и жизнеспособности городов возникли величественные эстетические и интеллектуальные памятники высокого Средневековья — огромные соборы и первые университеты. Ван Бат от-

⁸¹ Эта фраза попала на глаза и Марксу (Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 28, с. 324), и Блоку (Блок, *Феодальное общество*, с. 349). Для Жака де Витри, еще одного прелата, коммуны были «буйными и пагубными»: Lopez, *The Birth of Europe*, p. 234.

⁸² C. Petit-Dutaillis, *Les Communes Françaises*, Paris 1947, p. 62, 81.

⁸³ Лондон получил формальную хартию вольностей от Эдуарда III в 1327 году; но в позднем Средневековье город был надежно подчинен центральной власти монархии.

мечает: «В XII веке в Западной и Южной Европе начался период стремительного развития. В культурной и материальной области наибольшие успехи, которые оставались непревзойденными очень долгое время, были достигнуты в период между 1150 и 1300 годами. Значительный прогресс удалось достигнуть не только в богословии, философии, архитектуре, скульптуре, стекольном производстве и литературе, но и в материальном благосостоянии».⁸⁴ Истоки готической архитектуры, высшего продукта этого культурного «изобилия», служили прекрасным выражением общей энергии этой эпохи. Ее родиной была Северная Франция, колыбель феодализма начиная с Карла Великого, а ее родоначальником был Сугерий — аббат, регент и патрон, три ипостаси которого проявились в реорганизации и рационализации им владений Сен-Дени, консолидации и расширении власти капетингской монархии при Людовике VI и VII и появлении и распространении в Европе воздушного архитектурного стиля, поэтической программой которого служили религиозные вирши его собственного сочинения.⁸⁵ Эти внутренние достижения цивилизации средневекового Запада нашли свое внешнее отражение в его географической экспансии. Экспансивность феодального способа производства в момент его наивысшего развития породила международные крестовые походы 1000–1250 годов. Тремя основными направлениями этой экспансии были Балтия, Пиренеи и Левант. Германские и шведские рыцари завоевали и колонизировали Бранденбург, Пруссию и Финляндию. Мавры были оттеснены от Тахо в Сьерра Гранадю; Португалия была полностью очищена и в ней было основано новое королевство; Палестина и Кипр были отвоеваны у их мусульманских правителей. Завоевание самого Константинополя, окончательно разрушившее остатки старой Восточной империи, внешне довершило и символизировало торжество западного феодализма.

5. ОБЩИЙ КРИЗИС

В следующем столетии весь континент охватил огромный общий кризис. Как будет видно, именно этот кризис ретроспективно часто представляется водоразделом, определившим различные судьбы разных стран Европы. Его причины по-прежнему требуют систематиче-

⁸⁴ Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 132.

⁸⁵ Превосходную статью о Сугерии см.: Erwin Panofsky, *Meaning in the Visual Arts*, New York 1955, p. 108–145.

ского изучения и анализа, хотя его проявления к настоящему времени уже хорошо описаны.⁸⁶ Но самой глубокой детерминантой этого общего кризиса, вероятно, служит «заклинивание» механизмов воспроизводства системы в точке предельного развития ее возможностей. В частности, кажется очевидным, что основной двигатель, который на протяжении трех столетий толкал вперед всю феодальную экономику, в конечном итоге освоение новых сельскохозяйственных земель достигло своих объективных пределов как в отношении земли, так и в отношении возможностей, предоставляемых социальной структурой. Население продолжало расти, тогда как урожаи в условиях, когда при существующем уровне техники для освоения почти не оставалось пригодных земель, а почва истощалась из-за грубого обращения с ней, падали. Последние освоенные земли обычно имели не слишком высокое качество, это были влажные или слабые почвы, на которых труднее было заниматься сельским хозяйством и которые использовались для засеивания худших зерновых культур, вроде овса. С другой стороны, старейшие пахотные земли старились и приходили в упадок вследствие того, что они возделывались с незапамятных времен. Кроме того, рост пахотных земель зачастую достигался за счет сокращения пастбищ; следовательно, пострадало животноводство, а вместе с этим уменьшилось и количество удобрений для самого земледелия.⁸⁷ Так, средневековое сельское хозяйство те-

⁸⁶ Лучшим общим описанием кризиса по-прежнему остается: Leopold Génicot, 'Crisis: from the Middle Ages to Modern Times', in *The Agrarian Life of the Middle Ages*, p. 660–741. См. также: R. H. Hilton, 'Y Eut-Il une Crise Générale de la Féodalité?', *Annales ESC*, January-March 1951, p. 23–30. Дюби недавно выступил с критикой «романтической» идеи общего кризиса, утверждая, что в некоторых секторах в последние столетия Средневековья наблюдался значительный культурный и городской прогресс. Duby, 'Les Sociétés Médiévales: Une Approche d'Ensemble', *Annales ESC*, January-February 1971, p. 11–12. Но не нужно смешивать понятие кризиса с понятием упадка. Общий кризис способа производства никогда не бывает просто вертикальным падением. Ограниченное появление новых производственных отношений и производительных сил не только совместимо с нижней точкой падения, достигнутой в середине XIV века, но зачастую служит неотъемлемой составляющей такого падения, особенно в городах. Не стоит сомневаться в существовании общего кризиса просто потому, что он был приукрашен в романтической литературе.

⁸⁷ Лучшее рассмотрение этих процессов в позднефеодальном сельском хозяйстве содержится в: Postan, *The Mediaeval Economy and Society*, p. 57–72. Книга Постена посвящена Англии, но выводы из его исследования имеют общее значение.

перь должно было расплачиваться за свой прогресс. При расчистке лесов и пустошей не выказывалось должной заботы о сохранении земель; в лучшие времена удобрениями почти не пользовались, поэтому поверхностный слой почвы нередко быстро истощался; участились случаи наводнений и пыльных бурь.⁸⁸ Кроме того, в некоторых областях диверсификация европейской феодальной экономики, связанная с расширением международной торговли, привела к росту других направлений сельского хозяйства (виноградарства, льноводства, производства шерсти или скотоводства) за счет сокращения зернового производства и, следовательно, к росту зависимости от импорта со всеми сопутствующими этому опасностями.⁸⁹

⁸⁸ Postan, 'Some Economic Evidence of Declining Population in the Later Middle Ages', *Economic History Review*, No. 3, 1950, p. 238–240, 244–246; Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 132–144. Эти факты явно свидетельствуют о кризисе производительных сил при господствующих производственных отношениях. Они служат примером того, что Маркс называл структурным противоречием между этими силами и отношениями. Альтернативное объяснение кризиса, некогда осторожно выдвинутое Доббом и Косминским, является эмпирически спорным и теоретически редуционистским. Они утверждали, что общий кризис феодализма в XIV веке был вызван в основном линейным усилением феодальной эксплуатации, начиная с XI века, что в конечном итоге вызвало общие крестьянские восстания и, следовательно, крах старого порядка. См.: E. A. Kosminsky, 'The Evolution of Feudal Rent in England from the 11th to the 15th Centuries', *Past and Present*, No. 7, April 1955, p. 12–36; M. Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, p. 44–50; в работе Добба содержится больше нюансов. Эта интерпретация, по-видимому, не согласуется с общей тенденцией рентных отношений в Западной Европе в эту эпоху; более того, она превращает Марксову теорию сложных объективных противоречий в простое субъективное состояние классовых волей. *Разрешение* структурных кризисов в способе производства всегда зависит от прямого вмешательства классовой борьбы; но *зарождение* таких кризисов вполне может заставить врасплох все социальные классы в данной исторической тотальности, возникая на других ее структурных уровнях, а не из их непосредственного противостояния. Именно их столкновение в складывающейся чрезвычайной обстановке, как мы увидим на примере кризиса феодализма, затем определяет его исход.

⁸⁹ Но эта тенденция может преувеличиваться. Ботье, например, сводит весь экономический кризис XIV века к неблагоприятному побочному эффекту прогресса в сельскохозяйственной специализации, результату развития международного разделения труда: Bautier, *The Economic Development of Mediaeval Europe*, p. 190–209.

На фоне такого растущего экологического дисбаланса демографический рост мог в случае первого же серьезного неурожая привести к перенаселенности. Начало XIV столетия было отмечено такими бедствиями — 1315–1316 годы были годами европейского голода. Земли начали забрасываться, а показатели рождаемости упали еще до разразившихся на континенте немного позднее катаклизмов. В некоторых областях, вроде центральной Италии, взваливание на плечи крестьянства непомерных рентных платежей еще в XIII веке привело к снижению показателей его воспроизводства.⁹⁰ В то же время и городская экономика теперь столкнулась с некоторыми важными препятствиями своему развитию. Нет никаких оснований полагать, что мелкому товарному производству, на котором основывались мануфактуры, всерьез препятствовали цеховые ограничения или монополизм патрициев, которые правили городами. Но основное средство обращения, необходимое для товарного обмена, несомненно, было поражено кризисом — с первых десятилетий XIV века происходило возрастание дефицита денег, который неизбежно сказывался на банковском деле и торговле. Причины этого денежного кризиса темны и сложны. Но одним из основных его факторов была объективная ограниченность самих производительных сил. Как и в сельском хозяйстве, в горном деле был достигнут технологический предел, после которого эксплуатация становилась бессмысленной и убыточной. Добыча серебра, с которой был органически связан весь городской и денежный сектор феодальной экономики, стала в основных добывающих зонах Центральной Европы невозможной или невыгодной, потому что больше не было никакой возможности погружаться в еще более глубокие шахты или очищать еще более грязную руду. «В конце XIV века добыча серебра почти прекратилась. В Голсаре происходило повышение уровня грунтовых вод; те же проблемы с водой имелись и богемских шахтах. В Австрии спад начался уже в XIII веке. В Дойчброе добыча прекратилась в 1321 году, в Фрейсахе — около 1350 года, а в Брандесе (Французские Альпы) — око-

⁹⁰ Описание этого феномена в Тоскане см.: D. Herlihy, 'Population, Plague and Social Change in Rural Pistoia, 1201–1450', *Economic History Review*, XVIII, No. 2, 1965, p. 225–244. Сельское хозяйство Северной Италии, с другой стороны, было довольно нетипичным для Западной Европы в целом, и было бы неразумно делать общие выводы о рентных отношениях на основании одного только пистойского случая. Следует отметить, что следствием тосканской сверхэксплуатации было крестьянское бесплодие, а не восстание.

ло 1320 года».⁹¹ Нехватка металлов приводила к порче монеты в одной стране за другой и, следовательно, к росту инфляции.

Это, в свою очередь, вызывало рост ножиц цен в отношениях между городом и деревней.⁹² Сокращение численности населения привело к сокращению спроса на товары первой необходимости, вследствие чего цены на зерно после 1320 года резко упали. Городское производство и дорогостоящие товары, производимые для потребления феодалов, напротив, имели сравнительно неэластичную и элитарную клиентуру и росли в цене. Этот противоречивый процесс оказал значительное влияние на класс знати, так как ее образ жизни все больше зависел от предметов роскоши, производимых в городах (в XIV веке с распространением по всей Европе бургундской придворной моды наблюдался расцвет феодального показного потребления), тогда как барщина и феодальные повинности в их имениях сокращались, постепенно уменьшая доходы. В результате произошло сокращение доходов феодалов, что, в свою очередь, вызвало беспрецедентную волну войн, поскольку рыцари повсеместно пытались восполнить свое благосостояние грабежом.⁹³ В Германии и Италии эти поиски добычи вызвали феномен неорганизованного и анархичного разбойничества отдельных господ — безжалостные *Raubrittertum* в Швабии и Рейнланде и разбойнические *condottieri*, распространившиеся из Романьи по всей Северной и Центральной Италии. В Испании в результате давления тех же обстоятельств разразилась гражданская война в Кастилии, где знать раскололась на фракции, спорившие из-за династического наследования и королевской власти. Во Франции Столетняя война — убийственное сочетание гражданской войны между Валуа и бургундскими домами и международной борьбы между Англией и Францией с участием Фландрии и иберийских держав — погрузила самую богатую страну в Европе в беспрецедентные хаос и нищету. В Англии эпилогом окончательного поражения англичан во Франции стало баронское разбойничество войн Алой и Белой Розы. Война, рыцарское призвание знати, стало ее профессиональным товаром — рыцарская служба все больше уступа-

⁹¹ Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 106.

⁹² См.: Н. Miskimin, 'Monetary Movements and Market Structures — Forces for Contraction in Fourteenth and Fifteenth Century England', *Journal of Economic History*, XXIV, December 1964, No. 4, p. 483–90; Génicot, 'Crisis: from the Middle Ages to Modern Times', p. 691.

⁹³ О кризисе доходов знати см.: Fourquin, *Histoire Economique de l'Occident Médiéval*, p. 335–340.

ла место наемным капитанам и платному насилию. И везде жертвой этого было гражданское население.

В завершение этого обзора запустения надо сказать, что этот структурный кризис был сверхдетерминирован еще одной, случайно сошедшей во времени катастрофой — приходом Черной смерти из Азии в 1348 году. Это бедствие пришло в европейскую историю извне и принесло разрушения, сопоставимые с теми, которые европейская колонизация позднее принесла в американские и африканские общества (по своему воздействию она, возможно, была сопоставима с эпидемиями в Карибском бассейне). Перейдя из Крыма через Черное море на Балканы, чума бурей пронеслась через Италию, Испанию и Португалию, завернула на север во Францию, Англию и Нидерланды, а затем двинулась обратно на восток через Германию, Скандинавию и Россию. При уже ослабшем демографическом сопротивлении Черная смерть унесла с собой, вероятно, четверть жителей континента. После этого новые вспышки эпидемии стали периодически появляться во многих областях. Вместе с этими повторяющимися дополнительными эпидемиями потери к 1400 году составили, возможно, две пятых населения.⁹⁴ В результате острая нехватка рабочих рук возникла как раз тогда, когда феодальную экономику начали раздражать серьезные внутренние противоречия. Этот снежный ком различных бедствий вызвал острую классовую борьбу за землю. Знати, которой угрожали долги и инфляция, теперь противостояла недовольная и сокращавшаяся рабочая сила. Непосредственной реакцией знати была попытка вернуть свои излишки, прикрепив крестьян к поместью или снизив плату за труд в городах и деревне. Статуты о рабочих, введенные в Англии в 1349–1351 годах сразу же после Черной смерти, представляют собой одну из самых бесстыдных программ эксплуатации за всю историю европейской классовой борьбы.⁹⁵ Французский Ор-

⁹⁴ Russell, *Late Ancient and Mediaeval Population*, p. 131. В противовес традиционным интерпретациям среди современных историков стало модно принижать степень воздействия эпидемий XIV века на европейскую экономику и общество. Но по любым сравнительным меркам, такое отношение говорит о странно искаженном чувстве пропорции. Совокупные потери двух мировых войн в XX веке унесли куда меньше жизней, чем Черная смерть. Трудно даже представить, какие последствия могла бы иметь потеря 40% всего населения Европы на протяжении жизни двух поколений.

⁹⁵ «В то время как против злонамеренности слуг, которые стали дороги после чумы и не хотят служить иначе, как за чрезмерную плату, недавно был издан нашим сеньором королем с согласия прелатов, знати и других из его совета

донанс 1351 года по сути повторял положения, содержащиеся в английских Статутах.⁹⁶ Кастильские кортесы, собравшиеся в Вальядолиде в том же году, закрепили регулирование заработной платы. Не стало дело и за германскими правителями — схожие меры были введены в Баварии в 1352 году.⁹⁷ Португальская монархия приняла свои законы о *seismarias* два десятилетия спустя, в 1375 году. Но это стремление феодалов навязать крепостное состояние и взвалить на производящий класс издержки кризиса теперь столкнулось с резким насильственным противодействием, нередко возглавляемым более образованными и преуспевающими крестьянами и мобилизующим глубокую народную ненависть. Приглушенные и локализованные конфликты, которые были характерны для длительного периода феодального роста во время феодальной депрессии в средневековых обществах, которые к этому времени были уже куда более едины в экономическом и политическом отношении, внезапно слились в огромные регио-

ордонанс, что такого рода слуги, как мужчины, так и женщины обязаны служить, получая денежную плату и содержание, которые были обычным в местах, где они должны были служить в двадцатый год царствования названного нашего сеньора короля или пятью или шестью годами раньше, и что эти слуги в случае отказа служить таким образом будут подвергаться наказанию путем заключения в тюрьму... [и вот] оказывается, что названные слуги, не обращая никакого внимания на названный ордонанс, но лишь на свои удобства и свое чрезмерное корыстолюбие, отказываются служить как магнатам, так и другим, если не получают денежного жалования и содержания вдвое и втрое больше того, какое они обыкновенно получали в названный двадцатый год и перед тем, к великому урону магнатов и разорению всей общины, против чего эта же община просит какого-нибудь средства»: 'Статут о рабочих (1350–1351)', *Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы*. М., 1961, с. 265–266. Статут применялся ко всем, кто не имел достаточно земли, чтобы содержать себя, обязывая их работать на феодалов за фиксированный заработок; таким образом, он был нацелен против держателей мелких надделов как таковых.

⁹⁶ E. Perroy, 'Les Crises du XIVe Siècle', *Annales ESC*, April-June 1949, p. 167–181. Перруа замечает, что определяющую роль в французской депрессии середины столетия сыграли три фактора: зерновой кризис из-за плохих урожаев в 1315–1320 годах, финансовый и денежный кризис, приведший к последовательным девальвациям 1335–1345 годов, а затем демографический кризис после эпидемий 1348–1350 годов.

⁹⁷ Friedrich Lütge, 'The Fourteenth and Fifteenth Centuries in Social and Economic History', in G. Strauss (ed.), *Pre-Reformation Germany*, London 1972, p. 349–350.

нальные или национальные взрывы.⁹⁸ Проникновение в деревню товарного обмена ослабило сложившиеся отношения, а появление королевских налогов теперь часто дополняло здесь традиционные поборы знати; и то, и другое вело к централизации народной реакции на феодальные поборы или гнет в крупные коллективные движения. Уже в 1320-х годах Западная Фландрия стала театром яростной крестьянской войны против фискальных поборов ее французского сюзерена, а также повинностей и десятины ее местной знати и церкви. В 1358 году в Северной Франции полыхала Жакерия, пожалуй, самое крупное крестьянское восстание в Западной Европе со времен багаудов, вызванное военными реквизициями и грабежами во время Столетней войны. Затем в 1381 году разразилось восстание Уота Тайлера в Англии, подстегнутое новым подушным налогом, которое имело самые передовые и широкие цели из всех этих восстаний — ни больше ни меньше, чем полная отмена крепостничества и упразднение существующей правовой системы. В следующем столетии калабрийские крестьяне взбунтовались против своих арагонских господ во время крупного восстания 1469–1475 годов. В Испании крепостные *repetença* в Каталонии выступило против распространения «дурных обычаев», навязываемых им их баронскими господами, и в 1462 году, а затем в 1486 году последовали ожесточенные гражданские войны.⁹⁹ И это — только отдельные крупные эпизоды общеконтинентального явления, которое распространилось от Дании до Майорки. Между тем в наиболее развитых городских областях, во Фландрии и Северной Италии, произошли автономные коммунальные революции: в 1309 году мелкие мастера и ткачи Гента вырвали власть из рук патрициев и победили армию знати, которая собиралась разбить их при Куртре. В 1378 году Флоренция пережила еще более радикальное восстание, когда голодным чесальщикам-чомпи — не ремесленникам, а наемным работникам — удалось установить непродолжительную диктатуру.

Все эти восстания угнетенных, за частичным исключением движения *repetença*, потерпели поражение и были политически подавлены.¹⁰⁰ Но тем не менее их воздействие на окончательный исход боль-

⁹⁸ См.: Hilton, *Bond Men Made Free*, p. 96ff.

⁹⁹ В обеих этих областях серьезные волнения имели место уже в XIV веке: в неаполитанских землях при правлении представителя анжуйской династии Роберта I (1309–1343) и в Каталонии в 1380–1388 годах.

¹⁰⁰ Только крестьянство в одной стране Европы смогло успешно бросить вызов феодальному классу. Случаем Швейцарии часто пренебрегают при рассмотрении великих сельских восстаний позднесредневековой Европы. Но хотя

шого кризиса феодализма в Западной Европе было очень глубоким. Один из наиболее важных выводов, к которым приводит изучение великого краха европейского феодализма, заключается в том, что — вопреки представлениям, распространенным среди марксистов, — характерная «модель» кризиса способа производства состоит не в том, что мощные (экономические) производительные силы триумфально прорываются сквозь отсталые (общественные) производственные отношения и вскоре создают более высокую производительность и более передовое общество на их развалинах. Напротив, производительные силы обычно *застывают* и *отстают* при существующих производственных отношениях; эти отношения сами сначала должны быть радикально изменены и перестроены *прежде*, чем новые производительные силы смогут быть созданы и соединены в совершенно новый способ производства. Иными словами, в переходную эпоху изменение производственных отношений, как правило, *предшествует* изменению производительных сил, а не наоборот. Таким образом, в результате кризиса западного феодализма не произошло какого-то стремительного развития новой технологии в промышленности или сельском хозяйстве; это должно было произойти только после значительного перерыва. Непосредственным и решающим следствием было, скорее, глубокое социальное преобразование западной деревни. Крестьянские восстания той эпохи, несмотря на свое поражение, незаметно привели к изменениям в балансе классовых сил на земле. В Англии заработки в деревне заметно сократились с введением «Статута о рабочих», а после крестьянских восстаний они начали вновь расти, причем этот рост продолжался на протяжении всего следующего столетия.¹⁰¹ В Германии наблюдался тот же процесс. Во Франции экономический хаос, вызванный Столетней войной, нарушил все факторы производства, и потому заработок поначалу оставался относительно стабильным и соответствовал сократившимся объемам про-

швейцарское кантональное движение во многих отношениях, конечно, было историческим опытом *sui generis*, отличным от крестьянских восстаний в Англии, Франции, Испании, Италии или Нижних землях, его нельзя отделять от них. Оно было одним из основных эпизодов этой эпохи аграрной депрессии и социальной борьбы на земле. Его историческое значение рассматривается в продолжении этого исследования: Anderson, *Lineages of the Absolutist State*, p. 301–302.

¹⁰¹ E. Kosminsky, 'The Evolution of Feudal Rent in England from the 9th to the 15th Centuries', p. 28; R. Hilton, *The Decline of Serfdom in Mediaeval England*, London 1969, p. 39–40.

изводства; но даже здесь он начал заметно расти к концу столетия.¹⁰² В Кастилии уровень заработка в течение десяти лет (1348–1358) после Черной смерти вырос в четыре раза.¹⁰³ Таким образом, кризис феодального способа производства отнюдь не ухудшил положение непосредственных производителей в сельской местности, напротив, он привел к улучшению положения и освобождению крестьян, оказавшись переломным моментом в распаде крепостничества на Западе.

Причины этого очень важного результата, несомненно, состоят прежде всего в двойственности феодального способа производства, отмеченной в начале этого исследования. *Городской* сектор, структурно защищенный парцелляцией суверенитета в средневековом политии, развился теперь настолько, что мог решающим образом повлиять на исход классовой борьбы в сельскохозяйственном секторе.¹⁰⁴ Географическая локализация крупных крестьянских восстаний позднего Средневековья на Западе сама по себе показательна. Практически всегда восстания происходили в зонах с сильными городскими центрами, которые объективно служили ферментом народных волнений: Брюгге и Гент во Фландрии, Париж в Северной Франции, Лондон в юго-восточной Англии, Барселона в Каталонии. Присутствие крупных городов всегда было сопряжено с распространением рыночных отношений на близлежащую сельскую местность; и в переходную эпоху напряжения, порожденные таким полукommerциализированным сельским хозяйством ощущались в ткани сельского общества особенно остро. В юго-восточной Англии в районах, наиболее затронутых крестьянским восстанием, безземельные слуги и работники численно превосходили крестьян, имевших небольшие надель.¹⁰⁵ Сельские ремесленники играли заметную роль в войне во Фландрии. Области Парижа и Барселоны были наиболее раз-

¹⁰² E. Perroy, 'Wage-Labour in France in the Later Middle Ages', *Economic History Review*, Second Series, VIII, No. 3, December 1955, p. 138–139.

¹⁰³ Jackson, *The Making of Mediaeval Spain*, p. 146.

¹⁰⁴ Структурные взаимосвязи между преобладанием села и городской автономией в феодальном способе производства в Западной Европе особенно ярко видны на парадоксальном примере Палестины. В ней практически вся община крестоносцев — магнаты, рыцари, торговцы, духовенство и ремесленники — была сосредоточена в городах (сельскохозяйственным производством занимались местные крестьяне). Следовательно, это была единственная область, в которой не было никакой муниципальной автономии и не появилось никакого местного сословия горожан.

¹⁰⁵ Hilton, *Bond Men Made Free*, p. 170–172.

витыми в экономическом отношении областями Франции и Испании с самой высокой плотностью товарного обмена в стране. Кроме того, роль городов в крестьянских восстаниях того времени не ограничивалась их подрывным воздействием на традиционный феодальный порядок в их окрестностях. Многие города так или иначе активно поддерживали или помогали крестьянским восстаниям — из-за неоформленной народной симпатии снизу или корыстных расчетов патрициев сверху. Бедняки из Лондона присоединились к крестьянскому восстанию из чувства социальной солидарности; а богатые горожане при режиме Этьена Марселя в Париже оказали тактическую помощь Жакерии, преследуя собственные политические интересы. Торговцы и цехи Барселоны держались в стороне от восстаний *remença*; но ткачи Брюгге и Ипра были естественными союзниками крестьян в приморской Фландрии. Таким образом, и объективно, и нередко субъективно города влияли на характер и направленность крупных восстаний этой эпохи.

Но города вмешивались в судьбу деревни не просто или в основном в такие переломные моменты — они никогда не переставали делать этого и в обстановке внешнего социального мира. На Западе относительно плотная сеть городов оказывала постоянное гравитационное воздействие на баланс сил в сельской местности. Ибо, во-первых, преобладание этих рыночных центров делало бегство из крепостного состояния постоянной возможностью для недобровольных крестьян. Немецкая максима *Stadtluft macht frei* (воздух города делает человека свободным) была правилом для городских правительств по всей Европе, поскольку беглые крепостные вливались в рабочую силу на городских мануфактурах. Во-вторых, присутствие городов постоянно заставляло знать получать свой доход в денежном виде. Феодалы нуждались в наличных и не могли допустить всеобщего бродяжничества крестьян или их исхода в города. Поэтому они вынуждены были согласиться с общим ослаблением крепостной зависимости. В результате на Западе шла медленная, но верная замена повинностей денежным оброком и широкая передача господских земель в крестьянские наделы. Этот процесс развился раньше и дальше всего в Англии, где доля свободного крестьянства всегда была сравнительно высока; в ней к 1400 году держания крепостных стали постепенно превращаться в держания лично свободных арендаторов, а крепостническая система землепользования — в копигольдскую.¹⁰⁶ В следующем столетии, по-видимому, наблюдался значи-

¹⁰⁶ R. H. Hilton, *The Decline of Serfdom in Mediaeval England*, p. 44ff.

тельный рост общих реальных доходов английского крестьянства в сочетании с резко выраженной социальной дифференциацией в нем, поскольку «кулацкая» страга йоменов стала господствовать во многих деревнях, и в сельской местности распространился наемный труд. Но нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве была настолько острой, что, несмотря на сокращение площади возделываемых земель, земельная рента сокращалась, цены на зерно падали, а заработная плата росла — счастливое, хотя и кратковременное, стечение обстоятельств для непосредственного производителя.¹⁰⁷ Знать отреагировала на это все большим переключением на скотоводство для поставок шерстяной промышленности, которая развивалась в новых ткацких городах, уже начав движение огораживания; а также сложной системой использования вооруженной охраны, наемных банд и особых полномочий, которая обозначается как «ублюдочный феодализм» XV века¹⁰⁸ и основной ареной действия которой были земли, охваченные войной Йорков и Ланкастеров. Это новое стечение обстоятельств, вероятно, было более благоприятным для класса рыцарей, который получал доход от наемничества, чем для традиционных магнатских родов.

Процесс преобразований в Англии принял форму прямого перехода от барщины к денежному оброку. На континенте, как правило, происходило несколько более медленная эволюция от барщины сначала к натуральному оброку, а уже затем и к денежному. Это справедливо как для Франции, где окончательным следствием Столетней войны стало сохранение за крестьянами владения их участками земли, так и для юго-западной Германии.¹⁰⁹ Французский путь отли-

¹⁰⁷ Это сочетание описывается в: M. Postan, 'The Fifteenth Century', *Economic History Review*, Vol. IX, 1938–95 p. 160–7. Постен недавно заявил, что растущее благосостояние крестьян могло также на время привести к сокращению уровня коммерциализации в деревне, поскольку деревенские домохозяйства оставляли больше произведенной сельскохозяйственной продукции для собственного потребления: Postan, *The Mediaeval Economy and Society*, p. 201–204.

¹⁰⁸ K. V. MacFarlane, 'Bastard Feudalism', *Bulletin of the Institute of Historical Research*, Vol. XX, No. 61, May–November 1945, p. 161–181.

¹⁰⁹ Kohachiro Takahashi, 'The Transition from Feudalism to Capitalism', *Science and Society*, XVI, No. 41, Fall 1952, p. 326–7. Переход от барщины к денежному оброку был более прямым в Англии, потому что остров не пережил более раннего континентального перехода к натуральному оброку в XIII веке; поэтому трудовые повинности дольше сохранились здесь в своем первоначальном виде, чем где-либо еще. О колебаниях в Англии в XI и XIII веках (ослаблении, а затем

чался двумя чертами. Господа обращались к прямому выкупу чаще, чем где-либо, получая максимальную непосредственную прибыль от перехода. В то же самое время поздние королевские суды и римское право соединились для того, чтобы сделать крестьянские наделы после освобождения более наследственными, чем в Англии, так что в конечном итоге мелкая собственность здесь глубоко укрепилась; тогда как в Англии дворянство смогло избежать этого, заключая договоры копигольда безо всяких гарантий и на время, и тем самым облегчило себе более позднее выселение крестьян с земли.¹¹⁰ В Испании борьба крепостных крестьян в Каталонии против «шести дурных обычаев» в конечном итоге завершилась «Гваделупским вердиктом» 1486 года, когда Фердинанд Арагонский формально освободил их от этих повинностей. Наделы перешли в их постоянное владение, а их господа сохранили юрисдикционные и юридические права над ними; вместе с тем, чтобы не вводить в соблазн других, участники волнений *remença* были одновременно наказаны монархом.¹¹¹ В Кастилии, как и в Англии, землевладельческий класс отреагировал на нехватку рабочих рук в XIV веке широким переводом пахотных земель в пастбища для разведения овец, которое стало доминирующей ветвью сельского хозяйства на плоскогорье Месета. Производство шерсти вообще было одним из наиболее важных сеньоральных решений сельскохозяйственного кризиса; в позднесредневековый период европейское производство шерсти выросло, вероятно, почти в три-пять раз.¹¹² В кастильских условиях прикрепление к земле больше не имело веских экономических оснований, и в 1481 году толедские кортесы, наконец, предоставили крестьянам право покидать своих господ и тем самым отменили личную зависимость. С другой стороны, в Арагоне, где скотоводство не имело большого значения, города были слабее и существовала более жесткая феодальная иерархия, репрессивное манориальное устройство не было серьезно поколеблено в позднем Средневековье, и прикрепление к земле осталось

усилении повинностей) см.: M. Postan, 'The Chronology of Labour Services', *Transactions of the Royal Historical Society*, XX, 1937, p. 169–193.

¹¹⁰ M. Bloch, *Les Caractères Originaux de l'Histoire Rurale Française*, p. 131–133. Блок отмечает, что именно из-за этого укрепления крестьянства французские феодалы с XV века всеми силами стремились вернуть себе правовыми и экономическими средствами крупные имения для ведения собственного хозяйства, и достигли в этом заметных успехов: p. 134–154.

¹¹¹ Vicens Vives, *Historia de los Remensas en el Siglo XV*, p. 261–269.

¹¹² Bautier, *The Economic Development of Mediaeval Europe*, p. 210.

прочным.¹¹³ В Италии коммун почти всегда сознательно боролись с сеньюальной юрисдикцией, разделяя функции господина и землевладельца в своих *contado*. Болонья, например, освободила своих крепостных громкой декларацией уже в 1257 году. Фактически крепостничество полностью исчезло в Северной Италии уже к началу XIV века — за два-три поколения до того, как этот процесс произошел во Франции или Англии.¹¹⁴ Это раннее итальянское развитие только подтверждает правило, что городской катализатор определял распад крепостничества на Западе. С другой стороны, в Южной Италии с ее преимущественно баронским характером страшное обезлюдение XIV века привело к междоусобной борьбе среди знати и новой волне создания сеньюальных юрисдикций. Произошел широкий переход от пашни к пастбищам и рост размеров латифундий. Калабрийское восстание 1470–1475 годов, в отличие от практически всех остальных сельских восстаний в Западной Европе, не встретило никакого отклика в городах — крестьяне не получили никаких привилегий, и деревня погрузилась в глубокую экономическую депрессию. Напротив, раннее и безусловное господство городов в Северной Италии ускорило появление первых масштабных форм коммерческого сельского хозяйства с использованием наемного труда, впервые начавшимся в Ломбардии, и развитие краткосрочных арендных договоров и ипольщины, которые в течение столетия постепенно начали распространяться на север через Альпы в Западную и Южную Францию, Бургундию и Восточные Нидерланды. К середине XV века господские земли, обрабатываемые трудом крепостных, стали анахронизмом во Франции, Англии, Западной Германии, Северной Италии и большей части Испании.

¹¹³ О характере и сохранении крепостничества в Арагоне см.: Eduardo de Hinojosa, 'La Servidumbre de la Gleba en Aragon', *La España Moderna*, 190, October 1904, p. 33–44.

¹¹⁴ Philip Jones, 'Italy', in *The Agrarian Life of the Middle Ages*, p. 406–407.

II. ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

1. К ВОСТОКУ ОТ ЭЛЬБЫ

По другую сторону Эльбы экономические последствия великого кризиса были диаметрально противоположными. Теперь нам нужно обратиться к рассмотрению истории обширных областей к востоку от центральной территории европейского феодализма, находившихся выше Дуная, и особой природы развившихся там общественных формаций.¹ Для нас основной чертой всей равнинной зоны, простирающейся от Эльбы до Дона, является постоянное *отсутствие* этого особого западного синтеза между распадающимся общинно-племенным способом производства, основанном на примитивном сельском хозяйстве, в котором доминируют зачаточные военные аристократии, и распадающимся рабовладельческим способом производства с обширной городской цивилизацией, основанной на товарном обмене, и имперской государственной системой. За пределами франкских *limes* не произошло никакого структурного сплава различных исторических форм, сопоставимого с тем, что имел место на Западе.

Это основное обстоятельство исторически предопределило неравномерное развитие Европы в целом и постоянное отставание ее Востока. Огромные и отсталые области по ту сторону Карпат всегда лежали за пределами античности. Греческая цивилизация окаймляла берега Черного моря и имела отдельные колонии в Скифии. Но эти слабые морские форпосты не осуществляли проникновения во внутренние области Причерноморья и в конечном итоге были сметены сарматским нашествием в южнорусские степи, оставив после себя только археологические следы.² Римская цивилизация смогла за-

¹ Ниже Дуная Балканский полуостров образовывал отдельный регион, отличавшийся от остального Востока своей интеграцией в Византийскую империю. Его особая судьба будет рассмотрена позднее, когда пойдет речь о Юго-Восточной Европе.

² Ростовцев в своей первой крупной работе отмечал, что восточные влияния в Южной Руси, которая так и не подверглась серьезной эллинизации, всегда были важнее греческих: Rostovtsev, *Iranians and Greeks in South Russia*, Oxford 1922,

воевать и колонизировать большую часть земель Западной Европы, но это великое географическое распространение структур классической античности так и не повторилось в сколько-нибудь сопоставимом масштабе в Восточной Европе. Единственным крупным успехом в продвижении вглубь континента здесь стало присоединение Дакии Траяном — скромное приобретение, которое вскоре было потеряно. Внутренние восточноевропейские области так и не влились в систему Римской империи.³ Они не имели и тех военных и экономических контактов с империей, которые всегда поддерживала Германия, пусть и лежавшая за ее пределами. Римское дипломатическое, торговое и культурное влияние в Германии оставалось глубоким даже после вывода из нее легионов, а римское знакомство с ней — близким и точным. Но между империй и варварскими территориями на Востоке таких связей не было. Тацит, прекрасно осведомленный о германской социальной структуре и этнографии, понятия не имел о на-

р. vii–ix. Современное исследование черноморских колоний см.: J. Boardman, *The Greeks Overseas*, London 1964, p. 245–278.

³ Примечательно, что Дакия образовывала изолированный выступ, уязвимо выдающийся из линии имперских рубежей в трансильванские нагорья, при этом римлянами не предпринималось никаких попыток заполнить ее разрывы с основной территорией империи, образуемые равнинами, тянущимися к Паннонии на западе и Валахией на востоке. Возможно, нежелание римлян двигаться дальше во внутренние области Восточной Европы было связано с большой трудностью доступа в этот регион с моря, в отличие от обширной береговой линии Западной Европы, и потому его можно считать обусловленным самой внутренней структурой классической цивилизации. Возможно, в этом отношении показательно, что Август и Тиберий, по-видимому, обдумывали стратегическое расширение римской державы в Центральную Европу от Балтики до Богемии, ведь эта линия потенциально позволяла осуществить захват в «клещи» с Севера и Юга, предприняв экспедиции с Северного моря и вверх по германским рекам, наподобие тех, что проводились Друзом и Германиком. Имевшая решающее значение богемская кампания 6 года н.э. предполагала соединение армии Тиберия, выдвинувшейся из Иллирии, со второй армией, двигавшейся по Эльбе: Wells, *The German Policy of Augustus*, p. 160. Глубинные области Восточной Европы по ту сторону Эльбы были не так доступны. Во всяком случае, даже поглощение Богемии оказалось слишком сложным для римских сил. Еще одной причиной неспособности империи двигаться дальше в восточные области был степной характер многих земель, обычно населенных сарматскими кочевниками — естественная среда, роль которой будет рассмотрена ниже.

родах, проживавших за германцами. Дальше на восток пространство было мифическим и пустым: *cetera iam fabulosa*.⁴

Поэтому не случайно, что нам сегодня все еще очень мало известно о переселениях и перемещениях племен в Восточной Европе в раннехристианскую эпоху, хотя они и были огромными. Очевидно, что великие равнины к северу от Дуная, в прошлом служившие областью проживания остготов, вестготов или вандалов, в V веке были частично обезлюжены в результате *Völkerwanderungen* германских племен в Галлию, Италию, Испанию и Северную Африку. Фактически произошло общее смещение германских народов на запад и юг, расчищающее пространство для движения другой этнической группы племенных и сельскохозяйственных народов позади них. Славяне, вероятно, сформировались в области Днепра-Припяти-Буга и стали заполнять пустое пространство, оставленное германцами на востоке, в V–VI веках.⁵

Должно быть, в тех местах, откуда они были родом, произошел демографический взрыв, которым объясняется приливный характер этого движения. К концу VI века славянские племена заняли практически все огромное пространство от Балтии до Эгейского моря и Волги. Точный темп и распределение этих миграций остаются неясными, но их общие социальные последствия в следующие столетия достаточно очевидны.⁶ Славянские земледельческие общины постепенно двигались к более дифференцированной внутренней структуре по пути, уже проделанному германцами. Племенная организация сменилась нуклеарными деревенскими образованиями, которые объединяли близкие семьи, со все более индивидуализированной собственностью. Возникли военные аристократии с крупными землевладениями — сначала военные вожди, обладавшие исключительными полномочиями в племени, а затем более прочные правители-князья, обладавшие властью над крупными племенными союзами. Вооружен-

⁴ *quod ego ut incomperum in media relinquam* — «все прочее уже баснословно... и так как ничего более достоверного я не знаю, пусть это останется нерешенным и мною», — последние слова, на которых обрывается «Германия» Тацита.

⁵ См.: F. Dvornik, *The Slavs. Their Early History and Civilisation*, Boston 1956, p. 3–45; в этой работе автор помещает родину первых славян еще дальше на западе, между Вислой и Одером; а также: L. Musset, *Les Invasions: Le Second Assaut contre L'Europe Chrétienne (VII–IX^e Siècles)*, p. 75–79; в этой работе говорится: «Это заполнение громадных пустых пространств напоминает скорее наводнение, чем завоевание» (p. 81).

⁶ Типичный общий обзор см.: S. H. Cross, *Slavic Civilisation through the Ages*, p. 17–18.

ные свиты или охранники этих правителей образовали зачаточный землевладельческий правящий класс, возвышавшийся над свободным крестьянством. В этом отношении русская дружина была весьма схожа с германской *Gefolgschaft* или скандинавской *hirðh*, несмотря на локальные различия в них и между ними.⁷ Еще одной характерной чертой этих зачаточных социальных образований зачастую служили пленные-рабы, которые выполняли работы по дому и, в отсутствие класса крепостных, занимались обработкой земель родовой знати. Сохранившиеся общинные политические институты с народными собраниями или судами нередко сосуществовали с наследственной социальной иерархией. Сельское хозяйство оставалось крайне примитивным, а подсечно-огневой метод долгое время преобладал посреди бесконечных лесов. Городское развитие поначалу было очень слабым. Иными словами, развитие славянских народов на востоке было более или менее последовательным повторением развития германских народов, которые предшествовали им, до нашествия последних на Римскую империю и ассимиляции ими намного более передовой цивилизации в катастрофическом распаде обоих предшествующих способов производства. Это неуверенное «самостоятельное» развитие лишь подчеркивает огромную роль античности в формировании западного феодализма.

2. КОЧЕВНИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ

В то же время медленное развитие земледельческих славянских обществ на востоке в направлении стабильных государственных систем не раз прерывалось и нарушалось шедшими одно за другим нашествиями кочевников из Средней Азии, которые с начала Темных веков проносились по Европе, нередко доходя до самых границ запада. Сама география региона притягивала эти нашествия, которые оказали фундаментальное влияние на историю Восточной Европы. Он не только соседствовал с азиатскими рубежами скотоводческого кочевничества, и потому не раз принимал на себя основной удар нападений кочевников на Европу, играя для Запада роль своеобразного буфера, но имел также большое топографическое сходство с азиатскими степями, из которых эти кочевники периодически приходили. От побережья Черного моря и до лесов в верховьях Днепра

⁷ Frantisek Graus, 'Deutsche und Slawische Verfassungsgeschichte', *Historische Zeitschrift*, CXLVII, 1963, p. 307–311.

и от Дона до Дуная обширный пояс, включавший большую часть современной Украины и Крыма и сужавшийся к Румынии и Венгрии, образовывал ровное европейское пастбище, которое, будучи не таким засушливым, как азиатская степь, естественным образом подходило для скотоводства, но в то же время было пригодно и для оседлого земледелия.⁸ Эта зона сформировала широкий черноморский коридор, через который союзы кочевников, калейдоскопически сменявшие друг друга, накатывались вновь и вновь для разграбления и завоевания оседлых земледельческих обществ, лежавших далее. Таким образом, развитию стабильного сельского хозяйства в лесах Восточной Европы всегда препятствовали этот врезающийся в нее из Азии клин полустепных земель и разрушительные нападения кочевников, которых он притягивал.

Первым и самым известным ударом было страшное нашествие гуннов, которое, вызвав движение всего германского мира, привело к падению самой Римской империи в V веке. В то время как тевтонские племена переходили *en masse* через имперские границы, гуннский правитель Атилла создал захватническое государство по ту сторону Дуная, грабя Центральную Европу. Затем в VI веке на восток пришли авары, также грабя все на своем пути и установив свою власть над местным славянским населением. В VII веке болгарская конница была бичом паннонских и трансдунайских равнин. В IX–X веках мадьярские кочевники из своих опорных пунктов в Восточной Европе опустошали целые регионы. В XI–XII веках печенеги и куманы последовательно грабили Украину, Балканы и Карпаты. Наконец, в XIII веке монгольские армии наводнили Русь, разбили польское и венгерское сопротивление и после зимовки, проведенной у ворот Запада, свернули, чтобы разорить Балканы на своем обратном пути в Азию. Это последнее и самое серьезное нашествие оказало наиболее глубокое социальное и политическое влияние. Золотая Орда, тюркская ветвь империи Чингисхана, обосновавшаяся близ Каспия, установила 150-летнее данническое иго над Русью.

Форма и частота этих нашествий сыграли важную роль в формировании Восточной Европы. Хотя многое в восточноевропейской истории определялось, прежде всего, отсутствием классической античности, от западноевропейской истории ее также отличало и давление со стороны кочевого скотоводства. Ранняя история западного

⁸ Описание и обсуждение причерноморских пастбищ см.: D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth*, London 1971, p. 34–37; W. H. McNeill, *Europe's Steppe Frontier 1500–1800*, Chicago 1964, p. 2–9.

феодализма — это история синтеза между разлагавшимися первобытнообщинным и рабовладельческим способами производства, общественными формациями, в центре которых находились поля и города. Ранняя история восточного феодализма — это, в каком-то смысле, история отсутствия всякой возможности синтеза между оседлыми земледельческими и грабительскими скотоводческими обществами, способами производства полей и степей. Влияние нашествий кочевников, конечно, не следует переоценивать, но очевидно, что они существенно затормозили внутреннее развитие земледельческих обществ Восточной Европы. Чтобы оценить степень этого влияния, необходимо сначала сказать несколько слов об особенностях экономической и социальной организации кочевников. Кочевое скотоводство представляет собой особый способ производства со своей собственной динамикой, пределами и противоречиями, которые не следует путать с динамикой, пределами и противоречиями племенного или феодального земледелия.

В Темные и Средние века этот способ производства исторически преобладал в азиатских пограничных областях за пределами Европы, обозначая внешние границы континента. Это кочевничество не просто было первобытной формой хозяйства, более ранней и примитивной по сравнению с оседлым крестьянским земледелием. Типологически оно, вероятно, было результатом определенной эволюции в тех полу- и просто засушливых областях, где оно изначально возникло.⁹ На самом деле, особый парадокс кочевого скотоводства состоял в том, что в некоторых отношениях оно было гораздо более специализированным и квалифицированным использованием мира природы, нежели дофеодальное сельское хозяйство, хотя в то же время по самой своей сути имеющим более жесткие пределы развития. Этот путь эволюции, представлявший собой ответвление первобытного сельского хозяйства, поначалу достиг впечатляющих успехов, но в конечном счете оказался тупиком, тогда как крестьянское земледелие обнаружило намного больший потенциал общего социального и технического прогресса. Однако до определенного этапа кочевые общества в случае конфликтов нередко обладали значительным политическим превосходством над оседлыми в организации и применении силы, хотя и это превосходство, в свою очередь, также имело свои жесткие и порожденные имманентными ему противоречиями ограничения. Тюркские и монгольские скотоводы этой эпохи в силу

⁹ Owen Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, New York 1951, p. 61–65, 361–365; *Nomads and Commissars*, New York 1962, p. 34–35.

самого устройства своего способа производства и войска неизбежно были значительно менее многочисленными по сравнению с коренным славянским земледельческим населением, а их правление, за исключением прилегающих земель, обычно было эфемерным.

Кочевнические общественные формации определялись мобильным характером своих основных средств производства — стада, а не земли всегда составляли основное богатство перегонного скотоводства и отражали характер его системы собственности.¹⁰ В результате, кочевые общества обычно сочетали индивидуальную собственность на скот с коллективным использованием пастбищ. Животные принадлежали домохозяйствам, а пастбища были узурфруктом агнатических родов или племен. Но земельная собственность была не только коллективной — она еще была и не фиксированной, в отличие от земель в земледельческом обществе, которые служили объектом постоянного освоения и возделывания. Ведь кочевое ското-

¹⁰ Эта идея отстаивается С. Е. Толибековым в статье: С. Е. Толибеков, 'О патриархально-феодальных отношениях у кочевых народов', *Вопросы истории*, 1955, № 1, с. 77. Взгляды Толибекова отличаются от взглядов других советских специалистов, которые приняли участие в обсуждении кочевничества на страницах того же журнала, инициированном докладом: Л. П. Потапов, 'О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана', *Вопросы истории*, 1954, № 6, с. 73–89. Все остальные участники дискуссии — Л. П. Потапов, Г. П. Башарин, И. Я. Златкин, М. М. Эфендиев, А. И. Першиц, С. З. Зиманов — утверждали, что именно земля, а не стада составляла основное средство производства кочевых общественных формаций, и эта позиция получила поддержку в редакционной статье в конце дебатов (*Вопросы истории*, 1956, № 1, с. 77). Эти разногласия имели место в рамках общего согласия относительно того, что кочевые общества были по своей сути «феодальными», хотя и не без примеси «патриархальных» пережитков — отсюда понятие «патриархального феодализма» для обозначения кочевых социальных структур. Коллеги Толибекова полагали, что он необоснованно ослабил эту классификацию, подчеркивая различия между кочевым и сеньюральным типами собственности. На самом деле, кочевничество явно представляет собой отдельный способ производства, несовместимый с земледельческим феодализмом, как давно и справедливо отмечалось в работе: Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, p. 66ff. Вполне очевидно, что сам Маркс считал кочевое скотоводство особым способом производства, как можно увидеть из его замечаний по поводу скотоводческих обществ в его введении 1857 года: Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 12, с. 724, 733. Но он ошибочно полагал, что монголы были прежде всего животноводами.

водство означало постоянное перемещение стад и отар с одного пастбища на другое в сложном сезонном цикле. По словам Маркса: «У кочевых пастушеских племен, — а все пастушеские народы первоначально были кочевыми, — земля, наравне с прочими природными условиями, выступает в своей первичной безграничности, например в степях Азии и на азиатском плоскогорье. Ее используют как пастбище и т. д., на ней пасутся стада, которые, в свою очередь, доставляют средства существования пастушеским народам. Они относятся к земле как к своей собственности, хотя они никогда не фиксируют этой собственности... *Присваивается и воспроизводится* здесь на самом деле только стадо, а не земля, которую, однако, на каждом месте стоянки временно используют *сообща*».¹¹ «Собственность» на землю, таким образом, означала возможность периодического и регулируемого прохождения по ней; по выражению Латтимора, «право передвигаться, а не право останавливаться составляло главную “собственность”».¹² Перегонное скотоводство означало циклическое использование, а не абсолютное владение. Таким образом, в кочевых обществах социальная дифференциация могла возникать весьма быстро, не обязательно нарушая их родовое единство. Богатство скотоводческой аристократии основывалось на размере ее стад и в течение долгого времени вполне могло оставаться совместимым с общинным циклом перемещения и пастбы. Даже самые бедные кочевники обычно владели несколькими животными, так что неимущего класса зависимых производителей обычно не существовало, хотя хозяйства рядовых кочевников, как правило, имели различные повинности по отношению к главам родов и представителям знати. Постоянные усобицы в степях также вели к появлению «зависимых» родов, кочевавших вместе с победившим родом, сохраняя при этом подчиненную роль.¹³ Хотя военнопленные могли становиться домашними рабами, они никогда не были многочисленными. Для принятия важных решений созывались родовые собрания; вожди племен, как пра-

¹¹ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 46, ч. I, с. 479–480.

¹² Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, p. 66.

¹³ В. Я. Владимирцов, *Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм*, Ленинград 1934, с. 64–65. Работа Владимирцова о монголах была первопроходческим исследованием в этой области, которое до сих пор продолжает оказывать влияние на советских ученых. В редакционной заметке в «Вопросах истории» 1956 года, процитированной выше, она оценивается очень высоко, несмотря на неприятие представления Владимирцова об особом кочевом феодализме, отличном от оседлых обществ (*там же*, с. 75).

вило, были полуизбираемыми.¹⁴ Аристократическая страта обычно следила за распределением пастбищ и регулированием перегонов.¹⁵

Организованные таким образом кочевые общества обнаруживали выдающиеся навыки использования своей суровой окружающей среды. Стада типичного рода были очень пестрыми по своему составу. Они включали лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов и овец, причем последние служили основной социальной формой богатства. Все они требовали различных навыков в уходе за ними и различных земель для выпаса. Точно так же сложные годовые циклы переселения требовали точного знания спектра различных земель в соответствующие сезоны. Искусная эксплуатация этих смешанных средств производства предполагала определенную коллективную дисциплину, навыки в проведении сложных совместных трудовых операций и технический опыт. Возьмем самый очевидный пример — владение кочевниками искусством верховой езды, вероятно, представляло собой более высокий уровень мастерства, чем любая трудовая практика в средневековом крестьянском хозяйстве. Но в то же самое время этот кочевой способ производства имел и свои очень жесткие ограничения. Начнем с того, что он мог содержать только небольшую рабочую силу — стада всегда значительно превосходили по численности кочевые народы, так как численное соотношение скота и людей, необходимое для перегона скота в полузасушливых степях, было очень высоким. Серьезный рост производительности, сопоставимый с ростом производительности в земледелии, был невозможен, поскольку основным средством производства была не земля, которая непосредственно обрабатывается и подвергается качественному воздействию, а стада, зависевшие от земли, на которую кочевники никак не воздействовали, что делало возможным чисто количественный рост. Тот факт, что при кочевом способе производства основные объекты труда и средства труда во многом были идентичными — скот, — накладывал непреодолимые ограничения на результаты труда. Скотоводческие циклы производства были намного длиннее земледельческих и в них отсутствовали перерывы, создающие возможность развития сельских

¹⁴ Владимирцов, *Общественный строй монголов*, с. 79–80.

¹⁵ И. Я. Златкин, 'К вопросу о сущности патриархально-феодалных отношений у кочевых народов', *Вопросы истории*, 1955, № 4, с. 78–79. Златкин подчеркивает, что зависимые кочевники, численность и степень зависимости которых он переоценивает, были связаны с личностью своих кочевых господ, а не с землей: «эти отношения, если можно так выразиться, кочуют вместе с кочевниками» (с. 80).

ремесел; кроме того, в них участвовали все члены рода, включая вождей, что исключало появление разделения физического и умственного труда и, следовательно, грамотности.¹⁶ Но прежде всего, кочевничество по определению практически исключало формирование или развитие городов, которому всегда в конечном итоге способствовало оседлое земледелие. Поэтому после достижения определенного порога кочевой способ производства неизбежно приводил к застою.

Поэтому кочевые общества на своих бесплодных землях обычно были голодными и бедными. Они редко бывали самодостаточными, как правило, обмениваясь продуктами с соседними земледельческими обществами в слабой торговой системе.¹⁷ Но они имели одну возможность экспансии, которую обычно блестяще использовали — получение дани и завоевание. Искусство верховой езды, которое было главным хозяйственным навыком кочевников-скотоводов, давало им важное преимущество в военном деле — они имели лучшую конницу в мире. Они первыми овладели искусством стрельбы из лука с лошади, и от Атиллы до Чингисхана их превосходство в этом виде оружия было тайной их огромной военной мощи. Непревзойденная способность кочевой конницы быстро покрывать большие расстояния и жесткая дисциплина и организация в далеких походах были еще одним важным для ведения войны достоинством.

Таким образом, сами структурные особенности кочевых общественных формаций обычно воспроизводили типичный цикл грабительского роста и затем «схлопывания», когда степные кланы внезапно могли вырастать в огромные империи, а затем также быстро исчезать в пыльном мраке.¹⁸ Этот процесс обычно начинался с набегов на близлежащие торговые пути или центры, непосредственные объекты контроля и грабежа — практически все кочевые народы выказывали прекрасное понимание важности денежного богатства и товарного обращения.¹⁹ На следующем этапе происходил сплав

¹⁶ См. прекрасный анализ: Толибеков, 'О патриархально-феодальных отношениях', с. 78–79.

¹⁷ М. М. Эфендиев, А. И. Першиц, 'О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевников-скотоводов', *Вопросы истории*, 1955, № 11, с. 65, 71–72; Latimore, *Inner Asian Frontiers of China*, p. 332–335.

¹⁸ Наиболее яркое исследование этого процесса, в котором прослеживается развитие первого крупного нашествия кочевников на Европу, см.: E. A. Thompson, *A History of Attila and the Huns*, Oxford 1948.

¹⁹ Маркс как-то заметил: «Кочевые народы первые развивают у себя форму денег, так как все их имущество находится в подвижной, следовательно, непосред-

соперничающих кланов и племен в степи в союзы для внешней агрессии.²⁰ Затем начинались настоящие завоевательные войны, которые часто разворачивались одна за другой на огромных пространствах и вызывали переселение целых народов. Конечным итогом могла быть огромная кочевая империя. В предельном случае монголов территория империи превосходила территорию любой другой предшествующей или последующей государственной системы. Но по самой своей природе жизнь этих империй была короткой. Ибо они неизменно основывались на элементарной дани — прямом изъятии богатств и рабочих рук у завоеванных обществ, которые обычно были социально более развитыми, чем само господствующее кочевое общество, и во всех остальных отношениях оставались незатронутыми им. Денежная добыча была главной целью этих, как их назвал румынский историк Йорга, «государств-хищников»;²¹ их налоговая система была предназначена для поддержания захватнических войск кочевников и обеспечения дохода новой степной аристократии, стоявшей во главе основанного на дани государства. Кроме того, покоренные общества часто должны были поставлять рекрутов для существенно разросшейся военной системы кочевников и ремесленников для их недавно построенной политической столицы.²² Сбор налогов, контроль над торговыми путями, набор рекрутов и увод в полон ремесленников — административная деятельность кочевых государств, по сути, ограничивалась только этим. Поэтому они были просто паразитарными образованиями, не укорененными в системе производ-

ственно отчуждаемой, форме и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов» (Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 23, с. 99). Естественно, он заблуждался, полагая, что кочевые общественные формации первыми изобрели деньги.

²⁰ Владимирцов, *Общественный строй монголов*, с. 85. В случае с монголами на этом этапе возникал феномен, параллельный феномену дружины в дофеодальных общественных формациях — неродовые и противостоящие родам группы свободных воинов или *nokod* на службе племенных вождей. Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 23, с. 87–96.

²¹ См.: N. Iorga, 'L'Interpénétration de l'Orient et de l'Occident au Moyen Age', *Bulletin de la Section Historique*, XV (1929), Academia Romana, p. 16. Йорга был одним из первых европейских историков, осознавших важность и своеобразие этих государств для истории восточных областей континента; более поздние румынские историки многим обязаны именно ему.

²² См. описания в: Г. В. Вернадский, *Монголы и Русь*, М., 2000, с. 95, 124, 222. Монгольские армии также привлекали ремесленников в свои инженерные корпуса.

ства, за счет которой они богатели. Основанное на получении дани государство просто изымало значительные излишки из существующей системы распределения, не меняя существенно покоренные экономику и общество, а только затормаживая и сдерживая их развитие. Но после создания такой империи само кочевое общество подвергалось стремительным и радикальным изменениям.

Военное завоевание и налоговая эксплуатация неизбежно и резко стратифицировали первоначально родовые общества; переход от племенных союзов к основанному на дани государству автоматически порождал княжеские династии и правящую знать, оторванные от остальных кочевников, организованных в регулярные армии, которыми они командовали. В случаях, когда первоначальная территориальная база кочевников сохранялась за ними, создание постоянных полевых армий само делило кочевое общество по вертикали; значительная его часть теперь была оторвана от своей скотоводческой родины, выполняя привилегированные обязанности гарнизонных войск на чужих и более богатых завоеванных землях. Таким образом, они становились все более оседлыми и ассимилировались более развитым или более многочисленным населением, которое они контролировали. Конечным итогом этого могла быть полная денондация армий и администрации завоевателей и их религиозное и этническое слияние с местным правящим классом.²³ Затем обычно следовал социальный и политический распад всей империи по мере того, как примитивные кочевые роды дома отрывались от своих привилегированных и деморализованных ветвей за рубежом. В случаях, когда мигрировали целые кочевые народы, чтобы сформировать империю на новых землях, все равно возникали те же дилеммы: либо кочевая знать постепенно отказывалась от скотоводства вообще и сливалась с местным землевладельческим классом, либо общество оставалось полускотоводческим, продолжая паразитировать на покоренных народах, а численное превосходство последних в конечном итоге приводило к успешному восстанию и свержению завоевателей.²⁴ Слой кочевников-завоевателей, стоящих над завое-

²³ См.: Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, p. 519–523, в которой рассматривается в основном монгольский пример. Конечно, ни среди монгольских, ни среди маньчжурских завоевателей Китая полной культурной ассимиляции не произошло: в обоих случаях особая этническая идентичность сохранялась до тех пор, пока созданные ими династии не были свергнуты.

²⁴ Описание гуннского случая см.: Thompson, *A History of Attila and the Huns*, p. 177–183. Но Томпсон ошибался, полагая, что гунны отказались от скотоводства после

ванным населением, всегда, вследствие внутреннего устройства самого кочевничества, был очень тонким — в предельном случае владений Чингисхана отношение монголов к покоренным народам составляло 1:100.²⁵ Империи кочевников — походные или переселенческие — были подвержены тому же циклу роста и распада, потому что перегонное скотоводство как способ производства было структурно несовместимо с устойчивой даннической администрацией как политической системой. Кочевые правители переставали быть либо кочевниками, либо правителями. Перегонное скотоводство могло существовать и действительно существовало в шатком симбиозе с оседлым сельским хозяйством в засушливых степных зонах, когда каждая из этих двух форм производства сохраняла свой особый характер и свою территорию и зависела от другой лишь в ограниченном обмене продуктами. Но, когда скотоводческие роды устанавливали хищническое государство над оседлым земледельческим населением в его собственной области, кочевое скотоводство никогда не образовывало *синтеза* с земледелием.²⁶ Не появилось никаких новых соци-

создания паннонской империи на Дунае. Для этого она просуществовала слишком мало. Венгерский историк Харматта показал, что быстрый отказ от коневодства подорвал бы непосредственную основу военного могущества гуннов в Центральной Европе; см.: J. Harmatta, 'La Société des Huns à l'Époque d'Attila', *Recherches Internationales*, No. 2, May-June 1957, p. 194, 230.

²⁵ Вернадский, *Монголы и Русь*, с. 132.

²⁶ Браун недавно сравнил судьбы Римской и китайской империй, столкнувшихся со своими варварскими завоевателями, осудив жесткость и неспособность первой ассимилировать своих германских завоевателей и пережить их в качестве цивилизации, в отличие от гибкости и способности последней терпимо принять своих монгольских завоевателей и поглотить их: Brown, *Religion and Society in the Age of Saint Augustine*, p. 56–57, *The World of Late Antiquity*, p. 125. Но такое сравнение представляет собой паралогизм, показывающий ограниченность «исторической психологии», которая составляет отличительную особенность — и заслугу — плодотворной работы Брауна. Ибо различие между этими двумя исходами является следствием не разных субъективных культурных установок классической римской и китайской цивилизаций, а разной материальной природы конфликтующих общественных формаций в Европе и Азии. Расширенное пустынное кочевничество никогда не могло слиться с интенсивным, основанным на ирригации, земледелием китайской империи, а вся экономическая и демографическая полярность между ними, следовательно, отличалась от той, что дала рождение романо-германскому синтезу в Западной Европе. Причины

альных или экономических форм. Кочевой способ производства оставался историческим тупиком.

Типичное развитие всего цикла кочевнического завоевания действительно было таким, но в рамках этой общей закономерности у отдельных скотоводческих народов, которые обрушивались на Восточную Европу со времен Средневековья, все же имелись определенные важные различия, которые теперь можно вкратце обозначить. Основным географическим магнитом для армий конных лучников, которые последовательно пересекали континент, была паннонская равнина современной Венгрии. Альфельдская низменность, простирающаяся от Дуная до Тисы, венгерская *puszta*, была топографической зоной в Европе, больше всего напоминавшей степные земли Средней Азии; это плоская равнина, лишенная деревьев и идеально подходящая для разведения лошадей.²⁷ Кроме того, паннонская *puszta* предлагала естественные стратегические преимущества в силу своего положения в центре Европы; она обеспечивала территориальную базу, позволявшую совершать удары по другим частям континента в любом направлении. Поэтому гунны основали здесь свою империю; авары разместили свои круговые лагеря в том же регионе; болгары избрали его своим первым пристанищем; мадьяры, в конце концов, сделали его своей постоянной родиной; печенег и куманы искали в нем свое последнее прибежище; а монголы, вторгшись в Европу, остановились и провели зиму тоже здесь. Из этих народов оседлыми стали только венгерские кочевники после своего поражения в битве при Лехфельде, окончательно превратившись в постоянное земледельческое общество в бассейне Дуная. Гуннская империя была разрушена, не оставив никаких следов, в результате восстания покоренного населения, в основном германских племен, в битве при Недао в середине V века, и гунны полностью исчезли из истории. Аварская империя была свергнута ее славянским данническим населением в VII веке, также не оставив в Европе никаких этнических следов. Булгары, еще один тюрко-татарский народ, были изгнаны из Паннонии, но создали ханство на юго-востоке Балкан, а их знать в конечном итоге была в IX веке ассимилирована покоренным населением и славянизирова-

невозможности подобного синтеза изложены в работе: Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, p. 512ff.

²⁷ Социологические особенности этого региона, отчасти сохранившиеся вплоть до XX века, прекрасно описаны в работе: A. N. J. Den Hollander, 'The Great Hungarian Plain. A European Frontier Area', *Comparative Studies in Society and History*, III, 1960–1961, p. 74–88, 155–169.

на. Печенег и куманы после господства на протяжении двух веков в современных областях Южной Украины и Румынии были в конечном итоге рассеяны в XI и XIII веках соответственно византийскими и монгольскими армиями, а их европейские остатки бежали в Венгрию, где влились в состав мадьярского правящего класса, увеличив его культурную и этническую обособленность от славянских соседей. Наконец, в XIII веке монгольские армии ушли в Гоби, приняв участие в династической борьбе после смерти Чингисхана. Однако при этом тюркская ветвь монгольских господ, Золотая Орда, на протяжении полутора веков сохраняла свою грабительскую систему господства на Руси, пока, в свою очередь, не была разрушена вторжением Тамерлана в ее прикаспийские владения. Необычайная жизнеспособность власти Золотой орды была обусловлена в основном ее благоприятным географическим расположением. Русь была наиболее близкой к азиатским степям европейской страной и единственной страной, которую кочевым завоевателям можно было подчинить данническому правлению из пограничных областей со скотоводческими землями. Столица Золотой орды близ Каспия идеально подходила для военных вторжений на земледельческую Русь и поддержания контроля над ней, оставаясь при этом в пределах степных земель — тем самым она избежала дилеммы прямого переселения в завоеванную страну или создания в ней отдаленных гарнизонов.

Воздействие этих последовательных нападений кочевников на Восточную Европу, естественно, было неравномерным. Но общим следствием, конечно, было затормаживание и сдерживание внутреннего развития производительных сил и государственных систем на Востоке. Так, аварская империя наложила свою власть на славян и манипулировала великими славянскими переселениями VI века, в результате чего территориальное перемещение славян не привело к появлению соответствующих политических форм, в отличие от формирования государств в эпоху германских переселений на Западе. Первое автохтонное славянское государство, призрачная Великая Моравия IX века, было стерто с лица земли мадьярами. Самое крупное политическое образование раннесредневекового востока, Киевская Русь, сначала было резко ослаблено нападениями печенегов и куманов с флангов, а затем полностью уничтожено монголами. В сравнении с этим Польша и Венгрия были едва затронуты монгольским нашествием; тем не менее поражение в битвах при Легнице и Шайо на поколение отложило объединение Польши Пястами в одном случае и привело к свержению династии Арпадов в другом, оставив обе страны в состоянии разрухи и беспорядка. Развитие

воссозданного болгарского государства, теперь славянизированного, было резко прервано с отступлением монголов через его земли. В каком-то смысле наиболее пострадавшим регионом была территория современной Румынии, которая так постоянно подвергалась разграблению и была подчинена власти кочевников, что в ней вообще не появилось никакой государственной системы до изгнания куманов в XIII веке; в результате, вся ее история после ухода римлян из Дакии в III веке остается покрытой мраком. Кочевая завеса служила постоянным фоном для формирования средневекового востока Европы.

3. МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Теперь на этом общем историческом фоне мы можем рассмотреть внутреннее развитие восточноевропейских общественных формаций. Маркс однажды писал в письме Энгельсу, говоря о развитии Польши, что «тут можно показать возникновение крепостничества чисто экономическим путем, без промежуточного звена в виде завоевания и национального дуализма».²⁸ Эта формула достаточно точно обозначает характер проблемы, связанной с появлением феодализма к востоку от Эльбы. Как мы уже видели, главным отличием Восточной Европы было отсутствие здесь античности с ее городской цивилизацией и рабовладельческим способом производства. Но говорить о «чисто экономическом» пути развития феодализма в Восточной Европе — значит, упрощать, не замечая того, что восточноевропейские страны стали частью континента, который становился *Европой*, и потому не могли избежать определенных общих детерминант — базисных и надстроечных — феодального способа производства, возникшего на Западе. О первоначальном устройстве славянских земледельческих обществ, которые заняли большую часть восточной половины континента выше Дуная, уже говорилось. По прошествии нескольких столетий после переселений они по-прежнему оставались аморфными и первобытными, и, при отсутствии какого-либо наследия классической античности, их развитию не способствовали ни предшествующие контакты с городскими или имперскими формами, ни какое-либо последующее слияние с ними. На протяжении долгого времени племя и род оставались основными единицами социальной организации; наследственное язычество сохранилось в неизменном виде; вплоть до VIII века сельскохозяйственные техники

²⁸ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 29, с. 63.

были самыми элементарными с преобладанием в лесах восточных равнин подсечно-огневого земледелия; нет никаких сведений о местных государствах, наподобие тех, что какое-то время были у маркоманнов и квадов на римском *limes*. Но постепенно происходили социальная дифференциация и политическая стратификация. Медленный переход к регулярному земледелию увеличил излишки, которые сделали возможной полную кристаллизацию вооруженной знати, оторванной от экономического производства. Клановые аристократии укрепили свое господство, приобретая крупные землевладения и используя для их возделывания военнопленных в качестве рабской рабочей силы. Мелкие землевладельцы иногда сохраняли народные институты собрания и суда, но во всех остальных отношениях были подчинены знати. Теперь появились князья и вожди, собиравшие своих сторонников в обычные дружины, которые отныне составляли ядро стабилизированного правящего класса. За этим созреванием социальной и политической иерархии вскоре последовало распространение множества небольших городов в IX–X веках — феномен, общий для Руси, Польши и Богемии. Поначалу они были укрепленными племенными центрами и, по крайней мере в Польше, доминирующую роль в них играли местные замки.²⁹ Но они также естественным образом становились центрами региональной торговли и ремесел, а на Руси (о политической организации здешних городов известно мало) сложилось сравнительно развитое городское разделение труда. Когда скандинавы прибыли на Русь, они назвали ее *Gardariki* — земля городов, потому что они встретили в ней множество торговых центров. Появление этих польских *gródy* и русских «городов» было, возможно, самым большим достижением в славянских землях этого периода, принимая во внимание полное отсутствие урбанизации на Востоке до этого. Это была наивысшая точка самостоятельного социального развития Восточной Европы в Темные века.

Дальнейшее политическое развитие теперь должно было происходить под серьезным экзогенным влиянием. И появление западноевропейского феодализма, и скандинавский экспансионизм оказывали влияние на то, что происходило по ту сторону Эльбы. Поэтому при оценке развития Восточной Европы всегда нужно принимать во внимание континентальную близость граничащих с ней более пе-

²⁹ Краткое изложение современных взглядов на развитие ранних славян см.: Henryk Lowmianowski, 'La Genèse des Etats Slaves et Ses Bases Sociales et Economiques', *La Pologne au Xe Congrès International des Sciences Historiques à Rome*, Warsaw 1955, p. 29–53.

редовых экономических и социальных систем. Глубокое влияние, которое они — по-разному — оказали на политические структуры и государственные системы средневекового Востока, отразилось в языковых заимствованиях.³⁰ Так, практически все ключевые славянские слова для обозначения более высокого политического ранга и правления в этот период — словарь государственной надстройки — происходят от германских, латинских или туранских терминов. Русский *tsar* — «царь» — восходит к римскому *caesar*. Польский *krol*, южнославянский *kral* — «король» — восходит к имени самого Карла Великого, *Carolus Magnus*. Русский *knyaz* — «князь» — происходит от старогерманского *kuning-az*, а *druzhina* (по-польски *drużyna*) — «дружина» — возможно, происходит от готского *dringan*. Русские и южнославянские *boyar* — «знать» — это туранское слово, заимствованное у кочевнической степной аристократии и поначалу обозначавшее болгарский правящий класс. Чешский *rytiry* — «рыцарь» — это германский *reiter*. Польское и чешское обозначения «феода» — *tan* и *lan* — равным образом представляют собой просто транскрипции германского *lehen*.³¹ Это серьезное преобладание иностранных (почти всегда западных, германских или римских) терминов само по себе показательное. Примечательно,

³⁰ Этими свидетельствами сегодня, по негласной договоренности, зачастую пренебрегают из-за того, что германские шовинисты использовали их как доказательство «неспособности» ранних славянских обществ сформировать свое государство, что побуждает восточноевропейских историков отрицать или преуменьшать их. Отголоски этих споров слышны и до сих пор; см.: F. Graus, 'Deutsche und Slawische Verfassungsgeschichte', *Historische Zeitschrift*, CXLVIII, 1963, p. 265–317. Предвзятости, вызывающие их, разумеется, полностью чужды историческому материализму. Утверждение очевидной истины, что славянские общественные формации в эпоху раннего Средневековья были в целом более примитивны, чем германские, и заимствовали у них политические формы, означает не наделение той или другой группы какими-либо врожденными «этническими» чертами, а просто утверждение, что первые начали движение по схожему пути развития позднее последних по определенным историческим причинам, которые сами по себе не диктовали дальнейших траекторий развития, естественно, зачастую неравномерного и прерывистого. Нет нужды повторять такие трюизмы.

³¹ F. Dvornik, *The Slavs in European History and Civilisation*, New Brunswick 1962, p. 121, 140; L. Musset, *Les Invasions. Le Second Assaut contre L'Europe Chrétienne*, p. 78; Г. В. Вернадский, *Киевская Русь*, М., 2000, с. 195; K. Wuhrer, 'Die Schwedischen Landschaftsrechte und Tacitus' Germania', *Zeitschrift des Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (Germanistische Abteilung)*, LXXXIX, 1959, p. 20–21.

что, быть может, самое важное чисто славянское слово в надстроечной сфере — русский «воевода» или польский *wojewoda* — означает просто «тот, кто ведет воинов», то есть, племенной военный вождь ранней фазы социального развития, описанной Тацитом. Этот термин сохранился, превратившись в формальный титул в эпоху Средневековья (его ошибочно передают на английском как *'palatine'*). Весь остальной словарь для обозначения социального и политического положения был почти полностью заимствован из-за границы.

При формировании государственных структур на Востоке имелся еще один внешний катализатор. Это была христианская церковь. Точно так же, как переход от племенных обществ к территориальным государствам в эпоху германского заселения Запада неизменно сопровождался религиозным обращением, так и на Востоке основание княжеств в точности совпадало с принятием христианства. Как мы видели, отказ от племенного язычества обычно служил идеологической предпосылкой замены родовых принципов социальной организации централизованной политической властью и иерархией. Успешная работа церковных эмиссаров извне — католических или православных — была, таким образом, важной составляющей процесса формирования государства в Восточной Европе. Богемское княжество было основано династией Пржемысловичей, когда ее первый правитель Вацлав, правивший в 915–929 годах, стал истовым христианином. Первое объединенное польское государство было создано тогда, когда государь Мешко I из династии Пястов в 966 году одновременно принял католическую веру и герцогский титул. Варяжское государство в Киевской Руси достигло своей завершенной формы, когда князь Владимир из рода Рюриковичей в 988 году был крещен в православие, чтобы заключить брак с сестрой византийского императора Василия II. Точно так же венгерские кочевники осели и основали королевство с обращением первого правителя из династии Арпадов Стефана, который, как и Мешко, получил от Рима и свою веру (996–997), и свою монархию (1000) — одно в обмен на другое. Во всех этих случаях за принятием христианства князем следовало официальное крещение его подданных — оно было инаугурационным актом государства. Во многих случаях позднее в Польше, Венгрии и на Руси поднималась народная языческая реакция, сочетавшая религиозный и социальный протест против нового порядка.

Но введение новой религии было намного более простым шагом в консолидации княжеств, нежели переход от служилой к землевладельческой знати. Мы видели, что появление дружинной системы повсеместно свидетельствовало о разрыве с узами родства как основ-

ным принципом социальной организации; дружина служила порогом для перехода от племенной к феодальной аристократии. Как только возникает такая княжеская дружина, — группа представителей знати из различных родов, составляющая личное военное окружение правителя, которая экономически существует за счет доходов его личного хозяйства и доли в его военной добыче, получаемых в обмен на верность в бою и помощь в управлении, — она обычно становится главным инструментом княжеской власти. Тем не менее для появления из дружины действительно феодальной знати нужно было совершить следующий важный шаг — ее территориализацию в качестве землевладельческого класса. Иными словами, компактная группа княжеских телохранителей и воинов должна была быть рассеяна для того, чтобы превратиться в феодальных господ с провинциальными имениями, полученными в обмен на вассальные обязательства перед монархом. Этот структурный переход неизбежно таил в себе большую опасность, так как на заключительном этапе этого развития всегда возникала угроза утраты достижений первого этапа и появления анархической местной знати, не подчиняющейся никакой централизованной королевской власти. Затем неизбежно появлялась опасность распада первоначального монархического государства, единство которого парадоксальным образом было не так уж сложно гарантировать на менее развитом дружинном этапе. Таким образом введение стабильной и интегрированной феодальной системы было необычайно трудным процессом. Она появилась на Западе спустя несколько столетий после неуверенных исканий периода Темных веков и была, наконец, консолидирована в обстановке общего краха единой королевской власти в X веке — пять столетий спустя после германских нашествий. Поэтому не удивительно, что на востоке также не было никакого линейного прогресса от первых династических государств Пржемысловичей, Пястов и Рюриковичей к полноценным феодальным системам. Напротив, в каждом случае — в Богемии, Польше и на Руси — происходило возвращение к политическому хаосу — дробление или исчезновение и княжеской власти, и территориального единства.³² При

³² Восточноевропейский опыт служит полезным предостережением от славословий британских историков в адрес англосаксонского государства в Англии, о котором нередко говорят, что оно практически завершило успешный переход к феодализму накануне норманнского вторжения благодаря единству своего королевского правления. На самом деле в англосаксонской Англии не возникло никакой стабильной династической преемственности или цельной феодальной системы, и ее относительные достижения могли впоследствии обрушить-

рассмотрении со сравнительной точки зрения, эти превратности ранних государственных систем на Востоке были связаны с проблемой создания сплоченной феодальной знати в едином королевском государстве. Это, в свою очередь, предполагало создание закрепощенного крестьянства, привязанного к земле и поставляющего излишки для развитой феодальной иерархии. Феодальная система была невозможна по определению, пока не было крепостной рабочей силы, поставляющей для нее непосредственных производителей. На Западе окончательное появление и распространение крепостничества произошло только в X веке после опыта Темных веков и Каролингской империи, которая завершила их. Типичное сельское хозяйство продолжительной эпохи с V по IX век было, как мы видели, очень гетерогенным и неопределенным по своей социально-экономической структуре — в нем сосуществовали рабы, мелкие землевладельцы, свободные арендаторы и зависимые крестьяне. На Востоке никакого предшествующего рабовладельческого способа производства не было, поэтому начало всякого перехода к крепостничеству неизбежно происходило иначе и было более грубым. Но и там в первое время после установления государственных систем сельское общество всюду было гетерогенным и переходным — крестьянская масса еще не пережила закрепощения. Восточноевропейский феодализм родился только после необходимого подготовительного периода.

Хотя раннее развитие на Востоке в целом происходило по этой общей модели, в экономической, политической и культурной траектории развития различных областей, конечно, существовали важные различия, которые теперь необходимо отметить. Русь представляет самый интересный и сложный случай, потому что на ней появилось некое подобие призрачной «восточной» тени западного синтеза. Первое русское государство было создано в конце IX — начале X века шведскими торговцами и пиратами, переправлявшимися по рекам из Скандинавии.³³ Здесь они нашли общество, которое уже создало

ся в хаос и регресс, наподобие того, что, при общем для славян и англо-саксов отсутствии классического наследия, имело место в ранних славянских государствах. Именно норманнское завоевание, продукт романо-германского синтеза на континентальном Западе, на практике исключило такой откат.

³³ В XIX и XX веках русское национальное чувство не раз приводило к отрицанию скандинавских истоков киевского государства (или скандинавского происхождения самого слова «Русь»). Анахронизм такой «патриотической» историографии очевиден; ей соответствуют английские мифы о «непрерывности», о которых шла речь ранее.

множество местных городов в лесах, но не имело никакого регионального союза или государства. Вскоре пришедшие сюда варяжские торговцы и солдаты установили свое политическое господство над этими городскими центрами, связав речные пути по Волхову и Днепру в единую зону экономического транзита из Балтийского моря в Черное и основав государство, политическая власть которого простиралась вдоль этого пути от Новгорода до Киева. Варяжское государство с центром в Киеве, как мы уже говорили, было по своему характеру торговым; оно призвано было контролировать торговые пути между Скандинавией и Черным морем, и его главным экспортным товаром были рабы, предназначенные для мусульманского мира или Византии. В Южной Руси был создан рынок рабов, поставлявшихся сюда со всего славянского Востока и продававшихся отсюда в средиземноморские и персидские земли, завоеванные арабами и греческой империей. Находившееся восточнее хазарское государство, которое прежде контролировало прибыльную экспортную торговлю с Персией, было уничтожено, и варяжские правители получили прямой доступ еще и к каспийским путям.³⁴ Эти крупные торговые операции киевского государства дали Европе новое устойчивое обозначение рабов — слово *sclavus* впервые появилось в X веке. Варяжские торговцы также поставляли воск, мех и мед — постоянные русские экспортные товары на всем протяжении Средневековья, но они все же играли менее важную роль. Городское развитие Киева, отличавшее его от всех остальных центров в Восточной Европе, по сути, основывалось на торговле, которая к тому времени в западной экономике постепенно становилась анахронизмом.

Но если норвежские правители Киева дали первому русскому государству начальный политический импульс и свой торговый опыт, то относительной надстроечной сложности Киевской Руси способствовали тесные дипломатические и культурные связи через Черное море с Византией. Здесь наиболее очевиден ограниченный параллелизм с воздействием Римской империи на германский Запад. В частности, и письменный язык, и религия — две основные составляющие любой идеологической системы той эпохи — были ввезены из Византии. Первые варяжские князья в Киеве сделали свою столицу базой

³⁴ Взвешенное рассмотрение роли варягов на Руси см.: Musset, *Les Invasions. Le Second Assaut*, p. 99–106, 261–266. Можно отметить, что славянское слово для обозначения города — *gorod* — в конечном счете то же самое слово, что и старонорвежский термин *gardr*. Однако неясно, произошло ли первое от последнего или нет: Foote and Wilson, *The Viking Achievement*, p. 221.

для пиратских вылазок против Византии и Персии, особенно против первой — самой желанной добычи для грабителей. Но их нападения дважды отражались — в 860 и 941 годах, — а вскоре первый варяжский правитель, носивший славянское имя Владимир, принял христианство. Глаголица и кириллица были изобретены греческими священниками специально для языков славянских народов и их обращения в православную веру. Киевская Русь приняла теперь письмо и веру, а вместе с ними и византийский институт государственной церкви. Греческое духовенство было отправлено на Украину для создания церковной иерархии, которая постепенно так же славянизировалась, как и правящий дом и его дружинники. Эта церковь позднее стала средой для идеологической пересадки деспотической имперской традиции Восточной империи даже после исчезновения последней. Таким образом, административное и культурное влияние Византии, по-видимому, сделало возможным непрочный русский синтез на Востоке, вполне сопоставимый с франкским синтезом на Западе и в своих ранних достижениях, и в своем неизбежном крахе, который сопровождался хаосом и регрессом.³⁵ Но ограниченность таких сравнений очевидна. Киев и Византия не имели общей территориальной основы, которая могла бы служить почвой для действительного сплава. Греческая империя, которая сама по себе уже весьма отличалась от своей римской предшественницы, способна была посылать через Черное море лишь ограниченные и слабые импульсы. Поэтому естественно, что никакой органичной феодальной иерархии, наподобие той, что имелась в Каролингской империи периода созревания, в эту эпоху на Руси так и не появилось. Поражает, скорее, разнородность и аморфность киевского общества и экономики. Правящий класс князей и бояр, происходивший из варяжской дружины, собирал дань и контролировал торговлю в городах, в которых обычно существовали олигархические советы или вече, остатки прежних народных собраний. Бояре владели большими имениями, на которых трудились рабы, батраки-заку-

³⁵ Маркс сопоставлял Каролингскую и Варяжскую империи в: К. Маркс, 'Разоблачения дипломатической истории XVIII века', *Вопросы истории*, 1989, № 4, с. 4. Но это творение порожденного фобиями мифотворчества является, безусловно, худшим историческим сочинением, когда-либо написанным Марксом; оно полно ошибок. Когда оно впервые было переиздано на рубеже XX века, Рязанов предложил его трезвую марксистскую критику: Ryazanov, 'Karl Marx über den Vorsprung der Vorherrschaft Russlands in Europa', *Die Neue Zeit (Ergänzungshefte No. 5)*, 5 March 1909, p. 1–64. Современному издателю текста не удалось сохранить даже минимальное здравомыслие.

пы (крестьяне, попавшие в кабалу) и наемные работники. Бок о бок с этими именными существовало многочисленное свободное крестьянство, организованное в деревенские общины.³⁶

Киевское государство достигло своего максимального могущества в начале XI века с правлением Ярослава (1015–1036), последнего князя со скандинавскими связями и варяжскими амбициями. Именно при его правлении были предприняты последние внешние авантюры – военное нападение на Византию и поход в Среднюю Азию. К середине XI века династия Рюриковичей и ее знать полностью обрусели. Вскоре великие торговые пути на юг были перерезаны – сначала захватом Южной Украины куманами, а затем крестовыми походами. Исламская и византийская торговля контролировалась теперь итальянскими городами. Некогда экономический аванпост Византии Киев пришел в упадок вместе с греческой метрополией на юге. Результатом этой изоляции стало заметное изменение в развитии киевской общественной формации. Сокращение торговли неизбежно сопровождалось упадком городов и возрастанием значения местных землевладельцев. Лишенный своих доходов от работорговли, боярский класс начал искать внутренние способы возмещения потерь созданием крупных владений и получением все большего объема сельскохозяйственных излишков.³⁷ В результате возросло экономическое давление на крестьян, которые теперь стали переходить в крепостное состояние. Одновременно начался распад политического единства киевского государства на удельные княжества, которые развязали вражду друг с другом, когда дом Рюрика распался из-за династических распрей. Вместе с возросшей деградацией крестьянства развилось и феодальное местничество.

На развитие чешских и польских земель, естественно, больше повлиял германский, а не скандинавский или византийский образец, но и в этой более западной среде наблюдалась схожая эволюция. Первые общественные формации в этих областях не слишком отли-

³⁶ Всестороннее описание киевской социальной структуры см.: Вернадский, *Киевская Русь*, с. 144–189; но искаженные уверенностью Вернадского в том, что коммерческая система и советы, сохранившиеся в киевском государстве, латентно содержали в себе «капитализм» и «демократию». Эти курьезные категориальные ошибки были унаследованы им от Ростовцева.

³⁷ K. R. Schmidt, 'The Social Structure of Russia in the Early Middle Ages', *XIe Congrès International des Sciences Historiques*, Uppsala 1960, Rapports III, p. 31. Шмидт рассматривает споры в историографии о сельскохозяйственном или торговом богатстве киевских правящих классов от Ключевского и далее.

чались от формации ранней Киевской Руси, хотя и не имели обширной речной торговли, которая была основой ее исключительного городского роста. Таким образом, местные аристократии во всей Восточной Европе господствовали над смешанными непосредственными производителями, включающими мелких земледельцев, рабов и батраков, что было отражением перехода от простых социальных структур, в которых родовые воины использовали труд поработанных пленников для обработки их земель в отсутствие зависимого крестьянства, к дифференцированным государственным системам со все большим подчинением всей сельской рабочей силы при помощи механизмов закабаления или практик коммендации. В Польше, Силезии, Богемии или Моравии сельскохозяйственные практики в основном оставались крайне примитивными с подсечно-огневым земледелием и пастбищным скотоводством, которыми занималось гетерогенное население, состоявшее из фригольдеров, арендаторов и рабов. Первой появившейся политической структурой было полуполюгендарное богемское государство в начале VII века, созданное франкским торговцем Само, который возглавил местное славянское восстание, свергнувшее аварскую империю в Центральной Европе. Государство Само, которое, вероятно, было контролирующим торговлю государством, наподобие того, что было создано варягами на Руси, не смогло обратить население региона в христианство и потому просуществовало недолго.³⁸ Двести лет спустя в IX веке восточнее возникла более прочная структура — Великоморавская держава.

Это княжество опиралось на многочисленные замки и укрепления знати и было крупной державой на границах Каролингской империи, а Византия даже искала дипломатического союза с ним против франкского экспансионизма. Именно туда к правителю Рагиславу были отправлены православные монахи братья Кирилл и Мефодий с миссией наставления и обращения, для чего они и создали славянский алфавит. В конце концов, католическим священникам из Рима удалось добиться в этом деле больших успехов. Но до того как моравское государство было разрушено мажарским вторжением в начале X века, чешские земли стали первым плацдармом для распростра-

³⁸ G. Vernadsky, 'The Beginnings of the Czech State', *Byzantium*, 1944–1945, XVII, p. 315–328; в этой работе утверждается, вопреки всем имеющимся источникам, что Само был славянским торговцем, «преданным идее сотрудничества между славянами» — немыслимая задача, которая служит еще одним примером разрушительного воздействия национализма в области историографии Темных веков.

нения христианства на Востоке. Именно в Богемии, не так пострадавшей от нашествий кочевников, постепенно произошло политическое восстановление. И в начале XI века чешское государство появилось вновь, на сей раз с более развитой социальной структурой, включавшей раннюю версию феодальной системы. Оттоновское возрождение привело к усилению германского давления на восточные границы империи. Поэтому богемское политическое развитие с этого времени всегда зависело от противоречивых эффектов германского вмешательства и влияния в чешских землях. С одной стороны, оно ускорило подражательное формирование феодальных институтов и стимулировало привязанность славянской знати к собственному государству, выражавшуюся в горячем культе его святого-покровителя Вацлава.³⁹ С другой стороны, оно сдерживало консолидацию стабильной монархии, поскольку германские императоры, начиная с Оттона I, объявляли Богемию феодальным владением империи и разжигали династическое соперничество среди чешской аристократии. Вскоре существование единого богемского государства оказалось под угрозой вследствие продолжительной и изнурительной борьбы за политическое господство между семьями Пржемысловичей и Славниковичей, которая погрузила страну в непрекращающиеся усобицы.⁴⁰ К концу XII века богемские феодальные владения стали наследственными, а крестьянству по мере укоренения провинциальной аристократии в деревне пришлось выполнять все больше феодальных повинностей. В результате того же процесса центральная политическая власть ослаблялась и оказалась под угрозой исчезновения по мере погружения Богемии в споры и ссоры между князьями.

В Польше племенная и родовая организация просуществовала дольше. К IX веку здесь сложился только аморфный региональный союз полян с центром в Гнезно. И лишь с приходом пясцовского правителя Мешко I в конце X века было сформировано первое единое польское государство. Мешко принял христианство в 966 году и ввел его в своих владениях в качестве организующей религии новой политической системы.⁴¹ Миссионерской деятельностью в Польше с успехом занималась римская церковь, которая принесла с собой латынь, ставшую отныне официальным литературным языком страны (свидетель-

³⁹ F. Graus, 'Origines de l'Etat et de la Noblesse en Moravie et en Bohême', *Revue des Etudes Slaves*, Vol. 39, 1961, p. 43–58.

⁴⁰ F. Dvornik, *The Slaves. Their Early History and Civilisation*, p. 115, 300.

⁴¹ Aleksander Gieysztor, 'Recherches sur les Fondements de la Pologne Médiévale: Etat Actuel des Problèmes', *Acta Poloniae Historica*, IV, 1961, p. 19–25.

ство сравнительной внезапности изменений на социальном и культурном уровнях, сопутствующих появлению государства Пястов, в отличие от более раннего и медленного развития Богемии; польская знать продолжала использовать латынь в качестве своего письменного языка даже после того, как он вышел из употребления на Западе с наступлением Нового времени). Папство признало за Мешко его герцогский титул в обмен на его религиозную преданность. Его герцогство опиралось на сплоченную и широкую систему дружины (*druzyna*) из примерно 3.000 представителей знати, которые проживали либо вместе с правителем, либо в региональных гарнизонах укрепленных *grody*, которыми была покрыта сельская местность. Использование этих королевских дружинников в качестве комендантов замков служило эффективным промежуточным механизмом при переходе от придворной военной к землевладельческой аристократии. Раннее государство Пястов опиралось на зачаточное городское развитие предшествующего языческого столетия и получало значительный доход от местных торговых центров. Сын Мешко Болеслав I укрепил власть Пястов, расширив владения польского государства захватом Силезии и продвижением на Украину и заявив о своих притязаниях на королевский титул. Но и здесь прочность и политическое единство раннего государства оказались обманчивым обещанием. Польская монархия, как и богемская, была объектом постоянных германских дипломатических и военных маневров. Германские императоры притязали на имперскую юрисдикцию над обеими областями и в конце концов смогли помешать консолидации королевской власти в Польше, в которой Мешко II отказался от монаршего титула, и вассализировать ее в Богемии, которая стала формальным феодальным владением империи.⁴² Кроме того, государство Пястов привело к гибели и сама скорость, с которой оно было построено. В 1031 году произошел насильственный социальный и религиозный переворот, в котором сочетались языческая реакция против церкви, крестьянское восстание против роста давления феодалов и аристократический бунт против власти правящей династии. Польские господа изгнали Мешко II из страны и разделили ее на провинциальные воеводства. Его сын Казимир вернулся к власти при помощи Богемии и Киева, но центральное государство отныне серьезно ослабло. В XII веке передача власти Пястами региональным уделам, фактически, вообще уничтожила его. Польша теперь была рас-

⁴² О германской политике в этот период см. особ.: F. Dvornik, *The Making of Central and Eastern Europe*, London 1949, p. 194–196, 217–235; *The Slavs: Their Early History and Civilisation*, p. 275–292.

колота на бесчисленные мелкие герцогства, мелкая крестьянская собственность сокращалась, а объем поборов в деревне возрос. На землях церкви и знати жили все еще только около 45% сельского населения, но тенденции были очевидны.⁴³ В Польше, как и везде, положение местного крестьянства в XII веке постепенно скатывалось к крепостному состоянию. Этот процесс был общим для Руси, Ливонии, Польши, Богемии, Венгрии и Литвы. Везде он принимал форму постепенного увеличения крупных имений местной аристократии, сокращения численности фригольдеров, роста крестьянской аренды, а затем постепенного слияния зависимых арендаторов и обращенных в рабство пленников и преступников в единую несвободную деревенскую массу, подпадающую под феодальную юрисдикцию, но пока что еще формально не находящуюся в крепостной зависимости.⁴⁴

Но этот процесс был внезапно остановлен и полностью обращен вспять. В XI–XIII веках, как мы видели, западный феодализм быстро распространился от Испании до Финляндии, от Ирландии до Греции. Два из этих достижений были особенно важны и имели продолжительное значение — на Пиренейском полуострове и на Востоке за Эльбой. Но если Реконкиста в Испании и Португалии изгнала развитую, хотя и разлагающуюся цивилизацию, и привела к незначительному (если вообще привела к какому-либо) улучшению экономического положения завоеванных территорий (окончательной заморской динамике обеих стран предстояло раскрыться только в будущем), то преимущественно германская колонизация Востока вызвала в затронутых ею странах резкий рост производства и производительности. Формы этой колонизации заметно варьировались. Бранденбург и Померания были заняты маркграфами из Северной Германии. Пруссия и Ливония были завоеваны в результате вторжения военных организаций — Тевтонского ордена и Ливонского ордена меченосцев. Богемия, Силезия и часть Трансильвании были постепенно заселены переселенцами с Запада, которые основывали городки и деревни бок о бок со славянскими жителями, не нарушая политический *status quo*. Польша и Литва точно так же приняли германские общины, состоявшие в основном из торговцев и ремесленников. Языческие прибалтийские племена — пруссы и другие — были подчинены *manu militari* Тевтонским орденом, а против славян-ободритов между

⁴³ H. Lowmianski, 'Economic Problems of the Early Feudal Polish State', *Acta Poloniae Historica*, III, 1960, p. 30.

⁴⁴ Jerome Blum, 'The Rise of Serfdom in Eastern Europe', *American Historical Review*, LXVII, No. 4, July 1957, p. 812–815.

Эльбой и Одером был развернут так называемый Вендский крестовый поход. Но кроме этих двух секторов, колонизация в основном проходила сравнительно мирно и зачастую пользовалась поддержкой местных славянских аристократий, заинтересованных в появлении на своих собственных малонаселенных землях новой и сравнительно квалифицированной рабочей силы.⁴⁵

Особые обстоятельства этой колонизации определили и ее особое воздействие на общественные формации Востока. Земель здесь было в избытке, пусть и лесистых и не всегда хорошего качества (почва балтийского побережья была песчаной); с другой стороны, населения не хватало. Подсчитано, что общая численность населения Восточной Европы, включая Русь, возможно, составляла в начале XIII века около 13.000.000 жителей в сравнении с почти 35.000.000 жителей в меньшей по размерам зоне Западной Европы.⁴⁶ Рабочая сила и, соответственно, рабочие навыки должны были перевозиться на Восток в организованных конвоях поселенцев, набиравшихся из густозаселенных областей Рейнланда, Швабии, Франконии и Фландрии. Потребность в них была настолько острой, а проблемы организации их переселения настолько значительными, что знать и духовенство, призывавшие к этому движению на Восток, вынуждены были предоставлять крестьянам и горожанам, заселявшим новые земли, значительные социальные права. Наиболее искусные крестьяне, умевшие строить дамбы и проводить дренажные работы, которые были так важны для освоения неводеланных областей, были в Нидерландах, и для их привлечения на Восток предпринимались специальные усилия. Но Северные Нидерланды были уголком Европы, не знакомым с настоящей манориальной системой, и где крестьянство уже в XII веке было намного свободнее от феодальных повинностей, чем французское, английское или немецкое. Поэтому вместе с ними приходилось принимать «фламандское право», оказавшее значительное влияние на положение всего колониального крестьянства, которое в основном состояло из германцев и не знало такой свободы у себя дома.⁴⁷ Таким образом, на недавно колонизированном Востоке Европы имелась лишь незначительная манориальная

⁴⁵ Сам Тевтонский орден был основан в Пруссии польским герцогом Мазовии в 1228 году.

⁴⁶ Russell, *Late Ancient and Mediaeval Population*, p. 148.

⁴⁷ M. Postan, 'Economic Relations between Eastern and Western Europe', in Geoffrey Barraclough (ed.), *Eastern and Western Europe during the Middle Ages*, London 1970, p. 169.

юрисдикция над крестьянством, которому предоставлялись наследственные наделы с натуральным оброком и очень небольшой барщиной; кроме того, земледельцам позволено было продавать право владения своими наделами и вообще покидать свои поселения. Деревни образовывали сельские общины, которые управлялись наследственными мэрами (чаще всего это были организаторы переселения), а не указаниями феодала. Эти переселения изменили все устройство сельского хозяйства от Эльбы до Вислы и далее. Была произведена расчистка лесов и впервые введены железный плуг и трехпольная система, скотоводство сократилось, а выращивание зерна впервые получило широкое распространение. Развилась серьезная экспортная торговля древесиной. Под влиянием этого процесса, явно способствующего получению более высоких урожаев и излишков, и местная знать, и рыцарские ордена все шире стали перенимать нормы крестьянского земледелия, перенесенные с Запада. Поэтому положение местного крестьянства в Польше, Богемии, Силезии, Померании и других местах, стремительно приближающееся до начала германской колонизации к закрепощению, теперь улучшилось благодаря сближению с вновь прибывшими, а прусское крестьянство, сначала закрепощенное Тевтонским орденом, в следующем столетии вновь получило свободу. Возникали независимые деревни со своими собственными мэрами и судами, возрастала сельская мобильность, а вместе с ней и производительность.

Рост производства зерновых и рубки леса, в свою очередь, стимулировал еще более важное следствие восточной колонизации: рост городов и торговых перевалочных пунктов на прибалтийском побережье в XIII веке — Росток, Данциг, Висмара, Риги, Дорпата (Дерпта) и Ревеля. Эти городские центры были независимыми и некорпорными коммунами с преуспевающей экспортной торговлей и яркой политической жизнью. Точно так же, как «фламандское право» оказало смягчающее воздействие на социальные отношения в местном сельском хозяйстве, так и «германское право», построенное по образцу магдебургской хартии, оказало аналогичное влияние на положение новых городов на Востоке. В Польше, в частности, города, в которых зачастую проживали большие колонии германских торговцев и ремесленников, теперь получили магдебургское право; этот процесс благоприятно сказался на Познани, Кракове и недавно основанной Варшаве.⁴⁸ В Богемии возникла еще более плотная сеть немецкой городской колонизации, основанной на горном деле

⁴⁸ Roger Portal, *Les Slaves*, Paris 1965, p. 75.

и металлургии, при более значительном участии чешских ремесленников и торговцев. Таким образом, в XIII веке колониальный Восток был пограничным обществом европейского феодализма, впечатляющей проекцией его экспансивного динамизма, которая к тому же обладала и некоторыми преимуществами перед родительской системой, имевшимися позднее и у пограничных обществ европейского капитализма в Америке или Океании, — большим равенством и мобильностью. Карстен так подытоживает особенности восточноевропейского расцвета: «Полноценная манориальная система с ее ограничениями свободы и ее частной юрисдикцией не была перенесена на Восток, как и крепостничество. Крестьяне, включая и коренное население, находились здесь в намного лучшем положении, чем на Западе. Классовые различия на Востоке были менее острыми, представители знати перебирались в города и становились бюрократами, бюргеры приобретали имения, а деревенские мэры имели феоды. Вся социальная структура, как это естественно для общества колонистов, была намного более свободной и раскрепощенной по сравнению с Западной Европой. То, что Восток больше не будет отсталым и станет одной из наиболее развитых частей Европы, казалось лишь вопросом времени. И так уже обстояло дело с ганзейскими городами на побережье Балтийского моря, особенно с вендскими городами и Данцигом».⁴⁹

Лежавшая за пределами германского проникновения Русь в эти столетия также развивалась в схожем направлении, хотя и в ином темпе и контексте. Это было следствием распада киевского государства в XII–XIII веках под давлением неблагоприятных внешних обстоятельств и внутренней слабости. Как мы видели, крестовые походы отрезали черноморские торговые пути к Константинополю и исламскому миру, на которых традиционно процветала киевская торговля. Постоянно существовала угроза куманских набегов с Востока, а «лествичный» порядок наследования престола приводил к усобицам и неразберихе.⁵⁰ Сам Киев был разграблен в середине XII века суз-

⁴⁹ F. L. Garsten, *The Origins of Prussia*, Oxford 1954, p. 88.

⁵⁰ Дворник предлагает два противоречащих друг другу объяснения необычайно запутанной киевской удельной системы, которая привела к этой неразберихе. Сначала он связывает ее с германо-скандинавским институтом «танистри» (когда на смену правителю приходил не его сын, а его младший брат, а на смену последнему — его старший племянник), который встречался также в вандалской Африке и норвежских поселениях в Шотландии. Но в другом месте он связывает ее с иерархией старейшинства пястовских герцогов в Польше и с чешской

дальским князем. Затем, семьдесят лет спустя, на него пришелся ураганный удар последнего крупного вторжения кочевников из Средней Азии, а вскоре после смерти Чингисхана практически вся Русь, за исключением северо-запада, была разорена и порабощена монголами. В этой катастрофе погибла, наверное, десятая часть населения. Следствием этого было смещение оси русской цивилизации от киевского бассейна к до этого в основном незаселенным и девственным лесам волго-окского треугольника на северо-западе, почти совпадающее во времени с растущим демографическим потоком через Эльбу.

В ходе постепенного переустройства русской общественной формации на северо-востоке появилось множество социальных последствий, схожих с теми, которые были отмечены в прибалтийской зоне. Расчистка и колонизация огромных безлюдных пространств замедлили переход русских крестьян к постоянной крепостной зависимости, который полным ходом шел в последние столетия существования киевского государства. Князьям приходилось давать крестьянам освобождение от повинностей и предоставлять общинные права и личную мобильность, чтобы побудить их остаться на вновь освоенных землях. Знать и монастыри действовали схожим образом, хотя и сохраняя более жесткий манориальный контроль над новыми деревнями. Политическая власть территориальных господ стала еще более раздробленной и феодализованной, тогда как крестьяне при них получали большую свободу.⁵¹ Чем дальше от основных мест политической власти в центральном регионе, тем больше была степень свободы, которую получало крестьянство. Наиболее полной она была в отдаленных северных лесах, до которых едва доставала феодальная юрисдикция. В то же время смещение демографической и экономической оси страны к волго-окскому треугольнику заметно стимулировало торговые города Новгород и Псков на северо-западе в промежуточной зоне между Русью и колонизированной германцами Ливонией. С этого времени центральная Русь поставляла зерно для новгородской торговой империи, собиравшей дань с субарктических племен на Севере, и игравшей ключевую роль в балтийской

системой наследования в XII веке и утверждает, что, согласно представлениям славян, страна была вотчиной правящего дома, все члены которого должны были принимать участие в управлении ею. Ср.: Dvornik, *The Slavs: Their Early History and Civilisation*, p. 213; *The Slavs in European History and Civilisation*, p. 120–121.

⁵¹ Удачный анализ этого двойственного развития см.: Marc Szeftel, 'Aspects of Russian Feudalism', in Rushton Coulborn (ed.), *Feudalism in History*, Princeton 1956, p. 169–173.

торговле. Хотя и управлявшийся городским собранием, Новгород на самом деле не был торговой коммунной, сопоставимой с прибрежными немецкими городами — в отличие от бюргеров Ганзы, в вече заправляли бояре-землевладельцы. Но немецкое влияние в этом городе, имевшем крупную иностранную торговую общину и, в отличие от всех остальных русских городов до и после него, построенную по западному образцу систему гильдий для своих ремесленников, было очень сильным. Таким образом, Новгород служил стратегическим звеном, соединявшим Русь и другие земли Восточной Европы во взаимосвязанную экономическую систему.

4. КРИЗИС НА ВОСТОКЕ

На Востоке кризис европейского феодализма начался позднее и в абсолютном выражении, вероятно, был мягче, а в России он имел и особую временную последовательность. Но его относительное воздействие, возможно, было намного более значительным, поскольку он поразил более молодую и хрупкую социальную структуру, чем на Западе. Удар был менее сконцентрированным, но и сопротивление ему было более слабым. Об этих двух противоречивых аспектах общего восточного кризиса не следует забывать, потому что только их сочетание позволяет понять его развитие и исход. Обычные описания склонны представлять всю феодальную депрессию XIV–XV веков в виде уж слишком гомогенного общеконтинентального спада. Но все же очевидно, что, прежде всего, основной механизм феодального кризиса на Западе — «перенапряжение» и «заклинивание» производительных сил на пределе, допустимом при существующих социальных производственных отношениях, приведший к демографическому краху и экономическому спаду, — в таком виде и не мог воспроизвестись на Востоке. Внедрение новых сельскохозяйственных техник и социальной организации здесь все еще было относительно недавним и пределы роста еще не были достигнуты. Крайняя перенаселенность, которая возникла на Западе в начале XIV века, была незнакома на Востоке. Вдоль Вислы или Одера открывались большие пространства вполне пригодной для обработки территории, когда вдоль Рейна, Луары или Темзы были использованы уже минимально пригодные для обработки земли. Поэтому вероятность одновременного эндогенного повторения западного кризиса на Востоке была невелика. На самом деле, в течение значительного периода времени в XIV веке Польша и Богемия, казалось, достигли полити-

ческого и культурного зенита. Наивысший расцвет чешской городской цивилизации произошел при люксембургской династии перед ее головокружительным провалом в союз баронов и гуситские войны.⁵² Во время своего краткого расцвета при Карле IV Богемия была восточноевропейской Бургундией. Польша избежала великой чумы и была победительницей в Тринадцатилетней войне; Казимир III был современником и «аналогом» Карла IV, а ягеллонский дом объединил Польшу с Литвой, образовав крупнейшее территориальное государство на континенте. В Венгрии анжуйские правители Карл Роберт и Лайош I также создали сильную феодальную монархию, которая обладала огромным влиянием и престижем во всем регионе и при Лайоше заключила личную унию с Польшей. Но эта жизненная сила, проявляющаяся в политической сфере, не могла долго сопротивляться изменению экономического климата, которое произошло в Восточной Европе позднее, чем на Западе, но в явной связи с ним. Имеются очевидные свидетельства того, что к началу XV века в обеих частях Европы имела место синхронная депрессия.

В чем же состояли реальные причины кризиса на Востоке? Прежде всего, конечно, в обширных территориях, затронутых немецкой колонизацией, произошло внезапное затухание переданного ею экономического и демографического импульса. Как только на родине феодализма на Западе начался широкий спад, произошло соответствующее ослабление и его проекций в пограничных областях Востока Европы. Переселенческое движение теперь замедлилось и сошло на нет. К началу XIV века появились первые зловещие признаки — опустевшие деревни и целые заброшенные области в Бранденбурге и Померании. Отчасти это было обусловлено дальнейшим переселением на восток привыкших теперь к мобильности крестьян. Но такие перемены лишь обозначили одну из опасностей всего процесса колонизации. Избыток земель делал возможным их непродолжительное использование и последующее забрасывание — часто повторявшийся в истории путь, который на других континентах и в другие эпохи приведет к появлению «пыльных мешков». Песчаные почвы прибалтийского побережья были особенно подвержены истощению в отсутствие надлежащего ухода, и здесь также постепен-

⁵² Богемское процветание в этот период основывалось на открытии серебряных рудников Кутна-Гора, которые после 1300 года в ситуации истощения и закрытия рудников в других местах стали крупнейшим европейским поставщиком: R. R. Betts, 'The Social Revolution in Bohemia and Moravia in the Later Middle Ages', *Past and Present*, No. 2, November 1952, p. 31.

но начали происходить наводнения и эрозия. Кроме того, снижение цен на зерно на Западе из-за резкого падения спроса неизбежно сказалось и на Востоке, который уже начал к этому времени потихоньку заниматься экспортом зерна. Индекс ржи в Кенигсберге в следующем столетии отражал падение цен на пшеницу в западных городах.⁵³ В то же время, как мы видели, достижение пределов добычи при данной горнодобывающей технике сказывалось на объеме добываемых металлов на всем континенте, даже если богемские шахты страдали от этого меньше, чем саксонские. Общим результатом было обесценивание монеты и сокращение доходов феодалов, которое остро ощущалось в Бранденбурге, Польше и других местах. Востоку не удалось избежать и бедствий, которые на Западе сопутствовали общему кризису, ужасных «последствий» депрессии, ставших «причинами» ее повторения. Болезни, голод и война были распространены на восточных равнинах не меньше, чем в других местах. В Пруссии в период между 1340 и 1490 годами произошло 11 крупных вспышек чумы.⁵⁴ По Руси в период с 1350 по 1450 год мор прошел 20 раз;⁵⁵ в 1353 году от него умер сам московский царь Симеон вместе со своим братом и двумя сыновьями. Польше, единственной из крупных областей Европы, посчастливилось избежать Черной смерти, но Богемии повезло меньше. Неурожай 1437–1439 годов в Пруссии был самым худшим за столетие. Между тем войны разоряли все основные регионы Востока. В конце XIV века Сербию и Болгарию наводнили османы, вследствие чего их история теперь была обособлена от истории остальной Европы. На Руси было проведено более 150 кампаний против монголов, литовцев, немцев, шведов и болгар. Постоянные пограничные набеги и вражда вызывали обезлюдение на границах между Бранденбургом и Померанией. Польские силы разбили Тевтонский орден в битве при Грюнвальде в 1410 году при помощи армии, собранной со всей Восточной Европы, и вторгались в Пруссию в 1414, 1420 и 1431–1433 годах. После двух десятилетий зыбкого мира в 1453 году разразился последний и куда более разрушительный конфликт – Тринадцатилетняя война, которая уничтожила Тевтонский орден и на целое поколение превратила Восточную Пруссию в руины. В результате этой жестокой и продолжительной борьбы произошло резкое сокращение численности населения и забрасывание наделов. В Богемии длительные гуситские войны начала XV века ока-

⁵³ Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 139.

⁵⁴ Carsten, *The Origins of Prussia*, p. 103.

⁵⁵ Blum, *Lord and Peasant in Russia*, p. 60.

зали схожее воздействие, ослабляя и изматывая сельское хозяйство при проходе через нее армий противников. И эта самая страшная драма позднего Средневековья не ограничивалась одними только чешскими землями. Нанятые императором Сигизмундом войска стекались для подавления восстававших гуситских союзов со всей Европы, а таборитские армии Прокопа Голого перенесли войну против империи и церкви в Австрию, Словакию, Саксонию, Силезию, Бранденбург, Польшу и Пруссию, и их подвижные колонны и артиллерия на телегах сделали возможным полное разрушение Лейпцига, Нюрнберга, Берлина и Данцига.

Кроме того, если на Западе социальные бунты следовали за военными конфликтами или были самостоятельными событиями во время них (жакерия), то на востоке они были неразрывно связаны между собой — крупные войны и восстания составляли единый процесс. Две крупных войны в Прибалтике и Богемии также сопровождались большими гражданскими войнами. Крестьяне в Эрмланде восстали во время короткой паузы в прусско-польском конфликте. Но сама Тринадцатилетняя война была диким и широким социальным восстанием, в котором торговые города Данциг и Торунь объединились с сельским дворянством и свободными наемниками для свержения военной бюрократии Тевтонского ордена. В конце XIV века при правлении Вацлава IV Богемия также служила сценой баронских конфликтов, когда бродячие банды наемных головорезов грабили деревни; именно в этих отвратительных усобицах будущий глава гуситов Ян Жижка получил свою военную подготовку, затем отслужив в отряде, который сражался при Грюнвальде на стороне польского короля. Затем — с 1419 по 1434 год — разразились сами гуситские войны — беспрецедентное событие в истории Средневековья, когда горожане, мелкие землевладельцы, ремесленники и крестьяне выступили против знатных землевладельцев, городских патрициев, династии и чужеземных войск в необычайной социальной и протонациональной борьбе, которая велась под знаменами религии.⁵⁶ Статьи общи-

⁵⁶ Крупная работа о гуситских войнах, доступная на нечешском языке: Frederick Heymann, *John Zizka and the Hussite Revolution*, Princeton 1965. В этом с чувством и хорошо написанном исследовании социальный анализ неоправданно краток, а само оно завершается со смертью Жижки в 1424 году. Хейман справедливо отмечает беспрецедентный характер гуситского восстания, но впадает в анахронизм, называя его первым в великой цепи революций Нового времени, предшественником Нидерландской, Английской, Американской и Французской, р. 477–479. На деле, гуситское движение явно относится к другому исто-

ны крестьян-бедняков, которые основали на богемских холмах город Табор, стали, возможно, наилучшим выражением глубокого стремления к недостижимой свободе за всю историю европейского феодализма.⁵⁷ Радикальный милленаризм в среде гуситов вскоре был подавлен, но крестьяне и ремесленники, которые поставляли гуситам солдат при Жижке и Прокопе, остались верными им. И только спустя 15 лет это уникальное вооруженное восстание, которое свергло императора, бросило вызов папству и отразило пять крестовых походов против него, было наконец разбито, и в стране установилось кладбищенское спокойствие. К началу XV века некогда сильные монархии Польши, Богемии и Венгрии оказались в состоянии феодальной раздробленности при все большем феодальном давлении на крестьянство. В середине столетия во всех трех странах произошла непродолжительная одновременная реставрация, которая проявилась в возвышении Георгия Подебрада в чешских землях, вступлении на престол Матиаша Корвина в Венгрии и правлении Казимира IV в Польше — все трое были опытными правителями, на какое-то время восстановившими королевскую власть и приостановившими скатывание к феодальной раздробленности. Но к концу столетия все три королевства вновь серьезно ослабли. И теперь их упадок был неминуем. В Польше шляхта продавала монархию тому, кто больше заплатит, а в Богемии и Венгрии монархия была перехвачена Габсбургами. Больше в этой зоне не появилось ни одного своего династического государства.⁵⁸

С другой стороны, на Руси с распадом киевского государства и монгольским завоеванием ее особый кризис наступил раньше, чем на остальном Востоке Европы. И оправляться от него она на-

рическом ряду. См. также намного более подробное исследование классового состава противостоящих сил, однако лишь кратко подытоживающее полноценные научные работы автора, написанные на чешском языке: Josef Macek, *The Hussite Movement in Bohemia*, Prague 1958.

⁵⁷ «Отныне на земле больше не будет править ни один король или какой-то другой господин, больше не будет крепостного рабства, все проценты по займам и поборы будут отменены, и ни один человек не будет принуждать другого делать что-либо, потому что все будут равными, братьями и сестрами». (Цит. по: Macek, *The Hussite Movement in Bohemia*, p. 133).

⁵⁸ См. об этом: R. R. Betts, 'Society in Central and Western Europe: Its Development towards the End of the Middle Ages', *Essays in Czech History*, London 1969, p. 255–260. Это — одно из наиболее важных сравнительных исследований восточно- и западноевропейского сельскохозяйственного развития в эту эпоху.

чала также раньше. Худшая фаза «безденежной» эпохи, когда экономическая деятельность свернулась настолько, что местная монета полностью исчезла, завершилась во второй половине XIV столетия. Медленное и совершившееся от случая к случаю собирание центральных русских земель — сначала во главе с Суздалем, а затем Москвой — происходило даже во время монгольского ига; хотя его первоначальные успехи не следует переоценивать, поскольку в течение еще целого столетия монголы могли наказывать Русь за преждевременные проявления самостоятельности. В 1382 году Москва была разграблена в отместку за победу над монголами на Куликовом поле двумя годами ранее. Кроме того, монголы практиковали угон ремесленников в свой азиатский лагерь Сарай-Бату близ Каспия; подсчитано, что в результате их набегов численность русских городов сократилась вдвое, а ремесленное производство в городах в этот период практически исчезло.⁵⁹ Беспрестанные усобицы между княжествами во время постепенного процесса собирания земель (за период с 1228 по 1462 года таких войн было более 90) также внесли свой вклад в сельскохозяйственный спад и забрасывание поселений. Феномен *пустошей*, хотя, возможно, имеющий менее однозначное значение, чем в остальной Восточной Европе, все еще был широко распространен в XIV–XV веках.⁶⁰ Развитие Руси, недостижимой для немецкой эмиграции и находившейся под монгольским игом, не обязательно должно было повторять развитие Прибалтики или польских равнин — у него был свой собственный ритм и свои аномалии. По понятным причинам, Сарай был для Руси важнее Магдебурга. Но при всех этих различиях общее сходство траектории развития в этих странах кажется бесспорным.

⁵⁹ Blum, *Lord and Peasant in Russia*, p. 58–61.

⁶⁰ Сомнения по поводу блюмовской интерпретации упоминаний в источниках о пустошах, поскольку под ними могли пониматься не только заброшенные владения, но и просто земли, требовавшие расчистки и заселения, см. в: Hilton and Smith, 'Introduction', in R. E. F. Smith (ed.), *The Enserfment of the Russian Peasantry*, Cambridge 1968, p. 14. В этой статье также высказываются сомнения по поводу размеров демографического или экономического спада на Руси в XIII–XIV веках (p. 15, 26). С другой стороны, по подсчетам Рассела, в период с 1340 по 1450 год общая убыль населения составила 25% — с 8 до 6 миллионов человек, что сопоставимо с потерями в Италии в тот же период. При этом возмещение этих потерь неизбежно было сопряжено с большими, чем в Италии, трудностями, поскольку рост численности русского населения в предшествующую эпоху и так был «очень медленным». Russell, *Population in Europe 500–1500*, p. 19, 21.

Сельскохозяйственная депрессия на Востоке имела еще одно, причем фатальное, следствие. Более молодым и менее прочным торговым городам Балтии, Польши и Руси сопротивляться внезапно наступившему сокращению производства в сельской местности было намного труднее, чем более крупным и старым городским центрам Запада. Последние представляли собой важнейший сектор западной экономики, который, несмотря на все кризисы, несмотря на все народные волнения и банкротства патрициев, в конце концов, в XIV–XV веках, вырвался вперед. Уже к 1450 году, несмотря на все жертвы эпидемий и голода, общая численность городского населения в Западной Европе выросла. Но восточноевропейские города были намного более уязвимы. К 1300 году ганзейские города могли сравниться с итальянскими портами по объему своего товарооборота. Но стоимость их торговли, которая состояла из импорта тканей и экспорта продуктов дикой природы (древесина, пенька, воск или пушнина), была намного ниже;⁶¹ при этом они, конечно, не контролировали никакой сельской *contado*. Кроме того, теперь они столкнулись с серьезным морским конкурентом в лице Голландии; в XIV веке голландские суда стали проходить через Зунд, а к концу XV века на них приходилось уже 70% всего движения через него. И в 1367 году для ответа на этот вызов немецкие города от Любека до Риги формально объединились в Ганзейский союз. Но, как бы то ни было, это объединение им не помогло. Зажатые в тиски между голландской конкуренцией на море и сельскохозяйственной депрессией на суше, ганзейские города в конечном итоге были раздавлены. Но с их упадком исчезла основа и местной коммерческой жизни по ту сторону Эльбы.

И именно эта слабость городов позволила местной знати прибегнуть к такому решению кризиса, которое было структурно недоступно для нее на Западе. Манориальная реакция постепенно упраздняла все крестьянские права и систематически превращала арендаторов в крепостных, работавших на землях феодалов. Экономическое объяснение этой ситуации, диаметрально противоположной той, что в конечном итоге сложилась на Западе, состоит в иных отношениях между землей и трудом на Востоке. Демографический спад, хотя и был в абсолютном выражении менее серьезным, чем на Западе, еще более обострил здесь нехватку рабочих рук, характерную и для предыдущего периода. Принимая во внимание наличие в Восточной Европе обширных малонаселенных пространств, бегство крестьян

⁶¹ Henri Pirenne, *Economic and Social History of Mediaeval Europe*, London 1936, p. 148–52.

представляло для господ большую опасность, поскольку никакого недостатка в землях тогда не наблюдалось. В то же время переход к менее трудоемким формам сельского хозяйства, вроде производства шерсти, которое пришло на выручку господам, столкнувшимся с сильным давлением в Англии или Кастилии, был почти невозможен — земледелие и выращивание зерна были основными в природных условиях на Востоке Европы направлениями производства еще до начала серьезной экспортной торговли.

Таким образом, соотношение земли и труда само по себе побуждало дворянский класс к насильственному ограничению мобильности крестьян и созданию крупных манориальных имений.⁶² Но экономическая прибыльность такого пути и его социальная возможность — очень разные вещи. Существование городской муниципальной независимости и ее притягательность, даже если они уменьшились, явно служили препятствием для широкого закрепощения крестьян. Очевидно, что на Западе именно объективное «включение» городов в общую классовую структуру помешало решительному усилению крепостничества в качестве ответа на кризис. Таким образом, предпосылкой безжалостного закрепощения крестьян, последовавшего на европейском Востоке, было уничтожение автономии и жизнеспособности городов. Знать прекрасно сознавала, что она не могла преуспеть в подавлении крестьян, не подчинив себе города. И теперь она решительно перешла к выполнению этой задачи. Ливонские города активно сопротивлялись введению крепостничества; города Бранденбурга и Померании, всегда находившиеся под большим давлением баронов и князей, никакого сопротивления не оказали. Но и те и другие были разбиты в борьбе с их феодальными противниками в XV веке. Пруссия и Богемия, в которых города традиционно были более сильными, оказались — что само по себе говорит о многом — единственными зонами на Востоке, в которых в эту эпоху произошли настоящие крестьянские восстания и имело место насильственное социальное сопротивление знати. Тем не менее к концу Тринадцатилетней войны все прусские города, за исключением Кенигсберга, были разрушены или захвачены Польшей. После этого только Кенигсберг оказал какое-то сопротивление закрепощению, но был не в силах остановить его. Окончательное поражение гуситов, в армиях которых бок о бок сражались крестьяне и ремесленни-

⁶² Классическое изложение этого фундаментального тезиса см. в: Dobb, *Studies in the Development of Capitalism*, p. 53–60. Его более позднее развитие см. в: Hilton and Smith, *The Enserfment of the Russian Peasantry*, p. 1–27.

ки, точно так же предопределило судьбу автономных городов в Богемии. В конце XV века примерно пятьдесят семей магнатов монополизировали здесь политическую власть, и с 1487 года они начали жестокое наступление на ослабленные городские центры.⁶³

На Руси торговые города — Новгород и Псков — никогда не имели муниципальной структуры, сопоставимой со структурой других европейских городов, поскольку в них господствовали бояре-землевладельцы и отсутствовали какие-либо гарантии личной свободы. Тем не менее и здесь все усиливающиеся и концентрирующие в себе землевладельческую власть Суздальское и Московское государства поступали с ними схожим образом. В 1478 году Иван III лишил Новгород независимости; весь цвет его бояр и купцов был изгнан, их состояния — конфискованы или переданы другим. С тех пор от имени царя городом правил его *наместник*.⁶⁴ Вскоре после этого Василий III подчинил Псков. Новые города, основывавшиеся в центральной Руси, с самого начала были военными и административными центрами, находившимися под контролем князей. Но самую последовательную антигородскую политику проводило польское дворянство. В Польше знать ликвидировала перекупку производимых в ее имениях товаров, чтобы напрямую работать с иностранными торговцами, устанавливала потолки цен на товары, произведенные в городах, закрепляла за собой права на производство или переработку определенных продуктов (пивоварение), лишало горожан земельной собственности и, конечно, не допускала никакого приема в городах беглых крестьян. Все эти меры угрожали самому существованию городской экономики. Неизбежным следствием этого процесса, повторявшегося в разных восточноевропейских странах, было медленное и общее отмирание городской жизни на всем Востоке Европы. Этот процесс имел более ограниченные масштабы в Богемии вследствие своевременного заключенного союза между немецкой городской аристократией и чешскими феодалами против гуситов, и на Руси, где города никогда не имели корпоративных привилегий ганзейских портов и потому не представляли никакой сопоставимой угрозы феодальной власти; Прага и Москва никуда не исчезли, сохранив наиболее многочисленное городское население в регионе. В колонизированных немцами землях Бранденбурга, Померании и Балтии, с другой стороны, деурбанизация была настолько полной, что уже в 1564 году в крупнейшем городе Бранденбурга Берлине было всего 1.300 домов.

⁶³ F. Dvornik, *The Slavs in European History and Civilisation*, New Brunswick 1962, p. 333.

⁶⁴ См. об этом: Г. В. Вернадский, *Россия в средние века*, М., 2000, с. 63–73.

Именно это историческое поражение городов открыло путь для насаждения крепостничества на Востоке. Механизмы феодальной реакции действовали медленно и были кодифицированы в большинстве областей лишь через какое-то время после того, как на практике уже произошли серьезные перемены. Но общая закономерность везде была одинаковой. В XV–XVI веках крестьяне в Польше, Пруссии, России, Бранденбурге, Богемии и Литве постепенно были ограничены в своих возможностях передвижения; для беглецов были введены наказания; для прикрепления их к земле использовались долги; их повинности были увеличены.⁶⁵ Впервые в истории на Востоке появилось настоящее манориальное хозяйство. В Пруссии Тевтонский орден в 1402 году юридически закрепил выгон из городов на сельскохозяйственные работы по сбору урожая всех, кто не имел в них постоянного жилья; в 1417 году – возвращение беглых крестьян их господам; в 1420 году – установление максимальной платы наемным работникам. Затем во время Тринадцатилетней войны Орден произвел отчуждение земель и юрисдикций в пользу наемников, привлеченных им для борьбы с поляками и Прусским союзом, так что в итоге земли, которыми раньше владели мелкие земледельцы, платившие оброк военной бюрократии, присваивавшей и продававшей его на рынке, теперь были массово переданы новой знати и консолидированы в крупные поместья и сеньюральные юрисдикции. К 1494 году землевладельцы получили право вешать беглецов без суда. В конце концов, в XVI веке в обстановке подавления крестьянских восстаний и секуляризации церковных владений ослабший орден

⁶⁵ Панораму всего этого процесса см.: Blum, 'The Rise of Serfdom in Eastern Europe', *American Historical Review*, July 1957 – первопроходческое исследование, несмотря на все возражения, которые может вызвать его объяснительная схема. Фактически, Блум предлагает четыре основные причины окончательного закрепощения восточноевропейского крестьянства: возросшая политическая власть знати, рост сеньюральных юрисдикций, воздействие экспортного рынка и упадок городов. Первые две из них просто описывают феномен закрепощения другими словами, не объясняя его. Третья, как мы увидим, эмпирически необоснованна. Четвертая – это единственная убедительная причина из перечисленных, хотя она, конечно, сама нуждается в объяснении. Вообще статья Блума недостаточной временной глубины или сравнительной широты для полного освещения феномена восточноевропейского крепостничества. Это можно сделать только после окончательного установления различия исторических формаций двух европейских зон. Но эти недостатки не умаляют значения статьи Блума, которая остается важной вехой в изучении этой проблемы.

самораспустился, а оставшиеся рыцари слились с местным дворянством, образовав единый класс юнкеров, который отныне господствовал над крестьянами, лишенными своих обычных прав и окончательно прикрепленными к земле. В России наступление на деревенских бедняков точно так же было связано с изменением состава самого феодального класса. Рост *поместий* за счет аллодиальных наследственных владений (вотчин), происходивший под покровительством и в интересах московского государства, в конце XV века создал новую страту беспощадных землевладельцев. Здесь произошло временное сокращение среднего размера феодальных владений в сочетании с ростом требований, предъявляемых к крестьянству. Барщина и оброк выросли, и помещики протестовали против переходов крестьян. Принятый в 1497 году Судебник Ивана III формально отменил традиционное право крестьян, не имеющих долгов, покидать наделы по собственной воле и ограничил переход двумя неделями в году — неделей до и неделей после Юрьева дня. При его преемнике Иване IV в следующем столетии переходы постепенно были полностью запрещены, сначала под предлогом временных «чрезвычайных обстоятельств», связанных с Ливонской войной, а затем, с течением времени, этот запрет стал полным, и в нем уже не было ничего необычного.

В Богемии перераспределение земель после гуситских волнений, которые привели к лишению церкви ее владений, прежде занимавших треть возделываемых земель страны, создало огромные латифундии знати и вызвало поиск стабильной и зависимой рабочей силы для работы на них. Войны привели к огромной убыли населения и нехватке рабочих рук. Отсюда — сразу появившееся стремление к принудительному ограничению передвижения крестьян. В 1437 году после поражения Прокопа в Липане Земельный суд разрешил преследование беглецов; в 1453 году *Snem* вновь закрепил тот же принцип; формальное и юридическое закрепощение было введено Статутом 1497 года и Земельным ордонансом 1500 года.⁶⁶ В следующем столетии барщина усилилась, а развитие в чешских имениях разведения рыб в прудах и пивоварения только увеличило доходы феодалов.⁶⁷ В то же время сохранение в экономике Чехии значительного город-

⁶⁶ R. R. Betts, 'Social and Constitutional Development in Bohemia in the Hussite Period', *Past and Present*, No. 7, April 1955, p. 49–51.

⁶⁷ A. Klima and J. Macurek, 'La Question de la Transition du Féodalisme au Capitalisme en Europe Centrale (16e-18e Siècles)', *10th International Congress of Historical Sciences*, Uppsala 1960, p. 100.

ского анклава, по-видимому, ограничивало здесь степень сельской эксплуатации — барщина была меньше, чем в других восточноевропейских регионах. В Бранденбурге запрет Польшей в 1496 году сезонных переходов крестьян серьезно обострил проблему нехватки рабочих рук для немецких землевладельцев и ускорил экспроприацию небольших крестьянских владений и насильственную интеграцию сельской рабочей силы в поместья — этот процесс стал отличительной особенностью следующего столетия.⁶⁸ В Польше манориальная реакция зашла дальше всего. В ней знать вымогала особые юрисдикционные и иные права у монархии в обмен на предоставление денежных средств, необходимых для ведения войн с Тевтонским орденом. Реакцией землевладельческого класса на нехватку рабочих рук были Пиотрковские статуты, которые впервые формально привязали крестьян к земле и запретили городам впредь принимать их. В XV веке произошел быстрый рост феодальных *folwarky* или господских хозяйств, которые были особенно распространены вдоль берегов рек вплоть до Балтийского моря. Таким образом, в эту эпоху во всей Восточной Европе была распространена общая юридическая тенденция к закрепощению. Крепостное законодательство XV–XVI веков на самом деле не привело сразу к закрепощению восточноевропейского крестьянства. В каждой стране существовал значительный разрыв между юридическими кодексами, запрещавшими передвижение крестьян, и социальными реалиями деревни; это одинаково верно для России, Богемии или Польши.⁶⁹ Инструменты установления крепостной зависимости все еще имели множество изъянов, переходы крестьян продолжались даже после введения против них самых жестких репрессивных мер — иногда при незаконной поддержке крупных магнатов, стремившихся переманить рабочие руки у не таких крупных землевладельцев. Еще не существовало политических машин для строгого и полного закрепощения крестьян в Восточной Европе. Но решающий шаг уже был совершен — новые законы предвосхитили новую экономику Востока. С тех пор началась неуклонное ухудшение положения крестьян.

⁶⁸ Hans Rosenberg, 'The Rise of the Junkers in Brandenburg-Prussia 1410–1653', *American Historical Review*, Vol. XLIX, October 1943 and January 1944, p. 231.

⁶⁹ Ср. схожие замечания: R. H. Hellie, *Enserfment and Military Change in Muscovy*, Chicago 1971, p. 92; W. E. Wright, *Serf, Seigneur and Sovereign — Agrarian Reform in Eighteenth Century Bohemia*, Minneapolis 1966, p. 8–10; Marian Malowist, 'Le Commerce de la Baltique et le Problème des Luittes Sociales en Pologne aux XV^e et XV^e Siècles', *La Pologne au X^e Congrès International des Sciences Historiques*, p. 133–139

И это постепенное ухудшение положения крестьян в XVI веке совпало с распространением экспортного земледелия, когда на западные рынки стало поставляться все больше зерна с феодальных владений Востока. С 1450 года и далее — вместе с экономическим возрождением Запада — экспорт зерна по Висле впервые сравнялся с экспортом древесины. Торговлю зерном часто называют главной причиной «второго издания крепостничества» в Восточной Европе.⁷⁰ Но имеющиеся свидетельства, по-видимому, не подтверждают этот вывод. Россия, которая не была замечена в экспорте зерна до XIX века, пережила не меньшую феодальную реакцию, чем Польша или Восточная Германия, которые вели процветающую торговлю с XVI века. Кроме того, в пределах самой экспортной зоны движение к крепостничеству хронологически предшествовало взлету торговли зерном, который произошел только после повышения цен на зерно и расширения западного потребления в связи с общим бумом XVI века. *Gutsherrschaft*, специализирующийся на экспорте ржи, встречался в Померании или Польше уже в XIII веке, но такие хозяйства не были статистически доминирующей формой и не стали ею в и последующие два столетия. Реальный расцвет восточноевропейского экспортного сельского хозяйства, манориальных поместий, иногда ошибочно называемых «плантационными торгово-промышленными предприятиями», произошел только в XVI веке. Польша, основная страна-производитель в регионе, экспортировала в начале XVI столетия примерно 20.000 тонн ржи в год. Сто лет спустя этот показатель вырос более чем в восемь раз до 170.000 тонн в 1618 году.⁷¹ За тот же период количество судов, проходивших за год через Зунд, выросло в среднем с 1.300 до 5.000.⁷² Цены на зерно в Данциге, главном порте зерновой торговли, были неизменно на 30–50% выше, чем во внутренних центрах — Праге, Вене и Любляне, — что свидетельствовало о коммерческой привлекательности экспорта, хотя общий уровень цен на зерно на Востоке к концу XVI века по-прежнему оставался примерно

⁷⁰ См., напр.: M. Postan, in *Eastern and Western Europe in the Middle Ages*, p. 170–174; Van Bath, *The Agrarian History of Western Europe*, p. 156–157; K. Tymieniecki, 'Le Servage en Pologne et dans les Pays Limitrophes au Moyen Age', *La Pologne au Xe Congrès International des Sciences Historiques*, p. 26–27.

⁷¹ H. Kamen, *The Iron Century. Social Change in Europe 1550–1660*, London 1971, p. 221.

⁷² J. H. Parry, 'Transport and Trade Routes', *Cambridge Economic History of Europe*, Vol. IV, *The Economy of Expanding Europe in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Cambridge 1967, p. 170.

вдвое ниже, чем на Западе.⁷³ Но роль балтийской торговли в зерновом хозяйстве Восточной Европы не следует переоценивать. На самом деле даже в Польше, главной стране в этом деле, экспорт зерна в лучшие времена составлял всего лишь 10–15% его общего производства; а на протяжении большей части XVI века показатели были существенно ниже.⁷⁴

Воздействие экспортной торговли на общественные производственные отношения не следует недооценивать, но оно, по-видимому, принимало форму *роста темпов*, а не *обновления типа* феодальной эксплуатации. Примечательно, что барщина — прозрачный показатель степени изъятия излишков у крестьян — существенно выросла с XV по XVI век и в Бранденбурге, и в Польше.⁷⁵ К концу XVI века она составляла примерно три дня в неделю в Мекленбурге, а в Польше для обнищавших крепостных, нередко вообще лишенных наделов — не меньше шести дней в неделю. Вместе с усилением темпов эксплуатации появление масштабного экспортного земледелия также неизбежно привело к захвату деревенских земель и общему увеличению пахотных земель. С 1575 по 1624 год площадь имений в Средней Мархии выросла на 50%.⁷⁶ В Польше соотношение земель, принадлежащих к хозяйству землевладельцев, и крестьянских наделов достигло невиданных, по меркам средневекового Запада, пропорций — в 1500–1580 годах средние показатели колебались между 2:3 и 4:5, причем роль наемного труда постоянно возрастала.⁷⁷ Страта некогда преуспевавших крестьян (*rolniki*) теперь была полностью уничтожена.

⁷³ Aldo de Maddalena, *Rural Europe 1500–1750*, London 1970, p. 42–43; Kamen, *The Iron Century*, p. 212–213.

⁷⁴ W. Kula, *Théorie Economique du Système Féodal*, p. 65–7. See also Andrzej Wyczanski, 'Tentative Estimates of Polish Rye Trade in the Sixteenth Century', *Acta Poloniae Historica*, IV, 1961, p. 126–7. Оценки, используемые Кула, первоначально были рассчитаны для Польши перед ее разделом в XVIII веке, но Кула полагает, что они были в среднем такими же для всего периода с XVI по XVIII век. Показатель коммерциализации составлял, возможно, 35–40% всего урожая. Доля экспорта в общем рынке зерна, таким образом, составляла 25–40%, что, как отмечает Кула, было совсем немало.

⁷⁵ Blum, 'The Rise of Serfdom in Eastern Europe', p. 830.

⁷⁶ Kamen, *The Iron Century*, p. 47.

⁷⁷ A. Maczak, 'The Social Distribution of Landed Property in Poland from the 16th to the 18th Century', *Third International Conference of Economic History*, Paris 1968, p. 469; A. Wyczanski, 'En Pologne. L'Economie du Domaine Nobiliaire Moyen (1500–1580)', *Annales ESC*, January-February 1963, p. 84.

В то же время балтийская торговля зерном, конечно, усилила антигородские наклонности местных землевладельцев. Экспортный поток освободил их от зависимости от местных городов — теперь они получили рынок, который гарантировал устойчивый денежный доход и приток промышленных товаров, без неудобств, которые создавали политически автономные города у них под боком. Теперь им просто нужно было сделать так, чтобы вести дела с иностранными торговцами напрямую, вообще минуя города. Этим они и занялись. Вскоре вся морская торговля рожью попала в руки голландцев. Конечным результатом этого была аграрная система, которая привела к появлению производственных единиц, в отдельных областях существенно превосходивших по размерам первоначальные личные хозяйства феодалов на Западе, которые обычно по краям крошились в передающиеся в аренду наделы, поскольку колоссальная прибыль от экспортной торговли в век революции цен на Западе позволяла покрывать издержки, требовавшиеся для управления имениями и организации производства в более широком масштабе. Центр производственного комплекса сместился от мелкого производителя к феодальному предпринимателю.⁷⁸ Но окончательную совершенную форму этой системы не следует смешивать с исходным структурным ответом восточноевропейского дворянства на сельскохозяйственную депрессию XIV–XV веков, который определялся балансом классовых сил и исходом насильственной социальной борьбы в самих восточноевропейских социальных формациях.

Манориальное сельское хозяйство, сложившееся в Восточной Европе в эпоху раннего Нового времени, в некоторых основных отношениях существенно отличалось от хозяйства Западной Европы в эпоху раннего Средневековья. Прежде всего, в экономическом отношении как сельскохозяйственная система оно оказалось гораздо менее динамичным и производительным — фатальное следствие большего социального угнетения крестьянских масс. Основной прогресс, который наблюдался в течение трех-четырех веков ее существования, был экстенсивным. Начиная с XVI века, на большей части

⁷⁸ См. скрупулезную и проницательную статью: С. Д. Сказкин, 'Основные проблемы так называемого 'второго издания крепостничества' в Средней и Восточной Европе', *Вопросы истории*, 1958, № 2, с. 103–104. Из-за многочисленности мелких дворян среднестатистическое польское имение было не слишком большим — около 320 акров в XVI веке, но размеры магнатских владений, сосредоточенных у нескольких аристократических семей, были огромными — иногда они составляли сотни тысяч акров при соответствующем числе крепостных.

Востока Европы медленно и нерегулярно производились расчистки земель — эквивалент освоения новых земель средневековым Западом. Этот процесс серьезно затянулся из-за специфической для региона проблемы причерноморских степей, врезающихся в Восточную Европу, которые были печально известны тем, что служили средой обитания для хищных татар и скитающихся казаков. Польское проникновение в Воынь и Подолию в XVI–XVII веках, вероятно, было самым выгодным сельскохозяйственным приобретением той эпохи. Окончательное российское завоевание обширных целинных земель дальше на восток произошло только в конце XVIII века с сельскохозяйственной колонизацией Украины.⁷⁹ Австрийское заселение в тот же период привело к сельскохозяйственному освоению огромных пространств Трансильвании и Баната. Значительная часть венгерской *puszta* осталась практически нетронутой земледелием до середины XIX века.⁸⁰ Засевание юга России в конечном итоге было по своим размерам наиболее значительным освоением земли в истории континента, и Украине суждено было стать житницей Европы в эпоху промышленной революции. Экстенсивное распространение феодального сельского хозяйства на Востоке, пусть и постепенное, в конечном итоге было очень значительным. Но оно никогда не сопровождалось интенсивными достижениями в организации и производительности труда. Сельское хозяйство оставалось технологически отсталым, так и не породив значительных новшеств, наподобие тех, что возникли на средневековом Западе, и зачастую оказывало продолжительное сопротивление освоению даже этих ранних западных достижений. Так, грубое *подсечное* земледелие в московском государстве преобладало вплоть до XV века; и только в 1460-х годах была введена трехпольная система.⁸¹ Отвальные железные плуги долгое время оставались неизвестными в тех областях Востока, которые не были затронуты немецкой колонизацией; простая соха оставалась главным инструментом русского крестьянина до XX века. Несмотря на постоянную нехватку фуража, вплоть до введения кукурузы на Балканах в эпоху Просвещения, не было освоено ни одной новой зерновой культуры. Вследствие этого производительность феодально-

⁷⁹ О значении ее окончательного заселения см.: McNeill, *Europe's Steppe Frontier 1500–1800*, p. 192–200.

⁸⁰ Den Hollander, 'The Great Hungarian Plain', p. 155–161.

⁸¹ А. Н. Сахаров, 'О диалектике исторического развития русского крестьянства', *Вопросы истории*, 1970, № 1, с. 21; Hellie, *Enserfment and Military Change in Muscovy*, p. 85.

го сельского хозяйства на Востоке в целом была необычайно низкой. Урожайность зерна в XIX веке в этом регионе все еще составляла 4:1 — или, иными словами, находилась на уровне, который в Западной Европе был достигнут в XIII и превзойден в XVI веке.⁸²

Таким было эпохальное отставание Восточной Европы. Главную причину этих скромных, по общefeодальным меркам, достижений следует искать в природе восточного крепостничества. Производственные отношения в деревне никогда не оставляли здесь крестьянину того маргинального пространства его независимости и предприимчивости, которое всегда существовало на Западе — сосредоточение экономической, юридической и личной у одного господина, которое служило отличительной особенностью восточноевропейского феодализма, исключало эту возможность. В результате отношение площади земли в господском хозяйстве к площади арендуемых наделов зачастую серьезно отличалось от западного. Польская шляхта последовательно поддерживала отношение вдвое или втрое выше существовавшего на средневековом Западе, расширяя свои *folwarky* до возможных пределов. Барщина точно так же была поднята на невиданные в Западной Европе высоты — нередко она была в принципе «неограниченной», как в Венгрии, или составляла 5–6 дней в неделю, как в Польше.⁸³ Наиболее поразительным следствием этой феодальной сверхэксплуатации было полное изменение всей структуры производительности феодального сельского хозяйства. Если на Западе урожаи на господских землях обычно всегда были выше, чем на крестьянских наделах, то на Востоке крестьянские наделы нередко достигали более высокого уровня производительности, чем в хозяйствах аристократов. В Венгрии в XVII веке урожайность крестьянских наделов иногда вдвое превышала урожайность господских земель.⁸⁴ В Польше имения, размеры которых выросли больше чем вдвое,

⁸² См. анализ в: В. Н. Slicher Van Bath, 'The Yields of Different Crops (Mainly Cereals) in Relation to the Seed c. 810–1820', *Acta Historiae Neerlandica*, II, 1967, p. 35–48ff. Ван Бат выделяет четыре исторических уровня производительности в урожайности пшеницы: стадия А соответствует среднему отношению до 3:1, стадия Б — от 3:1 до 6:1, стадия В — от 6:1 до 9:1 и стадия Г — свыше 9:1. К XVI веку в большинстве стран Западной Европы произошел переход от Б к В; а большинство стран Восточной Европы оставалось на стадии Б еще в 1820-х годах.

⁸³ Zs. Fach, *Die ungarische Agrarentwicklung im 16–17 Jahrhundert — Abbiegung von Westeuropäischen Entwicklungsgang*, Budapest 1964, p. 56–58; R. F. Leslie, *The Polish Question*, London 1964, p. 4.

⁸⁴ Kamen, *The Iron Century*, p. 213.

смогли при этом увеличить свой действительный доход только немногим более, чем на треть — настолько острым было сокращение производительности труда крепостных при таком гнете.⁸⁵ Пределами восточноевропейского феодализма, которые ограничивали и определяли все его историческое развитие, были пределы его общественной организации труда — производительные силы в деревне были зажаты в сравнительно узкие рамки присущими ему типом и степенью эксплуатации прямого производителя.

Энгельс, в своем известном афоризме, назвал феодальную реакцию Восточной Европы в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени «вторым изданием крепостничества».⁸⁶ Необходимо пояснить эту несколько двусмысленную формулировку, чтобы, наконец, поместить восточный путь феодализма в его исторический контекст. Если она означает, что крепостничество вернулось в Восточную Европу, чтобы во второй раз поразить бедных, этот термин попросту некорректен. Крепостничества в строгом значении этого слова, как мы видели, никогда прежде на Востоке Европы не существовало. С другой стороны, если она означает, что Европа пережила две отдельных волны крепостничества, сначала на Западе (IX–XIV века), а затем на Востоке (XV–XVIII века), то эта формула вполне отвечает реальному историческому развитию континента. Она позволяет нам *изменить* привычный угол зрения, с которого рассматривается восточное закрепощение. Историки обычно считают его эпохальным регрессом от предшествующих свобод, которые существовали на Востоке до манориальной реакции. Но сами эти свободы на самом деле были *прерыванием* шедшего до этого медленного процесса установления крепостной зависимости на Востоке. То, что Блок называл «ростом уз зависимости», уже шло полным ходом, когда западная экспансия через Эльбу и русское переселение на Оку и Волгу внезапно и временно прервали его. Феодальную реакцию на Востоке с конца XIV века, таким образом, в долгосрочной перспективе можно считать *возобновлением* движения к выраженному феодализму, которое было задержано вмешательством извне и отложено на два-три столетия. Это движение началось позднее и было намного более медленным и прерывистым, чем на Западе — прежде всего, как мы видели, потому что за ним не стояло никакого первоначального «синтеза».

⁸⁵ De Maddalena, *Rural Europe 1500–1750*, p. 41.

⁸⁶ Маркс, Энгельс, *Соч.*, т. 35, с. 105. Энгельс отсылает здесь к своей статье о марке, в которой он явно тяготеет к первому толкованию этого выражения, ошибочно перенося описанный процесс на всю Германию. (*Там же*, т. 19, с. 327–345).

Но это развитие, по-видимому, вело к общественному строю, который не слишком отличался бы от того, что некогда существовал в менее урбанизированных и более отсталых областях средневекового Запада. Но с XII века никакое простое продолжение внутреннего развития было уже невозможно. На судьбу Востока решающим образом повлияло вмешательство Запада, первоначально парадоксальным образом — смещением в сторону большего освобождения крестьянства, а затем — общим испытанием продолжительной депрессии. В конечном счете сам здешний возврат к манориальной системе определялся всей этой «промежуточной» историей и нес на себе ее отпечатки, поэтому теперь эта система неизбежно была иной, чем если бы она развивалась в относительной изоляции. Тем не менее разрыв между Востоком и Западом оставался огромным. Восточноевропейская история, в отличие от западного развития, с самого начала была погружена в совершенно иную темпоральность. Развитие «началось» здесь намного позднее и потому, даже после его пересечения с развитием Запада, возможно было возобновление предшествующей эволюции к экономическому порядку, который на всем остальном континенте уже был изжит и оставлен в прошлом. Хронологическое сосуществование противоположных зон Европы и их растущее географическое взаимопроникновение создает иллюзию их простой современности. На самом деле Востоку еще предстояло пройти весь исторический цикл развития крепостничества именно тогда, когда Запад уже преодолел его. В этом, собственно, и состоит одна из наиболее важных причин того, почему экономические последствия общего кризиса феодализма были диаметрально противоположными в обеих этих областях и привели к смягчению повинностей и отмиранию крепостничества на Западе и к манориальной реакции и насаждению крепостничества на Востоке.

5. К ЮГУ ОТ ДУНАЯ

Остается рассмотреть особый субрегион, историческое развитие которого отличалось от остальной Восточной Европы. Балканы можно назвать зоной, типологически аналогичной Скандинавии по своему диагональному отношению к великому разделу, проходящему по континенту. И между судьбами Северо-Западной и Юго-Восточной Европы, действительно, существует любопытная обратная симметрия. Мы видели, что Скандинавия была единственным крупным регионом Западной Европы, который не вошел в Римскую империю

и потому не участвовал в первоначальном «синтезе» разлагавшегося рабовладельческого способа производства поздней античности и разрушенных первобытнообщинных способов производства германских племен, которые наводнили латинский Запад. Тем не менее по причинам, рассмотренным выше, дальний Север в конечном итоге вошел в орбиту западного феодализма, надолго сохранив свою изначальную обособленность от общей «западной» матрицы. А на дальнем Юго-Востоке Европы можно наблюдать обратный процесс. Ибо если Скандинавия в конечном итоге создала западный вариант феодализма, *не имея* преимуществ в виде городского и имперского наследия античности, то Балканы не смогли развить прочный восточноевропейский вариант феодализма, *несмотря на* продолжительное присутствие в регионе государства, которое было прямым наследником Рима. Византия на протяжении семи веков после битвы под Адрианополем поддерживала централизованную бюрократическую империю в Юго-Восточной Европе с крупными городами, товарным обменом и рабством.

В это время на Балканах постоянно происходили вторжения варваров, пограничные конфликты и территориальные изменения. Тем не менее окончательного сплава двух миров, наподобие того, что имел место на Западе, в этой области Европы так и не произошло. Византийское наследие на самом деле, по-видимому, не только не ускорило появление развитого феодализма, но тормозило его — вся область Восточной Европы к югу от Дуная со своими внешне более передовыми исходными условиями развития экономически, политически и культурно отстала от обширных и пустых земель Севера, который практически не имел вообще никакого предшествующего опыта городской цивилизации или формирования государства. Центром притяжения Восточной Европы стали ее северные равнины; поэтому последующая длительная эпоха османского правления над Балканами заставила многих историков молчаливо исключать их из Европы или сводить их к ее неопределенным «окраинам». Тем не менее длительный социальный процесс, который в конечном итоге завершился турецким завоеванием, представляет большой интерес для «лаборатории форм», созданных европейской историей, именно по причине своего аномального исхода: векового застоя и регресса. Своеобразие балканской зоны вызывает два вопроса. Какой была природа византийского государства, настолько пережившего классическую Римскую империю? И почему при его столкновении со славянскими и туранскими варварами, наводнившими полуостров с конца VI века и затем обосновавшимися на нем,

не возникло никакого прочного феодального синтеза, наподобие западного?

Падение Римской империи на Западе во многом определялось динамикой и противоречиями рабовладельческого способа производства после прекращения экспансии империи. Основная причина того, почему в V веке рухнула именно Западная, а не Восточная империя, заключалась в том, что именно в ней экстенсивное рабовладельческое сельское хозяйство с римскими завоеваниями Италии, Испании и Галлии нашло свою естественную среду. Ибо на этих территориях не было никакой зрелой предшествующей цивилизации, способной сопротивляться новому латинскому институту рабовладельческих латифундий или как-то видоизменить его. Поэтому в западных провинциях неумолимая логика рабовладельческого способа производства нашла свое наиболее полное и фатальное выражение, в конечном счете ослабив и обрушив все здание империи. С другой стороны, в Восточном Средиземноморье римские завоевания никогда не накладывались на подобную *tabula rasa*. Напротив, там они сталкивались с прибрежной и морской средой, которая уже имела множество торговых городов, созданных во время мощной волны греческой экспансии в эллинистическую эпоху. Именно эта предшествующая греческая колонизация определила исходную социальную экологию Востока, подобно тому как более поздняя римская колонизация определила экологию Запада. Двумя важными чертами этого эллинистического направления развития, как мы видели, были сравнительная плотность городов и относительно скромные размеры земельной собственности. Греческая цивилизация развила сельскохозяйственное рабство, но не его экстенсивную организацию в виде системы латифундий; а ее городской и торговый рост был более стихийным и полицентричным, нежели рост Рима. Помимо этого исходного различия, торговля на границах Персидской империи и Красного моря после римского объединения Средиземноморья была, естественно, намного более интенсивной, чем на берегах Атлантики. В результате, римский институт крупных рабовладельческих имений так и не пустил в восточных провинциях таких же глубоких корней, как и на Западе: его введение всегда сдерживалось устойчивыми характеристиками городского и сельского устройства эллинистического мира, в котором мелкая крестьянская собственность не была такой слабой, как в Италии после Пунических войн, а города опирались на более длительную и местную традицию. Египет, житница Восточного Средиземноморья, имел своих крупных рабовладельцев из семьи Апионов, но все же оставался в основном регионом

мелких земледельцев. Поэтому, когда наступил кризис всего рабовладельческого способа производства и его имперской надстройки, его последствия на Востоке были серьезно смягчены именно потому, что рабство здесь всегда имело более ограниченное значение. Поэтому внутренняя прочность общественной формации восточных провинций была не так потрясена структурным упадком господствующего в империи способа производства. Развитие колоната с IV века было менее значительным; способность крупных землевладельцев подрывать и демилитаризировать имперское государство – менее подавляющей; торговое процветание городов – более прочным. Именно эта внутренняя конфигурация придала Востоку его политическую компактность и прочность, позволившие ему противостоять варварским вторжениям, которые вызвали крушение Запада. Его стратегические преимущества, которые часто приводятся в качестве объяснения его выживания в эпоху Атилы и Алариха, на самом деле были весьма сомнительными. Византия, действительно, была укреплена лучше Рима благодаря морю, но она также была и более досягаемой для многих нападений варваров. Гунны и вестготы начали свои вторжения в Мезии, а не в Галлии или Норике, и первое сокрушительное поражение имперская конница потерпела во Фракии. На Востоке гот Гайнас стал таким же видным и опасным военачальником, как и вандал Стилихон на Западе. Не география предопределила выживание Византийской империи, а социальная структура, которая, в отличие от Запада, оказалась способной успешно изгонять или ассимилировать внешних врагов.

Главную проверку на жизнеспособность Восточная империя прошла на рубеже VII века, когда она едва не была уничтожена тремя крупными нападениями с трех разных сторон, которые вместе представляли намного большую угрозу, нежели любая угроза, с которой когда-либо пришлось столкнуться Западной империи: славяно-аварские нашествия на Балканы, наступление персов прямо на Анатолию и, наконец, полное завоевание Египта и Сирии арабами. Византия выстояла в этом тройном испытании благодаря социальной гальванизации, точная степень и природа которой до сих пор вызывает разногласия.⁸⁷ Очевидно, что провинциальная аристократия, скорее всего, серьезно пострадала от разрушительных войн и завоева-

⁸⁷ Классическую интерпретацию этого периода см.: G. Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, Oxford 1968, p. 92–107, 133–137; P. Charanis, 'On the Social Structure of the Later Roman Empire', *Byzantion*, XVII, 1944–1945, p. 39–57. Ключевые положения ее серьезно оспаривались в последние годы; см. ниже прим. 4.

ний этого времени, и что существовавшие формы средней и крупной собственности, вероятно, были разрушены и дезорганизованы. Это, возможно, особенно верно для узурпаторского правления Фоки, установившегося в результате бунта в армии.⁸⁸ Также очевидно, что прикрепление крестьян к земле, которое принесла с собой поздне-римская система колоната, в Византии постепенно исчезло, оставив после себя множество свободных крестьянских общин, состоящих из крестьян с индивидуальными частными наделами и коллективными финансовыми обязательствами перед государством.⁸⁹ Возможно, хотя вовсе не очевидно, что дальнейшему радикальному разделению земельной собственности способствовало создание при Ираклии военной системы солдат-земледельцев, которые получали от государства небольшие наделы в обмен на военную службу в византийских *themata*.⁹⁰ Так или иначе, произошло серьезное военное возрожде-

⁸⁸ О воздействии этих нашествий см.: Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, p. 134. Советские историки особенно подчеркивали сюжет с Фоккой; см., напр.: М. Я. Сюзюмов, 'Некоторые проблемы истории Византии', *Вопросы истории*, 1959, № 3, с. 101.

⁸⁹ E. Stein, 'Paysannerie et Grands Domaines dans l'Empire Byzantin', *Recueils de la Société Jean Bodin, II, Le Servage*, Brussels 1959, p. 129–133; Paul Lemerle, 'Esquisse pour une Histoire Agraire de Byzance: Les Sources et Les Problèmes' *Revue Historique*, 119, 1958, p. 63–65.

⁹⁰ Это главный *vexata quaestio* византистики. Тезис Штейна и Острогорского, долгое время остававшийся общепризнанным, что Ираклий провел аграрную реформу, которая создала солдата-земледельца в результате введения системы *thema*, теперь вызывает серьезные сомнения у многих. Лемерль подверг его тройкой критике, утверждая, во-первых, что нет никаких реальных подтверждений того, что Ираклий вообще создал систему *thema* (которая постепенно появилась в VII веке уже после его правления), во-вторых, что «военные земли» или *strateia* были даже еще более поздним образованием, никаких документальных подтверждений существования которого до X века не имеется, и, в-третьих, что держатели этих земель сами вообще никогда солдатами не были, а просто имели фискальное обязательство содержать в армии по кавалеристу. В результате этой критики правление Ираклия утрачивает структурное значение в сельскохозяйственной или военной области, а сельские институты Византии начинают казаться более преемственными, чем считалось до этого. См.: P. Lemerle, 'Esquisse pour une Histoire Agraire de Byzance', *Revue Historique*, Vol. 119, 70–74, Vol. 120, p. 43–70, 'Quelques Remarques sur le Règne d'Heraclius', *Studi Medievali*, I, 1960, p. 347–361. Схожие взгляды на военную проблему излагаются в: A. Pertusi, 'La Formation des Thèmes Byzantins', *Berichte cum XI Internationalen*

ние, которое позволило сначала нанести поражение персам, а затем, после первоначального исламского захвата Египта и Сирии, лояльность которых к Византии ослабла вследствие иноверия, остановить арабов на подступах к Тавру. В следующем столетии Исаврийская династия построила первый постоянный имперский флот, который смог обеспечить превосходство Византии на море над арабскими судами, и начала постепенно отвоевывать Южные Балканы. Социальной основой этого политического возрождения явно служило расширение в империи крестьянской основы сельской автономии, независимо от того, способствовала ей система фем или нет. Крайняя обеспокоенность более поздних императоров тем, как сохранить общины мелких землевладельцев из-за их финансовой и военной ценности для государства, не вызывает сомнений.⁹¹ Таким образом, несмотря на сокращение территории, Византия пережила Темные века Запада, сохранив надстроечное величие классической античности практически неизменным. Никакого резкого прекращения городской жизни не произошло;⁹² производство предметов роскоши

Byzantinisten-Kongress, Munich 1958, p. 1–40; W. Kaegi, 'Some Reconsiderations on the Themes (Seventh-Ninth Centuries)', *Jahrbuch der österreichischen byzantinischen Gesellschaft*, XVI, 1967, p. 39–53. Острогорский же, напротив, утверждает, что создание западных Равеннского и Карфагенского экзархатов в конце VI века предвосхитило создание системы *thema* вскоре после этого (содоклад Острогорского к докладу Пертузи 1958 года цит. по: *Berichte zum XI Internationalen Byzantinisten-Kongress*, p. 1–8); Ostrogorsky, 'L'Exarchat de Ravenne et l'Origine des Thèmes Byzantins', VII Corso di Culture sull'Arte Ravennate e Bizantina, Ravenna 1960, p. 99–110. Острогорский получил поддержку советского византиниста А. П. Каждана, который отверг взгляды Лемерля в своей статье: А. П. Каждан, 'Еще раз об аграрных отношениях в Византии IV–XI в.', *Византийский временник*, 1959, XVI, 1, с. 92–113. Спор о происхождении системы *thema* вращается в основном вокруг значения одного предложения у Феофана, историка, писавшего двести лет спустя после эпохи Ираклия, и потому вряд ли вообще может разрешиться. Надо сказать, что идея самого Лемерля, что возрастание крестьянской свободы в средневизантийскую эпоху в основном было связано с переселениями славян, которые сняли проблему нехватки рабочих рук в империи и потому сделали ненужным закрепощение, намного менее убедительна, чем его критика объяснений, связывающих ее с системой *thema*.

⁹¹ Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, p. 271–274, 306–307.

⁹² Судьба городов с VII по IX века — еще один предмет споров. Каждан утверждал, что в эту эпоху произошел настоящий крах городов: Каждан, 'Византийские города в VII–IX в.', *Советская археология*, 1954, № 2, с. 164–188; но это описание

продолжилось; несколько лучше стали обстоять дела в мореплавании; но, прежде всего, сохранились централизованная администрация и единая система налогообложения имперского государства — далекая звезда единства, видимая издали в ночи Запада. Чеканка монеты служила наиболее ярким свидетельством этого преуспевания — византийский золотой безант стал наиболее распространенной валютой того времени в Средиземноморье.⁹³

Это возрождение обошлось дорогой ценой. Византийская империя на самом деле достаточно избавилась от наследия античности, чтобы выжить в новую эпоху, но недостаточно для того, чтобы динамично развиваться в ней. Она застряла между рабовладельческим и феодальным способами производства, оказавшись неспособной ни вернуться к одному, ни перейти к другому, в социальном тупике, который в конечном итоге мог привести только к ее исчезновению. С одной стороны, возврат к экстенсивному рабовладельческому хозяйству был невозможен — только огромная имперская программа экспансии могла создать рабочую силу из числа пленных, необходимую для воссоздания такого хозяйства. И византийское государство, действительно, постоянно пыталось отвоевать утраченные ранее территории в Европе и Азии, и всякий раз, когда ее кампании оказывались успешными, количество рабов в империи резко увеличивалось, поскольку солдаты возвращались с этой добычей домой, особенно после болгарских завоеваний Василия II в начале XI века. Кроме того, имелись также удобные рынки Крыма, через которые рабы-варвары экспортировались на юг в Византийскую и арабскую империи и которые, вероятно, служили основным поставщиком рабов для Константинополя.⁹⁴ Но ни один из этих источников рабов

было скорректировано: Ostrogorsky, 'Byzantine Cities in the Early Middle Ages', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 13, 1959, p. 47–66; Сюзюмов, 'Византийский город (середина VII — середина IX в.)', *Византийский временник*, 1958, XIV, с. 38–70. Сюзюмов показывает, что оно весьма преувеличено.

⁹³ R. S. Lopez, 'The Dollar of the Middle Ages', *The Journal of Economic History*, XI, Summer 1951, No. 3, p. 209–234. Лопез отмечает, что денежная стабильность Византии, хотя и свидетельствовала о сбалансированных бюджетах и организованной торговле, не обязательно означала серьезный экономический рост. Византийская экономика в эту эпоху вполне могла быть застойной.

⁹⁴ A. Hadjinicolaou-Marava, *Recherches sur la Vie des Esclaves dans le Monde Byzantin*, Athens 1950, p. 29, 89; Р. Браунинг, 'Рабство в Византийской империи (600–1200 гг.)', *Византийский временник*, 1958, XIV, с. 51–52. Статья Браунинга представляет собой лучшее обобщение этой темы.

не мог сравниться с великими завоеваниями, которые сделали возможным получение Римом своего богатства. Рабство вовсе не исчезло из Византии, но оно так и не стало преобладающим в ее сельском хозяйстве. В то же самое время решение земельного вопроса, которое избавило Восток от судьбы Запада — консолидация мелкой земельной собственности за пределами крупных имений, — неизбежно оказалось лишь временным; в VI–VII веках стремление провинциального правящего класса к введению зависимого колоната удалось сдержать, но к X веку оно заявило о себе с новой силой. Указы «македонской» династии вновь и вновь осуждали неуклонное присвоение крестьянских земель и подчинение бедняков крупными господами того времени, *dunatoi* или «могущественными». Концентрация земель в руках местных олигархий встречала отчаянное сопротивление имперского государства, так как она угрожала разрушить его рекрутскую и налоговую базу, выводя сельских жителей за пределы сферы действия публичной администрации, точно так же, как это делали римский *patrocinium* и колонат. Парасеньюоральная система в деревне означала конец столичного военного и финансового аппарата, способного осуществлять имперскую власть во всем государстве. Но попытки сменявших друг друга правителей не допустить усиления *dunatoi* оказались тщетными, поскольку местная власть, которая должна была заниматься исполнением указов, сама во многом состояла из тех же семей, влияние которых она была призвана ограничивать.⁹⁵ В деревне происходила не только экономическая поляризация; военная сеть *themata* сама во все большей степени оказывалась в руках магнатов. При этом ее децентрализация, главное условие ее жизнеспособности, теперь, после подрыва ее первоначальной основы в мелком землевладении, облегчала ее присвоение группировками провинциальных властителей. Таким образом, стабилизация позднеантичных форм, достигнутая при византийском возрождении VII–VIII веков, все больше ставилась под угрозу тенденциями к протофеодальной раздробленности в сельском хозяйстве и обществе.

С другой стороны, если сколько-нибудь длительный возврат к типу общественной формации, характерному для античности, был невозможен, для перехода к развитому феодализму дорога была точ-

⁹⁵ Рост экономического и политического могущества *dunatoi* — это тема, волнующая всех современных византийских историков; одним из лучших исследований по теме по-прежнему остается одно из первых: С. Neumann, *Die Weltstellung des byzantinischen Reiches vor den Kreuzzügen*, Leipzig 1894, p. 52–61 — во многом перепроходческая работа.

но так же перекрыта. Верховный бюрократический аппарат византийской автократии оставался неизменным на протяжении пяти веков после Юстиниана. Централизованный государственный аппарат в Константинополе никогда не утрачивал своего полного административного, финансового и военного суверенитета над имперской территорией. Принцип всеобщего налогообложения не был отменен, хотя на практике после XI века от него отходили все чаще. Таким образом, исчезновения экономических функций позднеантичного государства так и не произошло. Примечательно, что, как и в Римской империи, наследственное рабство продолжало доминировать в производственном секторе государства, а этот сектор, в свою очередь, пользовался монополистическими привилегиями, которые придали ему центральное значение и для экспортной торговли Византии, и для закупок.⁹⁶ Особенно тесная связь между рабовладельческим способом производства и имперской государственной надстройкой, которая была отличительной особенностью античности, сохранилась вплоть до последних веков существования Византии. Кроме того, труд рабов в частном секторе экономики также не был незначительным; рабы не только продолжали выполнять для богатых большую часть работы по дому, но и вплоть до XII века использовались в крупных имениях. Хотя установление точной доли рабов в сельском хозяйстве Византийской империи сегодня не представляется возможным, все же можно предположить, что структурное воздействие рабства на отношения в деревне не было незначительным — относительно низкий уровень трудовых повинностей зависимых арендаторов *paroikoi* на всем протяжении поздневизантийской истории и относительно большие масштабы господских хозяйств, возможно, объясняются использованием классом магнатов в деревне труда рабов, даже если его применение и было ограничено такими имениями.⁹⁷ Таким образом, могущественная имперская бюрократия и остаточное рабовладельческое хозяйство постоянно блокировали стихийные тенденции классовой поляризации в деревне, связанные с феодальной эксплуатацией земли и сеньюральным сепаратизмом. Кроме того, те же причины исключали развитие в городах средневекового коммунализма. Муниципальная автономия городов, которые некогда составляли клеточную основу ранней Римской империи, ко времени падения Западной империи уже переживала длительный упадок, хотя на Востоке все еще в какой-то мере остава-

⁹⁶ Браунинг, 'Рабство', с. 45–46.

⁹⁷ Там же, с. 47.

лась реальностью. Но введение византийской системы *thema* привело к политическому ослаблению городов, а давление столицы и двора постепенно душили в них гражданскую жизнь. В конце концов, все остатки муниципальной автономии были формально отменены указом Льва VI, который просто завершил длительный исторический процесс.⁹⁸ На этом фоне византийские города, утратив античные привилегии, так и не смогли завоевать для себя в имперской системе новые феодальные формы свободы. В жесткой структуре автократического государства не появилось никаких муниципальных свобод.

Принимая во внимание отсутствие сколько-нибудь радикальной парцелляции суверенитета, городское развитие по западному образцу было структурно невозможно. Движение по феодальному пути развития и в византийской деревне, и в византийском городе сдерживалось противодействием ее позднеклассического институционального комплекса и соответствующей ему инфраструктуры. Очевидным симптомом этого тупика была юридическая природа самой аристократии и монархии Византийской империи. Ведь до самого печального конца Византии, императорская мантия так и не стала наследственной собственностью помазанной династии, независимо от того, насколько сильным в конце концов стал народный легитимизм; формально она всегда оставалась тем, чем она была во времена принципата Августа, — избираемой должностью, на которую формально или реально возводили сенат, армия и народ Константинополя. Полуобожествленная вершина имперской бюрократии была, таким образом, всего лишь безличной функцией, схожей с функциями нижестоящего чиновничества, и тем самым принципиально отличалась от личной королевской власти на феодальном Западе. Знать, которая правила с помощью этого административного аппарата государства, точно так же отличалась от феодальных господ Запада. В Византии не сложилось никакой наследственной системы титулов: звания давались за выполнение официальных обязанностей в империи, как и в поздней Римской империи, и не переходили по наследству. На деле очень медленно развивалась даже система аристократических фамилий (в отличие от по-настоящему сеньюриальных обществ Армении и Грузии на соседнем Кавказе с их полноценной системой

⁹⁸ Ostrogorsky, 'Byzantine Cities in the Early Middle Ages', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 13, 1959, p. 65–66. Та же юридическая рекодификация отменила старые права сената и класса куриалов, упорядочив административную централизацию византийской имперской бюрократии: Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, p. 145. Лев VI правил с 886 по 912 год.

рангов).⁹⁹ Прочные династии «могущественных» Анатолии, которые все больше разрушали ткань управлявшегося из Константинополя государства, возникли сравнительно поздно. Большинство известных семей — Фоки, Склиры, Комнины, Диогены и другие — никак не проявили себя до IX–X веков.¹⁰⁰ Кроме того, византийские землевладельцы, как и римские латифундисты до них, проживали в основном в городах,¹⁰¹ в отличие от феодальной знати на Западе, проживавшей в деревне и игравшей намного более важную роль в сельскохозяйственном производстве. Таким образом, правящий класс Византии застрял на полпути между «светлейшими» поздней античности и баронами раннего Средневековья. В нем самом отразилась противоречивость государственного устройства.

Этот глубокий внутренний тупик всего хозяйства и политики объясняет странное бесплодие и косность Византийской империи, словно сама ее долговечность высосала из нее все жизненные соки. Тупик сельских способов производства привел к застою в сельскохозяйственных технологиях, которые оставались почти неизменными на протяжении тысячелетия, если не считать введения нескольких специализированных зерновых культур в эпоху Ираклия. Прimitивная и удушающая упряжь античности сохранилась вплоть до конца византийской истории, и средневековый хомут так никогда и не был введен. Точно так же незамеченным остался и тяжелый плуг — вместо него использовалась неэффективная традиционная соха. Самое большее, что было освоено, — это водяная мельница, запоздалый дар Римской империи.¹⁰² Кластер нововведений, который изменил западное сельское хозяйство этой эпохи, так и не привился на засушли-

⁹⁹ См. проникательные замечания: С. Toumanoff, 'The Background to Manzikert', *Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies*, London 1967, p. 418–419. Формально статус «светлейших» в поздней Римской империи был, конечно, наследственным, но при этом он во многом утратил свое значение из-за появления новых бюрократических званий, которые не передавались по наследству: Jones, *The Later Roman Empire*, Vol. II, p. 518–519.

¹⁰⁰ S. Vryonis, 'Byzantium: the Social Basis of Decline in the Eleventh Century', *Greek, Roman and Byzantine Studies*, Vol. 2, 1959, No. 1, p. 161.

¹⁰¹ G. Ostrogorsky, 'Observations on the Aristocracy in Byzantium', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 25, 1971, p. 29.

¹⁰² Об упряжи см.: Lefebvre des Noettes, *L'Attelage et Le Cheval de Selle à Travers Les Ages*, Paris 1931, p. 89–91; о плуге: A. G. Haudricourt, M. J-B. Delammare, *L'Homme et la Charrue a Travers le Monde*, Paris 1955, p. 276–284; о водяной мельнице: J. L. Teall, 'The Byzantine Agricultural Tradition', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 25, 1971, p. 51–52.

вых и маломощных почвах Средиземноморья, а своих собственных новшеств они тоже не породили. Единственный крупный прорыв в мануфактурном производстве был сделан при правлении Юстиниана. Это — создание шелковой промышленности в Константинополе, государственные предприятия которой оставались монополистами на европейском экспортном рынке вплоть до возвышения итальянских торговых городов.¹⁰³ Но и это было промышленным секретом, украденным у Востока, а не местным открытием; больше же в византийских мастерских ничего примечательного не появилось. Точно так же великий культурный расцвет VI века сменился все более ограниченным и косным иератизмом, относительное однообразие форм мысли и искусства которого явно проигрывает в сравнении с поздней античностью. (Не случайно, что первое подлинное интеллектуальное и художественное пробуждение произошло только тогда, когда в империи уже разразился необратимый кризис, потому что только тогда ее социальный застой был нарушен). Глубокая истинность известного суждения Гиббона о Византии в этом, как и в других случаях, получила подтверждение лишь в позднейших объяснениях, которые были ему недоступны.¹⁰⁴

Но в одной области византийская история была глубоко неспокойной и полной событий — речь идет о ее военных кампаниях. Военные завоевания — или, скорее, отвоевания — оставались лейтмотивом существования Византии с эпохи Юстиниана до эпохи Палеологов.

В статье Тилла высказывается, по-видимому, необоснованный оптимизм по поводу византийского сельского хозяйства.

¹⁰³ Международное значение византийской монополии на дорогие ткани отмечается в работе: R. S. Lopez, 'The Silk Trade in the Byzantine Empire', *Speculum*, XX, No. 1, January 1945, p. 1–42.

¹⁰⁴ Гиббон, *История упадка и разрушения Великой Римской империи*, гл. XLVIII. Естественно, Гиббон использует крайне гиперболизированный язык («скучное и однообразное описание все того же бессилия и все тех же бедствий»), к неудовольствию последующих историков, которые считали цитирование его труда дурным тоном. Но рассмотрение Византии у Гиббона на самом деле диктовалось всем строением его «Истории»: если падение Рима было для него «переворотом, который останется памятным навсегда и который до сих пор отзываться на всех народах земного шара», то судьба Византии была просто «пассивно связана» с «переворотами, изменявшими положение мира» (выделено Гиббоном. — П. А.: Гиббон, *История упадка и разрушения Великой Римской империи*, т. 1, с. 66; т. 5, с. 323). Неявные концептуальные различия, проведенные здесь, вполне рациональны и современны.

Всеобщие территориальные притязания, как преемницы *Imperium Romanum*, оставались неизменным принципом ее внешней политики.¹⁰⁵ В этом отношении поведение византийского государства целиком и полностью определялось его античной матрицей. С самого своего появления в качестве отдельной империи оно пыталось вернуть утраченные земли, которые некогда подчинялись Риму. Но буквальное осуществление этого замысла было лишено всякого смысла, так как с тех пор прошло слишком много времени, и Византия уже не могла рассчитывать на повторение триумфального шествия завоевания и порабощения, которое совершили римские легионы, пройдя с одного конца Средиземноморья в другой — рабовладельческий способ производства давно был превзойден на Западе и постепенно уходил в прошлое на Востоке. Поэтому в военной экспансии Византии не было никакого социального или экономического смысла; она не могла привести к появлению исторически нового порядка. В результате, последовательные волны византийского экспансионизма каждый раз откатывались назад к той имперской базе, с которой они начинались, и заканчивали тем, что омывали и истончали ее. Необъяснимый рок преследовал практически все серьезные попытки «реконкисты». Так, грандиозное возвращение Юстинианом Италии, Северной Африки и Южной Испании в VI веке не только было перечеркнуто ломбардскими и арабскими нашествиями, но в следующем поколении пали также Балканы, Сирия и Египет. Точно так же за впечатляющими успехами «македонских» императоров конца X — начала XI века последовал такой же внезапный и катастрофический крах византийской державы в Анатолии при столкновении с сельджуками. В XII веке повторная экспансия Мануила Комнина, приведшего свои войска в Палестину, Далмацию и Апулию, вновь обернулась катастрофой, когда турецкая конница достигла Эгейского моря, а франки разграбили Константинополь. Даже в последней главе ее существования мы видим ту же модель — возвращение Палеологами Византии в XIII веке привело к оставлению ими Никеи и окончатель-

¹⁰⁵ Особый упор на эту тему византийской истории делается в работе: Н. Ahrweiler, *Byzance et la Mer*, Paris 1966 (см. особ.: p. 389–395). Но утверждения самого автора, что именно амбиции Византийской империи на море привели к ее конечному краху вследствие перенапряжения ресурсов и отвлечения их от задачи консолидации ее власти на суше, вызывают большие сомнения. Скорее, именно общие военные усилия в последовательных «реконкистах», в которых значение сухопутных армий всегда намного превосходило роль флота, сыграли решающую роль в окончательном крахе государства.

ному ограничению империи небольшой областью Фракии, выплачивавшей дань османам на протяжении столетия до их вступления в Константинополь. Каждый этап экспансии, таким образом, заканчивался более резким сокращением — неизменной расплатой за нее. Именно этот судорожный ритм отличает византийскую историю от истории Рима с его сравнительно плавной кривой возвышения, стабилизации и упадка.

Однако в описанной последовательности, очевидно, имел место один по-настоящему решающий кризис, который окончательно определил судьбу империи. Это — период в XI веке от болгарских кампаний Василия II до победы сельджуков при Манцикерте. Это время принято считать этапом, когда, после впечатляющих военных успехов последнего македонского императора, «гражданская» бюрократия Константинополя последовательно распустила провинциальные армии империи, чтобы помешать возвышению сельских магнатов, которые начали контролировать командование этих армий, и тем самым поставили под угрозу целостность самой имперской администрации.¹⁰⁶ Возвышение этих провинциальных олигархов, в свою очередь, было связано с лишением мелких крестьян своей собственности, которое все более становилось теперь необратимым процессом. Затем последовала вспышка придворных конфликтов и гражданские войны, которые резко ослабили обороноспособность Византии, и без того уже пострадавшую от демилитаризационной политики бюрократических клик в столице. *Coup de grace* был нанесен с приходом турок с востока. Все это, конечно, так, но при таком описании зачастую возникает ложное противопоставление побед правления Василия II и последующих откатов; и поэтому оказывается невозможно объяснить, почему политические группы, которые задавали тон при константинопольском дворе после 1025 года, действовали именно тем самоубийственным образом, как они действовали. На самом деле, именно длительное напряжение болгарских войн Василия II с их огромными расходами и огромными жертвами, скорее всего, и подготовило почву для быстрого краха последующих пяти десятилетий. Византийские армии традиционно имели относительно скромные размеры. С VI века средний размер экспедиционного корпуса составлял примерно 16.000 человек; весь военный аппарат государства в IX веке, вероятно, не превышал 120.000 человек — цифра,

¹⁰⁶ См., *inter alia*: Ostrogorsky, *History of the Byzantine State*, p. 320–321, 329–333, 341–345ff., Vryonis, 'Byzantium: the Social Basis of Decline in the Eleventh Century', p. 159–175.

существенно ниже той, что была в Поздней Римской империи, чем, видимо, и объясняется большая внутренняя стабильность византийского государства.¹⁰⁷ Но со времени правления Иоанна Цимисхия в середине X века численность имперских армий резко увеличилась, достигнув в правление Василия беспрецедентного максимума.

После его кончины это время было необходимо серьезно уменьшить — после многовековой ценовой стабильности в империи появились угрожающие симптомы инфляции и начинающейся девальвации. Начиная с правления Михаила IV (1034–1041) монета резко обесценилась. Внутренняя политика «македонских» императоров была направлена на обуздание экономической алчности и политических амбиций провинциальных *dunatoi*; «гражданские» правители XI века продолжили эту традицию, но придали ей опасное новое измерение.¹⁰⁸ Они стремились упразднить местные *themata*, которые постепенно стали военным инструментом магнатской власти, прежде всего, в Анатолии. Таким путем они стремились сократить расходы казны и поставить под контроль провинциальную знать, амбиции и неповиновение которой всегда представляли политическую угрозу гражданскому миру. Введение тяжеловооруженной конницы в конце X века увеличило финансовое бремя *themata* для провинций и осложнило поддержание старых местных систем обороны. Новые бюрократические режимы в Константинополе, которые пришли на смену воинственной «македонской» династии, стали во многом опираться на отборные полки *tagmata*, располагавшиеся близ столицы и состоявшие в значительной степени из профессиональных военных и чужеземцев. Конные подразделения *tagmata* всегда представляли наиболее прочное военное ядро имперских армий, с лучшей дисциплиной и подготовкой. Расформированные солдаты *themata* теперь, вероятно, частично были объединены с этими профессиональными полками, которые все чаще направлялись для несения

¹⁰⁷ J. Teall, 'The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330–1025', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 13, 1959, p. 109–117. Это отличие, вероятно, связано отчасти с развитием от римских пехотных легионов к византийской тяжелой коннице.

¹⁰⁸ N. Svoronos, 'Société et Organisation Intérieure dans l'Empire Byzantin au XIe Siècle: Les Principaux Problèmes', *Proceedings of the XIIIth International Congress of Byzantine Studies*, p. 380–382; в этой работе утверждается, что новые гражданские императоры также пытались возвысить роль торговых «средних классов» в городах, демократизировав доступ в сенат, для создания противовеса сельским магнатам — сомнительная гипотеза, основанная на неуместных категориях.

службы в провинциях или на границах; в то же время в них устойчиво росла доля иностранных наемников. Общая численность византийской военной элиты серьезно сократилась вследствие этой «гражданской» политики, которая пожертвовала стратегической мощью в угоду экономическим и политическим интересам придворной бюрократии и столичных сановников. В результате единство византийского государства было подорвано противостоянием гражданской и военной ветвей имперского порядка, которое во многом напоминало фатальный раскол, возникший перед падением Римской империи.¹⁰⁹ *Dunatoi* оказали жесткое сопротивление новому курсу, и баланс сил в деревне теперь был нарушен настолько, что успешное разрешение такого кризиса было невозможно. В результате между «военной» и «бюрократической» фракциями правящего класса в Анатолии начались жестокие гражданские войны, которые привели к деморализации и дезорганизации всей оборонной системы Византии. Религиозное и этническое преследование недавно возвращенных в империю армянских общин вызвало еще большие разброд и шатание на уязвимых восточных рубежах. Тем самым была подготовлена почва для разгрома при Манцикерте.

В 1071 году сельджукский султан Алп Арслан по пути с Кавказа в Египет столкнулся с армиями Романа IV Диогена и разбил их, пленив самого императора. Во время сражения армянские вспомогательные подразделения, франкские и печенегские наемники и византийские полки, которыми командовал «гражданский» соперник императора,

¹⁰⁹ Наиболее очевидное и важное различие между этими двумя конфликтами состояло в том, что поздневизантийская военная элита состояла в основном из выходцев из провинциального землевладельческого класса Анатолии, а командование позднеимперской армии состояло преимущественно из профессиональных офицеров, сначала балканских, а затем — во все большей степени — варварских. Это различие, вероятно, во многом было связано с созданием тяжелой катафрактной конницы после введения системы *thema*, которая породила местную военную аристократию в Византийской империи. Поэтому раскол в обществе в этих двух случаях развивался по-разному: в Риме аппарат высшего командования был сосредоточен в городах, а власть гражданских землевладельцев — в деревне, тогда как в Византии военные магнаты господствовали в провинциях, а гражданские бюрократы — в столице. Отсюда — начало настоящей гражданской войны между этими двумя группировками в греческой империи, а также намного более острое осознание природы этого антагонизма у современников (ср. Пселла с Аммианом). Во всем остальном структурные сходства между процессами в Риме и Византии были необычайно близки.

все дезертировали или предали имперские знамена. Анатолия осталась в незащищенном вакууме, который на протяжении последующих десятилетий не раз заполняли туркменские кочевники, не встречавшие сколько-нибудь серьезного противодействия.¹¹⁰ Власть Византии в Малой Азии пала не в результате массовых *Völkerwanderung* готского или вандалского типа или организованного военного завоевания персидского или арабского типа, а в результате постепенного переселения групп кочевников в нагорья. Однако фрагментарность и анархичность последовательных тюркских вторжений вовсе не означала их эфемерности. Напротив, постепенное увеличение в результате этого численности кочевников оказалось намного более разрушительным для греческой цивилизации в Анатолии, чем более позднее централизованное военное завоевание Балкан османскими армиями. Хаотичные туркменские набеги и дикие грабежи постепенно привели к гибели городов, переселению оседлых жителей деревень и разрушению христианских культурных институтов.¹¹¹ Разрушение кочевниками сельского хозяйства в конечном счете приостановилось с возвышением сельджукского Конийского султаната в XIII веке, который восстановил мир и порядок на большей части турецкой Анатолии; но передышка была недолгой.

Между тем отсутствие упорядоченности туркменского заселения позволило византийскому государству выжить и в конце XI века провести контрнаступление с побережья Малой Азии, хотя центральное плато вернуть так и не удалось. При Комнинах провинциальные олигархии, которые сосредоточили власть в своих владениях и сами вставали во главе ополчений, наконец, обрели власть над империей. Крупные магнаты не получили придворных должностей при Алексее I, который приберет их для своих многочисленных родственников, чтобы обезопасить себя от соперничества со стороны влиятельных *dunatoi*, но средняя и мелкая знать теперь получила то, что хотела. Препятствия для феодализации отныне последовательно устраня-

¹¹⁰ Claude Cahen, 'La Première Pénétration Turque en Asie Mineure (Seconde Moitié du XI^e Siècle)', *Byzantion*, 1948, p. 5–67.

¹¹¹ Всестороннее описание и рассмотрение этого процесса см.: S. Vryonis, *The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamisation from the Eleventh through the Fifteenth Century*, Berkeley-Los Angeles 1971, p. 145–158, 184–194. Может, автор и преувеличивает влияние борьбы гражданских и военных в византийском правящем классе на поражение греков при Манцикерте и последующий крах (p. 76–77, 403), но его описание социальных механизмов последующей тюркизации Анатолии вполне заслуживает доверия.

лись. Средние и мелкие землевладельцы получали административные бенефиции (*pronoiai*), которые давали им фискальные, судебные или военные полномочия над установленными территориями, в обмен на оказание определенных услуг государству; распространившиеся в огромном числе при Комнинах, эти *pronoiai* в конечном итоге стали наследственными при Палеологах.¹¹² Знать получила «иммунитет» (*ekskousseiai*) от юрисдикции центральной бюрократии и дарения монастырских или церковных земель для своего личного пользования (*charistika*). Ни одна из этих институциональных форм не приобрела логичности или упорядоченности западной феодальной системы; в лучшем случае они были ее частичными и неполными версиями. Но их социальная направленность была очевидна. Свободные крестьяне все больше превращались в зависимых арендаторов (*paroikoi*), которые со временем все больше становились похожими на западно-европейских крепостных.

Между тем городское хозяйство столицы с его государственным производством и экспортом предметов роскоши было принесено в жертву дипломатическим сделкам с Венецией и Генуей, чьи купцы вскоре начали пользоваться абсолютным превосходством в торговле империи благодаря привилегиям, предоставленным им Золотой буллой 1084 года, которая освободила их от имперского налога с продаж. Полностью изменив свой традиционный торговый баланс, переживавшая экономический упадок Византия теперь утратила свою монополию на торговлю шелком и стала чистым импортером западных тканей и других мануфактурных товаров, взамен экспортируя в Италию непереработанные товары, вроде пшеницы и масла.¹¹³ Ее административная система разложилась настолько, что наместники зачастую проживали в столице, время от времени совершая почти открыто грабительские вылазки в свои провинции для «сбора налогов».¹¹⁴ В ее армиях теперь было полно наемников и авантюри-

¹¹² Классическое исследование института *pronoia* см.: G. Ostrogorsky, *Pour l'Histoire de la Féodalité Byzantine*, Brussels, 1954. p. 9–257. Острогорский утверждает, что «*pronoia* в Византии и землях южных славян, подобно феодеу на Западе и поместью на Руси, служат отражением развитого феодализма» (p. 257) — спорное утверждение, которое будет рассмотрено ниже.

¹¹³ М. Я. Сюзюмов, 'Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии', *Византийские очерки*, М., 1961, с. 52–57.

¹¹⁴ Яркую картину того времени см.: J. Herrin, 'The Collapse of the Byzantine Empire in the Twelfth Century: A Study of a Mediaeval Economy', *University of Birmingham Historical Journal*, XII, No. 2, 1970, p. 196–9.

стов; и, глядя на них, крестоносцам едва удавалось сдерживать свою алчность. Захват и разграбление Константинополя венецианско-франкской экспедицией в 1204 году, наконец, сокрушили единство сохранившегося имперского государства извне. Отныне, прежде всего в Центральной и Южной Греции, в которой французские господа ввели устройство, схожее с тем, что существовало в Палестине, была привита полноценная феодальная вассально-ленная система. Но эта искусственная прививка просуществовала недолго. Сохранившемуся на периферии бывшей империи греческому режиму в Никее с большим трудом удалось вновь собрать остатки византийской территории и вновь воссоздать в Константинополе слабое подобие имперского государства.

Землевладельческий класс обладателей *pronoiai* стал теперь наследственным держателем своих бенефиций; крестьяне стали *paroikoi*; вассальные отношения были включены в местные концепции политического правления, члены правящей семьей Палеологов получали свои уделы; а чужеземные купеческие общины имели свои самостоятельные анклавные привилегии. В деревне росло количество монастырских земель, а светские земледельцы нередко обращались к экстенсивному скотоводству, чтобы иметь возможность перегнать свою собственность в другое место во время туркменских набегов.¹¹⁵ Но эта конечная внешняя «феодализация» византийской общественной формации так и не достигла органической или стихийной слаженности.¹¹⁶ Ее институты были подражанием западным формам, и у них совершенно не было той исторической динамики, ко-

¹¹⁵ Ernst Werner, *Die Geburt einer Grossmacht—Die Osmanen (1300–1481)*, Berlin 1966, p. 123–124, 145–146.

¹¹⁶ Проблема появления византийского феодализма на закате греческой империи традиционно делит византистов на два лагеря. Острогорский отстаивал представление о феодализме в поздневизантийском обществе; недавний пример см.: Ostrogorsky, 'Observations on the Aristocracy in Byzantium', p. 9ff. Советские историки точно также всегда говорили о существовании византийского феодализма (часто датируя его появление более ранним временем). Недавнее болгарское подтверждение этой позиции см.: Dimitar Angelov, 'Byzance et L'Europe Occidentale', *Etudes Historiques*, Sofia 1965, p. 47–61. С другой стороны, Лемерль категорически отрицает появление феодализма в Византии, и большинство западных ученых согласно с ним. Автор более отточенного в концептуальном отношении сравнительного исследования также отвергает представление, что комплекс *pronoia-ekskousseia-paroikoi* составлял полноценную феодальную систему: Boutruche, *Seigneurie et Féodalité*, Vol. I, p. 269–79.

торая породила последние; и это заставляет с осторожностью относиться к любым попыткам определения способов производства при помощи вневременного сравнения их элементов. Поздневизантийские феодальные формы были результатом многовекового *разложения* единого имперского государства, которое просуществовало почти неизменным на протяжении семи столетий. Иными словами, они были продуктом процесса, диаметрально противоположного тому, который привел к рождению западного феодализма, — динамичному *сложению* двух прежних распавшихся способов производства в новом синтезе, который высвободил производительные силы в невиданном доселе масштабе. На закате византийского правления не произошло никакого роста численности населения, производительности сельского хозяйства или городской торговли. В лучшем случае распад старой системы метрополии породил интеллектуальное волнение и вызвал социальные неурядицы в существенно сократившейся области ее влияния в Греции. Экономический захват столицы итальянскими торговцами привел к переходу местной торговли в некоторые лучше защищенные провинциальные города, а растущее культурное взаимодействие с Западом ослабило мертвую хватку православного обскурантизма.

В последнем знаменательном эпизоде византийской истории — приливе сил перед окончательной гибелью — появление новых ферментов, порожденных зачаточным феодализмом греческого Востока, парадоксальным образом сочеталось с влиянием процессов, возникших из кризиса феодализма на латинском Западе. В Фессалониках, втором городе империи, городское восстание против имперской узурпации магната Кантакузина мобилизовало антимиристические и антиолигархические чувства городских масс, отобрало и разделило собственность монастырей и богачей и в течение семи лет отражало нападения совокупных сил землевладельческого класса, получившего поддержку османов.¹¹⁷ Толчком к этой яростной социальной борьбе, не имевшей прецедентов на протяжении девяти веков византийской истории, возможно, послужило восстание генуэзской коммуны 1339 года, одного из звеньев великой цепи городских волнений во время позднесредневекового кризиса в Западной Европе.¹¹⁸ Подавление

¹¹⁷ Анализ характера и хода восстания см.: P. Charanis, 'Internal Strife in Byzantium during the Fourteenth Century', *Byzantion*, XV, 1940–1941, p. 208–230.

¹¹⁸ Сюэюмов утверждает, что примером для восстания в Фессалониках послужило, напротив, «национальное» возрождение Кола ди Риенцо в Риме, а не чисто «муниципальное» восстание в Генуе, и что оно приобрело «коммунальный»

мятежной зилотской «республики» в Фессалониках, конечно, было неизбежным — вырождающаяся византийская общественная формация не могла вынести такую передовую городскую форму, которая предполагала совершенно иной экономический и социальный тонус. С ее поражением кончается и сама византийская история. С конца XIV века туркменские кочевники вновь начали опустошать Западную Анатолию и затопили собой последние оплоты эллинизма в Ионии, а османские армии перешли в наступление с севера от Галлиполи. Последнее столетие своего существования Константинополь оставался несчастным данником турецкой державы на Балканах.

Вопрос, который можно теперь задать, звучит так: почему за всю эту долгую историю между варварским и имперским общественным строем не возникло никакого динамичного сплава, способного привести к появлению феодализма западного типа? Почему не произошло никакого греко-славянского синтеза, сопоставимого по своему потенциалу и последствиям с романо-германским синтезом? Ведь необходимо напомнить, что в конце VI — начале VII века нашествия племен наводнили огромные земли, простиравшиеся от Дуная до Адриатического и Эгейского морей; и после этого славянские и византийские границы смещались туда-сюда на протяжении семи столетий постоянного взаимодействия и противостояния. Судьба трех основных регионов в нем, конечно, была различной и может быть вкратце описана следующим образом. Славяно-аварская волна 580–600 годов захлестнула весь полуостров, подмяв под себя Иллирию, Мезию и Грецию вплоть до самого южного Пелопоннеса. Утрата Иллирии во время переселения славян прервала историческую сухопутную связь с римским имперским миром; именно это событие сыграло решающую роль в разрыве единства между Восточной и Западной Европой в Темные века. На юге от Иллирии только два столетия спустя — в 780-х годах — Византия смогла приступить к отвоеванию Фракии и Македонии; и ей потребовалось еще двадцать лет для того, чтобы окончательно подчинить Пелопоннес. После этого большая часть Греции непрерывно

характер только в конце, на его заключительном этапе. Для него восстание было, по сути, делом городского предпринимательского класса, ставившего перед собой целью восстановление центрального имперского государства, способного обеспечить защиту от турецкой и западной угроз. Такая интерпретация восстания в Фессалониках в его во всех остальных отношениях выдающейся статье выглядит чересчур натянутой. См.: Сюзюмов, 'Борьба за пути развития феодальных отношений в Византии', с. 60–63.

управлялась из Константинополя вплоть до взятия его крестоносцами в 1204 году. С другой стороны, в заселенную славянами Мезию вторглись болгары, туранские кочевники из южнорусских степей, которые в конце VII века установили в ней свое ханство. К концу IX века произошла славянизация болгарского правящего класса, который стоял во главе сильной империи, простиравшейся вплоть до западной Македонии. После ряда эпических военных столкновений с Византией болгарское государство было разбито Иоанном Цимисхием и Василием II и в 1018 году на полтора века включено в греческую империю. Но в 1186 болгарско-валашское восстание успешно свергло власть Византии, после чего была создана вторая болгарская империя, которая вновь установила власть над Балканами, пока не была разбита монгольским нашествием в 1240-х годах. Бывшая иллирийская зона, напротив, на протяжении четырех веков оставалась за пределами сферы византийской политики, и только в начале XI века Василий II частично вернул, а частично превратил ее в своего сателлита. Греческое правление здесь было слабым и шатким, продлившись всего столетие, которое было отмечено множеством восстаний, пока в 1151 году не появилось объединенное сербское королевство. В середине XIV века сербская империя, в свою очередь, стала главной балканской державой, отодвинув на второй план Болгарию и Византию перед тем, как распасться накануне турецкого завоевания.

Почему это прерывистое развитие не смогло породить сколько-нибудь жизнеспособного феодального синтеза — и вообще сколько-нибудь прочного исторического порядка? Почва всей зоны оказалась зыбучим песком для любой социальной организации и формирования государства, и легкость, с которой османы, в конце концов, овладели ею после того, как все местные державы к концу XIV века оказались недееспособны, не может не поражать. Ответ на этот вопрос дает, конечно, тупиковая ситуация между послеварварским и позднеимперским порядками на Балканах. Византийская империя после утраты полуострова в VI–VII веках все еще была слишком сильна для того, чтобы ее можно было разрушить извне, и даже была способна частично вернуть свои позиции после двухсотлетнего перерыва. Но в последующую эпоху, после того как, в свою очередь, завоеваны были уже эти славянские и туранские народы, заселившие Балканы, они, напротив, оказались слишком развитыми или многочисленными, чтобы их можно было ассимилировать: поэтому греческое правление так и не смогло интегрировать их в Византию и в конечном итоге оказалось эфемерным. Это уравнение сохраняет свое значение и при перемене знаков. В эпоху Ираклия славянские общества, составлявшие

подавляющее большинство первых варварских поселенцев на Балканах, в социальном отношении были слишком примитивными, чтобы создать политические системы, наподобие той, что была создана германскими племенами на меровингском Западе. С другой стороны, византийское государство — вследствие самой своей внутренней структуры, как мы это видели, — неспособно было динамически подчинить и интегрировать племенные народы, как это когда-то могла делать Римская империя. В результате, ни одна из сил не в состоянии была окончательно взять верх над другой, но при этом обе могли наносить ответные удары и причинять серьезный вред друг другу. Столкновение между ними приняло форму не общего катаклизма, из которого появился новый синтез, а медленного взаимного разрушения и истощения. Признаки этого процесса, которые отделили Юго-Восточную Европу от Западной, можно заметить во многих вещах.

Возьмем для начала два чувствительных «культурных» показателя — все строение религии и языковое развитие в регионе были совершенно иными. На Западе германские завоеватели во время своего завоевания были обращены в арианство; затем среди них постепенно победило католичество; и, за редкими исключениями, их языки исчезли, сменившись романской речью местного латинизированного населения. С другой стороны, на юго-востоке славяне и авары, которые заполнили Балканы в конце VI века, были языческими народами, и на протяжении почти трех столетий большая часть полуострова оставалась дехристианизированной — единственная и самая драматичная сдача позиций христианством, которая когда-либо происходила на континенте. Кроме того, когда болгары стали первыми варварами, которые прошли обряд крещения в конце IX века, им было предоставлено собственное православное патриаршество, что было равнозначно независимой «национальной» церкви, а в конце концов, в XII веке такую привилегию получили и сербы. В то же время, если Греция вновь была медленно реэллинизирована в языковом отношении после византийских завоеваний конца VIII — начала IX века, весь Балканский полуостров продолжал говорить на славянских языках, причем они были настолько распространены, что для обращения жителей Балкан греческим миссионерам Кириллу и Мефодию из Фессалоник (тогда еще двуязычного пограничного города) специально для славянских языков региона пришлось изобрести глаголический алфавит.¹¹⁹ Таким образом, на Балканах культур-

¹¹⁹ G. Ostrogorsky, 'The Byzantine Background to the Moravian Mission', *Dumbarton Oaks Papers*, No. 19, 1965, p. 15–16. О характере глаголического и последующе-

ная «ассимиляция» происходила в обратном порядке: если на Западе партикуляристская ересь сменялась универсалистской ортодоксией и латинизацией языка, то на юго-востоке язычество привело к сепаратистской ортодоксии, закреплённой в негреческих языках. Более позднее византийское военное завоевание так и не смогло изменить эту исходную культурную данность. В этом отношении огромная масса славянского населения полуострова кристаллизовалась вне византийского влияния. Отчасти этот контраст с германскими нашествиями может объясняться большей демографической плотностью заселения. Но нет никаких сомнений, что важной детерминантой также служил характер исходного византийского окружения.

Если на культурном уровне отношения между варварами и Византией обнаруживают относительную слабость последней, то на политическом и экономическом уровне они, напротив, демонстрируют не менее серьёзную ограниченность первых. Общие проблемы формирования государства у ранних славян уже были рассмотрены ранее. Специфический балканский опыт еще рельефнее показывает эти проблемы. Кажется очевидным, что именно военная организация аварских кочевников, которая определяла и направляла первое наступление варваров на Балканы, сделала возможным их завоевание. Славяне, сражавшиеся на их стороне в составе вспомогательных подразделений, значительно превосходили аваров в численном отношении и оставались в новых землях, а аварские орды возвращались к себе в Паннонию, чтобы затем вновь совершать периодические набеги на Константинополь, не пытаясь обосноваться на полуострове.¹²⁰ Славянские переселения теперь распространились на территории, которые на протяжении многих веков были неотъемлемой составляющей Римской империи и которые включали саму колыбель классической цивилизации — Грецию. Тем не менее в течение более чем трех веков после их нашествий эти народы не создали ни одного надплеменного политического объединения, о котором сохранились бы какие-либо сведения. Первое настоящее государство, созданное на Балканах, было продуктом еще одного туранского кочевого народа — болгар, военное и политическое превосходство которых над славянами позволило им создать сильное ханство в низовьях Дуная, которое вскоре напрямую столкнулось с Византией. «Прото-

го кириллического алфавитов см.: D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth*, London 1971, p. 139–140.

¹²⁰ P. Lemerle, 'Invasions et Migrations dans les Balkans depuis la Fin de l'Époque Romaine jusq'au Vile Siècle', *Revue Historique*, CCXI, April-June 1954, p. 293ff.

болгарский» правящий класс бояр стоял во главе смешанной общественной формации, большую часть населения которой составляли свободные крестьяне-славяне, платившие дань своим туранским господам, которые образовывали двухуровневую военную аристократию, все еще строившуюся на родовой основе. К концу IX века протоболгарский язык исчез и ханство было формально обращено в христианство: как и в других местах, родовая система и язычество пали вместе, и вскоре весь класс бояр был славянизирован, хотя и с определенным налетом греческой культуры.¹²¹ В начале X века новый болгарский правитель Симеон совершил серьезное нападение прямо на Византию: он дважды захватил Адрианополь, спустился к Коринфскому заливу и осадил Константинополь. Симеон намеревался — ни много ни мало — стать правителем самой восточной империи и, стремясь к этой цели, он заставил Византию пожаловать ему имперский титул «царя». В конце концов, после продолжительных кампаний, его армии были разбиты хорватским правителем Томиславом, и при его сыне Петре в Болгарии наступили слабость и беспокойные времена.

Теперь возникло первое по-настоящему радикальное религиозное движение христианской Европы — богомилство, — которое было выражением крестьянского протеста против дорогостоящих войн Симеона и сопутствующей социальной поляризации.¹²² Болгарское государство пострадало также от разрушительных русско-византийских войн, которые тогда проходили на его территории. Но серьезное военное и политическое возрождение при царе Самуиле в конце X века привело к новому и решительному конфликту с Византией, который продлился два десятилетия. Именно эта длительная и безжалостная борьба, как мы видели, в конечном итоге вызвала перенапряжение византийской имперской системы и проложила путь к ее краху в Анатолии. Ее последствия, конечно, были еще более пагубны для Болгарии, независимое существование которой прекратилось на полтора века. Византийское завоевание XI–XII веков привело к быстрому росту крупных имений и увеличе

¹²¹ S. Runciman, *A History of the First Bulgarian Empire*, London 1930, p. 94–95; I. Sakazov, *Bulgarische Wirtschaftsgeschichte*, Berlin / Leipzig 1929, p. 7–19.

¹²² Православный священник того времени так выразил суть богомилских социальных доктрин: «Они учат своих людей не подчиняться их господам, они поносят богачей, ненавидят царя, высмеивают старших, порицают бояр, считают подлецами в глазах Господа тех, кто служит царю, и запрещают слугам служить своим хозяевам»; цит. по: Obolensky, *The Byzantine Commonwealth*, p. 125.

нию повинностей крестьян по отношению к греческим и болгарским господам и центрального налогового гнета на крестьянство. В Болгарии впервые был введен институт *pronoia*, и распространились иммунитеты *ekskousseia*. Все большее число прежде свободных крестьян переходило в зависимый статус *paroikoi*, и одновременно с этим расширилось применение рабского труда благодаря массовому обращению в рабство военнопленных.¹²³ Тогда произошло и предсказуемое возрождение богомилства. Прокатилась череда народных волнений, вызванных недовольством византийским правлением, и в 1186 году два валашских вождя Петр и Асень возглавили успешное восстание, которое разбило направленные против него греческие карательные экспедиции.¹²⁴ Теперь была создана «вторая болгарская империя», административная иерархия, придворный протокол и налоговая система которой были построены по византийскому образцу. Число свободных крестьян продолжало сокращаться, а верховная страта бояр консолидировала свою власть. В начале XIII века царь Иван Асень (Калоян) в очередной раз вернулся к традиционной цели болгарских династий — нападению на Константинополь и принятию соответствующего контролю над столицей империи императорского титула. Его войска победили и убили латинского императора Балдуина вскоре после четвертого крестового похода, а его преемник победоносно донес болгарские знамена до Адриатики. Но в течение десятилетия это расширенное государство рухнуло под напором монголов. Послеплеменное политическое устройство у славянского населения бывшей Иллирии в отсутствие изначально вышестоящего военного класса из кочевников в целом развивалось намного медленнее; социальная дифференциация происходила более размеренно и родо-

¹²³ Dimitar Angelov, 'Die bulgarische Länder und das bulgarische Volk in der Grenzen des byzantinischen Reiches im XI–XII Jahrhundert (1018–1185)', *Proceedings of the XIIth International Congress of Byzantine Studies*, p. 155–61. Хотя византийские *ekskousseiai* практически никогда не имели характера «всестороннего» иммунитета, поскольку всегда сохранялось государственное налогообложение *paroikoi*, соответствующие болгарские пожалования в этот период сопровождались передачей куда более полной сеньориальной власти над крестьянами. См.: G. Cankova-Petkova, 'Byzance et le Développement Social et Economique des Etats Balkaniques', *Actes du Premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes*, Sofia 1969, p. 344–345.

¹²⁴ Наиболее четкое описание этого восстания см.: R. L. Wolff, 'The "Second Bulgarian Empire". Its Origin and History to 1204', *Speculum*, XXIV, No. 2, April 1949, p. 167–206.

вая организация оказалась очень прочной. Раннее хорватское королевство (900–1097) было поглощено Венгрией и не играло впоследствии никакой самостоятельной роли. На юге наследственные *župani* из своих укрепленных поселений правили местными землями как семейными вотчинами, которые распределялись между их родственниками.¹²⁵ Первыми в XI веке здесь появились княжества Зета и Рашка, антивизантийские образования, которые удалось покорить — и то не до конца — Комнинам.

В конце XII века великий жупан Стефан Неманя объединил эти две территории в единое сербское королевство, получив королевский титул от римского папы. Но хотя византийские попытки завоевания Сербии были отражены, потребовалось еще сто лет, чтобы ее раздробленная родовая знать переродилась до такой степени, чтобы образовать единый землевладельческий класс с сеньориальными правами над крепостным крестьянством, имеющий достаточно военных сил для расширения территории сербской монархии. Но закат Болгарии и Византии, который произошел к началу XIV века, позволил Сербии установить свое господство на Балканах. Стефан Душан захватил Македонию, Фессалию и Эпир и в 1346 году в Скопье провозгласил себя императором сербов и греков. Социальная и политическая структура Великой сербской империи нашла свое отражение во всестороннем своде законов, «*Законнике*», который был составлен при правлении Душана вскоре после этого. Правящая знать имела наследственные аллодиальные имения, которые обрабатывались зависимыми *sebrī* — сербский эквивалент византийских *paroikoi* — крестьянами, обязанными нести трудовые повинности, которые были формально прикреплены к земле королевским указом. Монарх имел широкие автократические полномочия, но был окружен постоянным советом из магнатов и прелатов. Душан отменил титул *župan*, имевшим родовой окрас, и заменил его греческим *kefalija*, византийским словом, использовавшимся для обозначения имперского правителя области. Двор, канцелярия и администрация были грубо скопированы с Константинополя.¹²⁶ Некоторые прибрежные дунайские города благодаря своим тесным связям с итальянскими городами имели муниципальное самоуправление. На серебряных рудниках, которые были главным источником дохода короля, использовался труд

¹²⁵ Dvornik, *The Slavs. Their Early History and Civilisation*, p. 161–163.

¹²⁶ S. Runciman, 'Byzantium and the Slavs', in N. Baynes and H. Moss (ed.), *Byzantium: An Introduction to East Roman Civilisation*, Oxford 1948, p. 364–365; Dvornik, *The Slavs in European History and Civilisation*, p. 142–146.

рабов, а руководили добычей выходцы из Саксонии. Сербская империя, несомненно, была наиболее развитым славянским государством из тех, что появились на средневековых Балканах; в его смешанной политической системе, промежуточном звене между системой феодального правления и деспотической бюрократией, нашли свое отражение и западные, и византийские влияния. Но именно из-за этой разнородности своих составляющих оно было обречено на очень непродолжительную жизнь. В течение нескольких лет после смерти Душана оно распалось на враждующие деспотаты и враждующие уделы. На смену Сербии пришла последняя славянская держава. На пять десятилетий во второй половине XIV века на Адриатическом побережье установилось господство Боснии, но богомильская вера ее династии и избираемость ее монархии стали непреодолимым препятствием, которое не позволило превзойти предшествовавшую ей Сербскую империю.

Таким образом, гонка по кругу с участием Византии, Болгарии и Сербии к концу XIV века завершилась общим регрессом и упадком. Хрупкая государственная система средневековых Балкан оказалась в состоянии общего кризиса еще до того, как на нее обрушилось османское завоевание. Структурные причины неспособности этого региона породить собственный феодальный синтез были уже обозначены. Природа недоразвившихся болгарского и сербского государств лишь лучше высвечивает их. Ибо наиболее поразительной, с европейской точки зрения, чертой у них было их постоянное и невозможное подражание имперской автократии самой Византии. Они стремились быть не королевствами, а империями; и целью их правителей был не какой-то имперский титул, а само звание верховного греко-римского *autokrator*. Так, и болгарская, и сербская империи пытались подражать внутреннему административному устройству византийских государств и установить над ней власть извне путем прямого завоевания и наследования. Эта задача была им не по зубам и неизбежно приводила к социальному и политическому перенапряжению; прямой переход от местного племенного к имперско-бюрократическому правлению был не по силам для знати этого региона и в отсутствие городской или рабовладельческой экономики не соответствовал реальному экономическому базису. Отсюда общий крах всех обессиливших друг друга участников трехсторонней борьбы за имперское господство, которое к этому времени само по себе превратилось в иллюзорный анахронизм. Но не будем забывать, что эпоха, в которую произошел этот крах, была также эпохой общей депрессии во всей Европе. Сведения о сельском хозяйстве на Балканах

в эту эпоху все же слишком скудны, отчасти из-за последующего османского уничтожения его институтов, чтобы выносить сколько-нибудь обоснованные суждения относительно тенденций его внутреннего развития. Но здесь, как и везде, великий мор взял свое. Согласно недавним подсчетам, в период между 1348 и 1450 годом общая численность населения в этом и без того слабо заселенном регионе сократилась на 25% — примерно с 6 до 4,5 миллионов.¹²⁷ Кроме того, теперь на Балканах также начались социальные волнения.

О фессалоникской «коммуне» уже шла речь. Одновременно с ней в 1342 году на фракийских равнинах развернулось крестьянское восстание против византийских землевладельцев. На Адриатике сценой муниципальных волнений стали Котор и Бар. В Болгарии крестьянское восстание 1277 года ненадолго привело к установлению власти плебейского узурпатора; в XIV веке по мере нарастания концентрации земель начали распространяться бродяжничество и разбой. Усилия различных аристократий полуострова по строительству будущего имперского государства вызывали рост поборов и земельных изъятий у бедных, отвечавших недовольством и волнениями.

В этом отношении показательно, что в сельской местности региона практически не было никакого народного сопротивления османам, за примечательным исключением первобытной горной цитадели Албании, где племенная и родовая организация все еще сдерживала появление крупной земельной собственности и затрудняла социальную дифференциацию. В Боснии, где богомильские крестьяне страдали от преследований со стороны католической церкви как еретики-«патары» и от набегов венецианских и рагузских торговцев, охотившихся за рабами,¹²⁸ деревенские массы и часть местной знати встретили турецкое правление с распростертыми объятьями и в конечном итоге массово обратились в ислам. Бродель даже категорично написал: «...турецкому завоеванию на Балканах способствовали небывалые социальные потрясения. Феодалное общество, жившее за счет крестьян, не выдержало удара и развалилось само собой. Нашествие, положившее конец крупным земельным владениям, хозяева которых полновластно распоряжались в них, в некотором смысле означало “освобождение угнетенных”». Малая Азия была завоевана постепенно, медленно, благодаря многовековым стараниям; Балкан-

¹²⁷ J. C. Russell, 'Late Mediaeval Balkan and Asia Minor Population', *The Journal of the Economic and Social History of the Orient*, III, 1960, p. 265–274; *Population in Europe 500–1500*, p. 19.

¹²⁸ Werner, *Die Geburt einer Grossmacht—Die Osmanen*, p. 229–233.

ский полуостров, если можно так выразиться, не оказал сопротивления захватчикам».¹²⁹ Но это слишком сильное и широкое обобщение. На самом деле, до нападений турок не было почти никаких признаков какого-то спонтанного и явного краха здешнего общественного порядка. Гнет знати повсеместно усиливался, а ее политические системы пребывали в кризисе. Но нельзя было исключать возможность последующего возрождения. Дальнейшее автохтонное развитие на Балканах сделало невозможным именно османское завоевание. Марицкая битва и сражение на Косовом поле, в которых болгарская и сербская аристократии потерпели поражение, были очень тяжелыми, и победа туркам далась совсем не легко. С другой стороны, после решающих ударов османов у шатких государственных структур Балкан не осталось никаких резервов для борьбы с исламским вторжением. После того как местные князья и знать были разбиты, турецкое нашествие могли остановить только оборонительные экспедиции для спасения Балкан, организованные западным феодализмом. Два международных крестовых похода, начавшихся из Вены, были последовательно разбиты османскими армиями в 1396 и 1444 годах при Никополе и Варне. Западный феодализм, теперь страдавший от своих бед, не способен был больше побеждать как во времена своего расцвета. В этих бедствиях Юго-Восточная Европа ненадолго воссоединилась с общей судьбой континента прежде, чем вновь оторваться от нее еще сильнее, чем когда-либо прежде.

Таким образом, кончина средневекового мира наступила посреди общего кризиса. И родина феодализма на Западе, и земли Востока,

¹²⁹ F. Braudel, *La Méditerranée et Le Monde Méditerranéen à l'Époque de Philippe II*, Paris 1949, p. 510. Броделевское сравнение соответствующих темпов завоевания в Малой Азии и на Балканах вводит в заблуждение, делая решающей переменной относительную силу христианского сопротивления. Но все дело в том, что Анатолия была постепенно занята туркменскими племенами в ходе стихийных переселений, а Балканы были завоеваны высокоорганизованным военным государством в новой форме Османского султаната. С присущей ему скрупулезностью, во втором, пересмотренном издании его работы Бродель исправил последнее предложение в процитированном выше пассаже. Теперь оно выглядит так: «Балканский полуостров *как будто бы* не оказал сопротивления захватчикам (курсив Броделя. — П. А.)», а в примечании он добавил, что, если полагаться на результаты исследования Ангелова, то болгарское сопротивление было более ожесточенным, нежели говорилось в его тексте. См.: Ф. Бродель, *Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II*, ч. 2, М., 2003, с. 449.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

до которых он добрался или где он не в состоянии был развиваться, к началу XV были ареной глубоких процессов социально-экономического разложения и перерождения. На пороге раннего Нового времени, когда стены Константинополя пали от турецких пушек, последствия этих изменений для политического устройства Европы все еще были во многом неясными. Остается исследовать итоговую государственную систему, которой суждено было возникнуть из них.

Перри Андерсон
Переходы от античности к феодализму

Корректор *Н. Селина*
Оформление серии *В. Коришунов*
Верстка *С. Зиновьев*

Формат 70 × 100 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл. печ. л. 23,2. Уч.-изд. л. 13,7. Тираж 1000 экз.
Заказ №

Издательский дом «Территория будущего»
125009, Москва, ул. Б. Дмитровка, 7/5, стр. 2

Отпечатано в ГУП ППП «Типография „Наука“»
121099 Москва, Шубинский пер., 6